

Вероника Лосская

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
в жизни

Культура и традиции



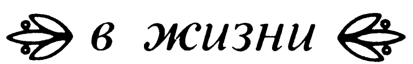
Вероника Лосская

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ЖИЗНИ

Российский международный
фонд культуры
ДОМ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Вероника Лосская

МАРИНА ЦВЕТАЕВА



в жизни



Неизданные воспоминания современников

Культура и традиции
1992

ББК 84.4
Л68

Вероника Лосская

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ЖИЗНИ
/Неизданные воспоминания современников/

Нью-Йорк, Эрмитаж, 1989.

Л $\frac{4703010100—008}{491(02)—92}$ без объявл.

ISBN 5—86444—009—4

ПРЕДИСЛОВИЕ К МОСКОВСКОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая читателю книга писалась в начале восьмидесятых годов и вышла первым изданием в Соединенных Штатах в 1989 г.

За истекшие годы появилось в печати много материалов, по-новому освещающих жизнь и творчество Марины Цветаевой. Были также высказаны критические замечания по поводу принципиальных установок автора книги или отдельных фактов, подчас противоречиво описанных разными свидетелями жизни поэта. Но автор не считал себя вправе «исправлять» свидетельства современников, даже когда им изменяла память или когда они были «по-своему» осведомлены: данная книга писалась не как биография, а как сборник неопубликованных материалов. Рассказы относятся к периоду от 1969 до 1982 г., и большинства свидетелей теперь уже нет в живых.

Поэтому автор считает целесообразным ничего сегодня в книге не менять, а печатать ее как документ определенного этапа на пути все развивающегося «цветаеведения», в надежде, что рассказы о Цветаевой, значительные или мелкие, все представляют интерес для русского читателя и для будущих биографов поэта.

Вероника Лосская,
Париж, ноябрь 1991 г.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ

АРИАДНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЭФРОН

И

МАРКА ЛЬВОВИЧА СЛОНИМА

Вот все эти бумаги, кусочки жизни, рассказы и воспоминания — из них сложится обо мне такой неточный, неверный, отличный от меня образ, а меня самого уже не будет, чтобы об этом сказать, меня, который и сам не знает, кто я.

Франсуа Мориак

ВСТУПЛЕНИЕ

Биографические материалы о М. Цветаевой. Ариадна Сергеевна Эфрон. Первая встреча. Работа с А. С. Запретные темы. Рассказы современников.

В настоящее время многие справедливо считают главным источником информации о жизни Марины Цветаевой рассказы ее сестры и дочери. В книгах Анастасии Цветаевой читатель найдет много рассказов о детстве и ранней юности поэта. Со своей стороны, дочь М. Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, доводит свои воспоминания о матери до 1925 года.

Однако сопоставление свидетельств членов семьи Цветаевой с ее собственной автобиографической прозой выявляет значительные расхождения. Анастасия Ивановна говорит, например, что никогда в детстве сестры не было того, чтобы ей не давали бумаги, как пишет об этом Марина Цветаева; или неверно, по свидетельству Анастасии Ивановны, что мать явно предпочитала ее Марине.

Разногласия между свидетелями одних и тех же событий неизбежны, ибо каждый пишущий, в данном случае обе сестры Цветаевы, воспроизводят события, как они представлялись им в претворении собственного творческого воображения. У биографа же задача иная: он не только принимает во внимание творчество самого писателя, но и восстанавливает картину по материалам иного рода: по письмам, дневникам, документам, письменным свидетельствам об эпохе, наконец, по рассказам современников [1].

Со дня смерти Цветаевой прошло более сорока лет. Как известно, архив поэта все еще недоступен. Он хранится в Москве, в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). После смерти А. С. Эфрон в 1975 г., согласно ее воле, на него был наложен запрет до 2000 г. А разные документы, относящиеся к жизни и творчеству М. Цветаевой, по многим причинам от читателей скрыты. С другой стороны,

количество людей, знавших и помнящих Цветаеву, со временем, естественно, сходит на нет. Поэтому мне и показалось своевременным опубликовать то, что за несколько лет мне удалось собрать из рассказов современников о Марине Цветаевой.

Среди них особое место и, быть может, самое значительное около Марины Цветаевой занимает ее дочь, Ариадна Сергеевна Эфрон. Она скончалась в Тарусе в 1975 году, а я с ней познакомилась за четыре года до этого, во время своей первой университетской командировки в Россию. После знакомства между нами завязалась переписка.

Аля, как называла ее Марина Цветаева в детстве, родилась в Москве 5/18 сентября 1912 года и ребенком жила неразлучно с матерью до 1923 года. Живя уже в Чехии, мать на год отдала ее в интернат учиться. Затем дочь опять жила в семье, в Париже училась нерегулярно, некоторое время занималась живописью в Луврской школе, работала и, наконец, уехала в СССР 15 марта 1937 года. Ариадна Сергеевна была в первый раз арестована в ночь с 27-го на 28-е августа 1939 года и всего в советских лагерях и ссылке провела неполных 17 лет. Только в 1955 году смогла она вернуться на постоянное жительство в Москву [2].

Многие Ариадну Сергеевну знали и хорошо помнят. Мое общение с ней длилось шесть недель в Москве в 1971 году и продолжалось затем в нечастой, но регулярной переписке до самой ее кончины.

Когда я приехала к Ариадне Сергеевне в первый раз, 1 февраля 1971 года к 12 часам дня, как она мне назначила по телефону, первыми ее словами были слова упрека, что я пошла от метро не по той улице, которую она мне указала, отчего, поплутав, явилась с опозданием на 5—10 минут; кроме того, я не разыскала в Париже ту книгу американского писателя, которую должна была ей из Франции привезти. Тогда я ей передала от разных ее парижских друзей приветы и маленькие подарки в надежде, что она сменит гнев на милость. На небольшом рабочем столике, за который мы в тот момент уселись, среди других портретов и открыток стояла обрамленная фотография ее отца, Сергея Яковлевича Эфрона. Заметив мой взгляд, устремленный именно

на эту фотографию, Ариадна Сергеевна воскликнула: «Не правда ли, я на него поразительно похожа?» Но я в тот момент еще не могла понять, сколько в эти слова было вложено невыразимого эмоционального подтекста. Я только пробормотала в ответ нечто утвердительное, хотя меня больше поразило семейное сходство Ариадны Сергеевны с матерью. Впоследствии же, узнав ее поближе, я убедилась, что она была внешне похожа на отца больше, чем на мать; особенно запомнились ее глаза: огромные, голубовато-серые, немного выпуклые и выцветшие, с пытливым, иногда строгим, даже уничтожающим взглядом, иногда, наоборот, очень мягким.

После несколько охлаждающей встречи Ариадна Сергеевна продолжала изучать меня, от чего я все больше робела, и наконец сказала: «Так вы собираетесь работать над Мариной Цветаевой? А вы можете сказать, что *вы* понимаете ее *до конца*?» — ...?? — «Так что же вы тогда собираетесь изучать? Для того чтобы изучать, надо понимать ее всю, до конца, а если вы не понимаете!.. Только *я* понимаю и знаю ее до конца. Я ее первый и единственный, верный и вдумчивый читатель!»

Естественно, после такого вступления я решила, что делать мне тут больше нечего, время беседы истекло, остается тихонько собрать тетрадки и на цыпочках удалиться. Но в этот момент Ариадна Сергеевна встала, провела меня в другую половину комнаты и показала несколько закрытых створчатых шкафчиков с «Архивом Цветаевой». Потом она меня усадила за большой стол и начала наставлять. Ушла я в тот день от нее поздно вечером, когда мы обе так устали, что уже не могли ни говорить, ни работать, ни думать.

Затем последовали длинные рабочие дни моей шестинедельной командировки. Ариадна Сергеевна вызывала меня к себе каждые два-три дня к 12 и, не отвлекаясь, работала со мной до 10—11 часов вечера; потом она меня отсылала домой отдыхать, переписывать содержание наших бесед, готовить новые вопросы и т. д. На это у меня уходили следующий день или два, она же в это время ездила «к теткам», то есть к Елизавете Яковлевне Эфрон, которая жила с немощной подругой на другом конце города. Эти две старые женщины остались на попечении уже немолодой и не особенно подвижной Ариадны Сергеевны. Она тогда регулярно

к ним ездила, за ними ухаживала, возила им обеды и хозяйничала, так как они были обе совсем больные. Ариадне Сергеевне тогда еще не было шестидесяти лет, но она выглядела измученной, казалась старше и была излишне полной: сначала трудная жизнь подле матери, потом два ареста, лагеря, ссылка, а затем изматывающие хлопоты по прописке в Москве, устройству жилья, собиранию архива, изданию книг, в то время когда она сама еще работала. Я уж не говорю о личных психологических проблемах, связанных с наследием матери-поэта, о которых я догадываться стала только позднее, при более близком знакомстве. У нее уже тогда были больные ноги, она страдала от болезни сердца, от которой и скончалась, много курила и мечтала от этой привычки избавиться.

И тем не менее ни разу она мне не позвонила, чтобы отменить встречу.

Внешняя резкость и даже угрюмость скрывали под собой доброту ко многим людям, в частности ко мне, совсем ей чужой и ненужной, «только лишние хлопоты»,— несомненно, говорила она обо мне. Однако она приняла очень близко к сердцу мою работу, меня всецело взяла под свою опеку, и в тисках ее надзора, но и ее заботливости и доброты я уже не могла пикнуть; я проявляла инициативу только в составлении вопросов, которые готовила к каждой встрече.

Когда я приходила, Ариадна Сергеевна доставала из шкафчиков тетрадки матери, папки с фотографиями, отдельные листочки архива и все раскладывала на столе для пояснений к своим рассказам. Через два-три часа она уходила в кухню подогревать заранее приготовленный обильный и вкусный обед, который являлся неотъемлемой частью ее внимания ко мне и вообще русского гостеприимства. В это время она оставляла разложенным на столе архив, перед которым я трепетала, вплоть до того, что не решалась даже повернуть страницу очередной тетрадки, а всегда звала ее, чтобы она это сделала сама. Мне рассказывали, что о моем поведении Ариадна Сергеевна говорила потом: «Такая холодная, такая сдержанная! И подумайте: ведь она у меня не выкрала ни одного листочка!»

Я постаралась возможно полнее записать все ее слова, а также описать огромное количество фотографий, которые она мне тогда показывала и комментировала. С тех пор вышла «Фотобиография Цветаевой» (Изд-во

Ардис, США), поэтому я при передаче этих комментариев выпускаю описание уже известных фотографий. Кроме того, в то время, когда проходили наши беседы, книга Ариадны Сергеевны еще не была написана. Мне она не раз говорила, когда я ее спрашивала, почему она сама не пишет книгу о матери: «Я писать должна, но не могу. На это слишком много психологических, бытовых и моральных причин /.../ Мама не понимала, что в одной семье не может быть двух поэтов, что не может быть двух поэтов, остающихся личностями. Как и в семье Пастернака — отец его был художником, мать музыкантом, он не мог стать музыкантом, а мог стать только поэтом... Я же могу только собирать материал, архив и записывать».

Ввиду изложенных выше обстоятельств, неизбежны повторения, иногда даже дословные совпадения, в моем пересказе и в книге воспоминаний Ариадны Сергеевны Эфрон. Но мне кажется, что непосредственная запись наших бесед имеет свою ценность.

Я должна сделать еще одну оговорку: у меня нет возможности передать красочную устную речь Ариадны Сергеевны — все языковые шероховатости являются принадлежностью, естественно, моего изложения, а не ее стиля. Многоточия вставлены мною, когда Ариадна Сергеевна ищет подходящего слова или задумывается, а настоящие пропуски обозначены многоточиями, заключенными в косые скобки. Мои записи, сделанные в 1971 г., носят несколько отрывочный характер, поэтому мне при написании книги часто приходилось их «редактировать», то есть, стараясь не искажать смысла, иногда менять формулировку отдельных замечаний. Моих записей Ариадна Сергеевна, конечно, не перечитывала, хотя знала, что я регулярно записываю в тетради отчеты о наших беседах.

В ходе нашей совместной работы мне стало ясно, что есть три области, относительно которых нельзя задавать вопросов, как бы три «запретные темы». Однако все они в биографии Цветаевой занимают немаловажное место. В беседах с другими свидетелями я к этим темам неоднократно возвращалась, поэтому я их здесь перечислю.

Первая тема касается личных отношений Ариадны Сергеевны с матерью. Когда я впервые об этом с ней заговорила, она мне ответила рассказом и цитатами из своего детского дневника, которые потом воспроизве-

ла в книге своих воспоминаний. Ни о каком «переломе» в отношениях она не упоминала, только вспомнила: «...после пребывания в интернате я стала обыкновенной девочкой» и один раз, по поводу «борьбы Марины Цветаевой с бытом», внезапно и очень откровенно поделилась своей болью и обидой на мать, к этому рассказу я в свое время вернусь.

Вторая тема относится к «делу Рейса» и политической деятельности Сергея Яковлевича Эфрона. Тогда только что вышедшая первая книга о Цветаевой американского специалиста Семена Карлинского, в которой дело, конечно, упоминается, вызывала ее возмущение. Она говорила, что это «наглая книга», что вообще об этом деле ничего не известно, поэтому рассказывать нечего.

Третья тема касается увлечений, или так называемых «романов», Марины Цветаевой. Об этом ее дочь, естественно, не рассказывала ничего из понятной деликатности, хотя, как известно, была с детства посвящена во многие подробности интимной жизни матери. Иногда только она останавливалась на личности того или другого человека и более детально рассказывала о герое «Поэмы горы» и «Поэмы конца», но об этом речь впереди.

Кроме бесед с Ариадной Сергеевной, были еще встречи с другими людьми, хорошо знавшими и помнившими Марину Цветаеву.

Собирание такого рода материала — дело нелегкое: многие люди, дожившие теперь до преклонного возраста, либо путают действительные события своего далекого прошлого со сведениями, полученными ими в настоящем; либо не хотят быть причастными к обнародованию в печати того, что им кажется личным и никого не касающимся, кроме них самих и их друзей; либо, наконец, испытывают смущение перед тем, что им, может быть и справедливо, представляется как нескромность. Кроме того, иные помнят живого человека, друга или недруга, и только с натяжкой — поэта, то есть незаурядную личность, уже вошедшую в историю литературы. Поэтому в их рассказах часто появляются умолчания чисто личного или психологического характера, которые они объясняют так: «Кому это нужно знать? Да

и какое это имеет отношение к стихам?» Однажды, например, когда я расспрашивала Анастасию Ивановну Цветаеву о ее встречах с сестрой в Крыму после революции, она мне ответила: «Ваши вопросы наивны. Я пишу только живые воспоминания о живом человеке, а не исследование о творчестве /.../ Не вижу необходимости копаться в порядке знакомств. Кому это нужно! Давно все бумаги потеряны, и понять ничего нельзя...»

У меня также не было возможности использовать современную аппаратуру: только опытный литератор или журналист умеет «наговаривать на пленку», остальные от одного вида самого маленького магнитофона моментально замолкают. А обманывать людей я не хотела. Кроме недосказанностей, в беседах за чашкой чая появляются повторения и лейтмотивы, которые я, как могла, устраняла, но это мне не всегда удавалось. К тому же ни один из моих собеседников не читал мою версию своих рассказов: некоторые умерли давно, другие, перечитывая мои записи, стали бы их перерабатывать или «шлифовать» — тогда данная работа была бы надолго задержана или вовсе не могла бы появиться [3].

Можно все же надеяться, что и в таком несовершенном виде она побудит некоторых необнаруженных мною или неудовлетворенных свидетелей выступить с добавлениями, исправлениями или опровержениями. А это несомненно пополнит и обогатит биографический материал о Цветаевой.

Всего мною было опрошено 52 человека. Из них шестеро не были знакомы с Цветаевой лично, и у 14 других были с ней только короткие или редкие встречи; оставшиеся 32 о Цветаевой рассказывали подробно. Помимо сестры и дочери поэта, некоторые свидетели, как, например, Саломея Николаевна Гальперн или Марк Львович Слоним, знали Цветаеву долгие годы, другие были знакомы с ней недолго, и их воспоминания относятся только к определенному периоду времени.

Свидетельства современников расположены мною в форме аналитической сводки, прослеживающей весь жизненный путь поэта. Так как в печати уже появилось довольно много биографических материалов, я полагаю основное известным и на таковые публикации не ссылаюсь. Но в ходе бесед разные люди давали мне об отдельных событиях или чертах характера Цветаевой противоречивые версии. Мне показалось целесообразным эти разные версии включить в свой отчет. Буду-

щие публикации позволят установить ложность или ошибочность некоторых из них: я думаю, что только самое разностороннее и полное освещение спорных моментов сможет привести к наибольшей точности и объективности.

Среди современников одной из первых, кто мне рассказал о Цветаевой, была Мария Сергеевна Сцепуржинская («Муна Булгакова»), то есть та молодая женщина, на которой женился К. Б., герой «Поэмы горы» и «Поэмы конца», после разрыва с Цветаевой.

В 1965 г., когда я с Марией Сергеевной познакомилась, она была уже вторично замужем, и отзывы ее о первом муже были весьма нелестными. О самой Марине она тоже говорила без мягкости, но была большой почитательницей ее стихов и с удовольствием их читала и разбирала на разных парижских «вечерах русской культуры».

В конце 60-х годов я также познакомилась с Саломеей Николаевной Андрониковой-Гальперн (1888—1982), которая тогда была очень сдержанна и немногословна в своих рассказах. В те годы ей казалось необходимым свой архивный материал сохранить и передать в Россию. Насколько мне известно, ее мнение на эту тему в последние годы изменилось: переписка ее с Цветаевой была тогда засекречена, а через 15 лет она охотно делилась своими знаниями с биографами поэта.

Среди умерших друзей Цветаевой следует еще назвать Марка Львовича Слонима (1894—1976). Он был литературным критиком и редактором «Воли России», а впоследствии профессором русской литературы. Последние годы жизни Слоним провел в Женеве. Я несколько раз ездила его навещать и часто с ним советовалась, особенно до и после очередных поездок в Москву. Когда я к нему приехала впервые в 1968 г., его воспоминания о Цветаевой еще не были опубликованы. Во время наших бесед я постоянно обращала внимание на его тонкость и деликатность, а также на умение отметать неприятное или личное, чтобы давать свидетельства «по существу». Марк Львович преклонялся перед огромностью цветаевского таланта. Из всех друзей Цветаевой именно он, один из немногих, остался до конца ее настоящим другом и справедливым ценителем ее поэзии. Он, например, не обращал никакого внимания на отрицательные отзывы о нем самой Цветаевой,

которые появлялись по мере публикации ее писем (см. Приложение 2).

Если переписка между ним и Цветаевой когда-нибудь обнаружится (ибо трудно поверить, что такой аккуратный человек, как Марк Львович, мог дать этому кладу окончательно исчезнуть), то, возможно, раскроется значительная часть «лаборатории», тайны ремесла поэта. Однажды в беседе Марк Львович подтвердил мне, что письма Цветаевой к нему пропали в Париже во время войны, но что копии их находятся в Москве, в ЦГАЛИ.

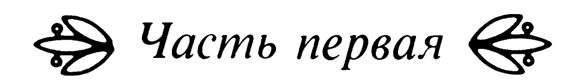
Я должна еще вспомнить Георгия Викторовича Адамовича (1894—1969). Встречи с ним были особенно необычны ввиду его сдержанных чувств к стихам Цветаевой и явной непреодолимой неприязни к ней как к человеку.

У меня было несколько волнующих бесед со скромной медонской спутницей и помощницей поэта — Александрой Захаровной Туржанской, которая скончалась в 70-х годах. Среди теперь ушедших свидетелей назову еще писателя Л. Ф. Зурова, из мимолетных впечатлений — короткий рассказ моей свекрови, Магдалины Исааковны Лосской, и, наконец, косвенные свидетельства Константина Богатырева, трагически погибшего в 1976 году, о разных людях, окружавших Цветаеву в Москве в 40-е годы.

За исключением нескольких свидетелей, в данной работе почти никто не назван, и фамилии людей на некоторое время зашифрованы. Пройдет время, исчезнут поводы для сплетен, забудутся обиды и злоба, мелочи обыденной жизни перейдут в историю. Тогда легко будет раскрыть все фамилии, не оскорбляя ничьей памяти [4].

Инициалами К. Б. обозначен Константин Болеславович Родзевич, который не хотел, чтобы о нем говорили в печати при его жизни. Он скончался в окрестностях Парижа в конце февраля 1988 г.

Под буквой «М» сгруппированы фамилии разных людей, у которых были краткие или единичные встречи с Мариной Цветаевой. Их рассказы не подробны или относятся к отдельным моментам биографии поэта.



Часть первая

ЖИЗНЬ В РОССИИ

Глава 1. ДЕТСТВО (1892—1906)

Сестры Цветаевы в детстве. Отношения между родителями М. Ц. Валерия Ивановна Цветаева. Отношения А. С. Эфрон с семьей.

Большинство материалов о детстве Марины Цветаевой исчезли или засекречены. Воспоминания ее самой поданы в творческом преломлении действительности, и, думается, их не следует использовать как исторический документ. Ариадна Сергеевна Эфрон тоже так считала и говорила мне: «Автобиографическая проза ее — это не „я“, а необычный ребенок в обычном мире».

Сводная сестра Марины и Аси, Валерия, дочь профессора Ивана Владимировича Цветаева от первого брака, в своих неизданных воспоминаниях рисует гораздо менее радостную картину детства, чем это делает Анастасия Ивановна Цветаева, ее младшая сестра, в своих книгах:

> Кто возьмется понять нас всех? Ах, какая семья! В тяжелую годину не вспоминали, не окликали мы друг друга! В одиночку боролись, подолгу ничего друг о друге не зная /.../
>
> Мы все любили свой дом в Трехпрудном. Но кто из нас, кроме брата, знал и видел гибель его? Расформирование госпиталя, отдачу нашего дома соседней типографии, на слом, на дрова...
>
> Мы не были черствы, каждый из нас... не плохие были мы люди. Почему все так получилось? Откуда рознь? Чем она питалась? Мы теплой, целой, родной семьи не знали. И в жизнь мы все унесли в душе каждый свое увечье. (Из неизданных воспоминаний Валерии Цветаевой).

Следует помнить о враждебном отношении Вале-

рии к мачехе. Родственные чувства к полусестре Марине, может быть, у нее и появились, но гораздо позднее. А мачеху, Марию Александровну Мейн, она неоднократно обвиняет в измене мужу, вспоминает, что в детстве, войдя однажды в комнату, увидела Марию Александровну сидящей на коленях у репетитора. Она настаивает на том, что мачеха изменяла мужу часто и не только, как рассказывает сестра, с Кобылянским, а вообще со всеми. «Какая там верность ученому и науке!» Вообще, по ее воспоминаниям, домашняя обстановка была лишена покоя и гармонии.

Отчет Ариадны Сергеевны в основном воспроизводит рассказы самой Марины, которая, как известно, любила вспоминать свое детство. Вот что мне говорила Ариадна Сергеевна о семье матери и об обстановке далекого и ей неизвестного прошлого:

> В семье было трагично обострено то, что были в детстве недружелюбные отношения между Асей и Мариной. Вот, например, фотография Марины и Аси. Посередине гувернантка, очень характерно! Ася — главная, хорошенькая, фотограф положил ее руку на плечо гувернантки. У Марины лицо круглое, немного агрессивное, вольное. Она сама вцепилась в руку гувернантки двумя сильными квадратными ручками.
>
> Дружны были сестры только в отрочестве и до брака Марины. Мать несомненно предпочитала младшую, Асю. Духовно Марина была сильнее — поэтому.

Отношения между родителями поэта Ариадна Сергеевна описывала совсем в ином тоне, чем они представлены в воспоминаниях Валерии Ивановны Цветаевой:

> Мария Александровна с мужем очень ладила, и они очень любили друг друга. Любили и уважали. Это не была большая любовь, но искренность и дружба. У матери было свое — музыка, у отца свое — музей, и эти заботы каждого служили как бы громоотводом для семейных трудностей и дрязг. У Марии Александровны, как и у Марины, шел процесс самоуглубления, но выход у нее был не в слово, а в музыку, в игру на рояле. У нее

был творческий характер. Романтична — как и Марина, Ася была той же породы, но с помехами, как в кривом зеркале, так что семья была трудная. Ася считает, что Марина в своей автобиографической прозе всегда кого-то обижает (например, в «Открытии музея» не упомянула присутствие Наследника). Ну и что? Семья-то была трудная...

Марина, с ее романтизмом, понимала романтичность матери. Хотя в раннем детстве были смешные казусы: например, Мария Александровна говорила: «Что такое Наполеон? Как же ты не понимаешь? Это же в воздухе носится!» И Марина думала, что это муха!

Максимализм Марины Цветаевой — от матери.

Доставая из большой папки фотографии семьи, Ариадна Сергеевна давала свои пояснения:

«Вот фотография маминой семьи на Капри: Ася, веселая и довольная, Марина строгая, полно детей».

Ариадна Сергеевна комментировала также трения между старшей — сводной — сестрой Валерией (Лёрой) и Мариной:

К Валерии Марина относилась неплохо, но Валерия очень тяжелый и сложный человек. Валерия таланта и сути творческого процесса просто не понимала. И вообще, она была нехороший человек, она до самой смерти не могла забыть своей неприязни и ревности ко второй жене отца. Например, однажды Мария Александровна хотела навести порядок в вещах первой жены и кое-что выбросить. Это было, конечно, нетактично с ее стороны, но и Валерия к старости могла бы об этом забыть. Единственное ее родство с Цветаевыми — это ее огромная способность увлекаться людьми, которых она сама впоследствии брезгливо отбрасывала...

Мама к Валерии относилась неплохо, но Валерия и сестер не любила, и страшно ревновала отца ко второй жене. Она до самой смерти ненавидела Марию Александровну (большое несходство характеров), очень не любила Марину и только сно-

сила Асю. Она и со старой прислугой обращалась плохо, и вообще была очень трудная /.../

Валерия была мстительна, но не лишена обаяния. Она умерла 85 лет... Марина с ней не дружила. В отрочестве она обеих девочек очень баловала, заступалась за них, отводила наказания, но причиной этому всему была не доброта, а желание пойти против мачехи, и Марина это понимала. Валерия делала все наперекор строгому воспитанию Марии Александровны, старалась сломать это воспитание, а Марина видела это и понимала, какое это предательство: принимать помощь Валерии, которая действует назло матери. Марина считала, что это хуже греха. Валерия, таким образом, была соблазнительницей, а не добрым началом в детстве. А Ася была недостаточно чуткой и считала Валерию доброй защитницей от суровой матери.

С такой устойчивой ненавистью к Марии Александровне Валерия и осталась до конца. Она любила отца, любила искусство. Она, например, одно время увлекалась творчеством Айседоры Дункан и в Тарусе открыла студию танцев в только что закрытой церкви, в такое ужасное время! Асю и Марину очень шокировало, что внучка священника в церкви танцует. У меня сохранилась фотография этой группы танцев, пять-шесть девочек...

Валерия была человеком очень заторможенным — до конца; на все, на жизнь ответ — «нет». Ее зависть и злорадство отсюда. Это был сложный и вместе обаятельный человек, она была вся в деда Иловайского.

В частном письме 1966 г. к одной парижской знакомой Ариадна Сергеевна пишет: «17 августа скончалась мамина старшая сестра от первого брака, Валерия,— внучка историка Иловайского. Одинокая, своенравная и очень интересная. Со всеми перессорилась. Она из всей семьи была единственным активно *недобрым* человеком. Похоронили ее на новом тарусском кладбище».

Ариадна Сергеевна описывала мне и свои личные отношения с Валерией и со всей оставшейся семьей, с которой вновь встретилась в 1937 году и с которой

впоследствии боролась, когда взяла на себя работу по изданию произведений матери.

Еще о Валерии:

> Она, конечно, была ведьмой. Сама не одаренная, она развивалась в очень одаренной среде. Но сама она была не талантливая и даже мелочная. Она пронесла свой характер помещицы прошлого века через всю революцию.
>
> В старости она жила в грязи, в одиночестве. Она, конечно, была самодуром. У нее был трудолюбивый и терпеливый муж, который умер незадолго до нее (она умерла в 1965 г.)... Она очень любила Тарусу. За ней ходил какой-то старик, который после ее смерти все из дому утащил... А жила она, никому не кланяясь...
>
> Мне ее характер нравился. Она была лукавая. От цветаевского характера унаследовала способность увлекаться — влюблялась легко и тогда делалась очень щедрой. У меня тоже был с ней короткий роман, но он кончился после истории с домом в Тарусе (история участка, который мы у нее выкупили и на котором построили себе с подругой дом).
>
> В ее характере были и произвол, и несгибаемость. Она была трудная, но какая-то в ней была большая прелесть. На нее не обижались. Лера не была добрая, но очень интересная, очень рациональная. Она совсем не понимала процесса творчества и его законов. От воспоминаний Марины она была в ужасе. Говорила, например: «Что за идеи! Какой черт?! И почему он жил у меня в комнате?»
>
> Но один раз, в момент возобновления моды на Цветаеву, она покривила душой, стала принимать людей, стала «сестрой Марины». Ей это стало лестно. А когда мама в 1939 г. приехала, несмотря на то, что у Валерии была тогда своя большая дача, она маму не приняла, потом рассказывала: «Марина звонила. Хотела встретиться, я ей сказала, что встречаться не хочу. А жаль!»

От других свидетелей я слышала об этом следующую версию: «Есть люди, которые считают, что Валерия не приняла Цветаеву из страха. А Валерия сама говорила: „Я испугалась, что опять начнутся какие-то вы-

ходки, опять пойдет безумие!“ Ведь Марина Цветаева действительно была способна на всякие выходки!» (Свидетельство С) *.

У Ариадны Сергеевны были трудные отношения со всеми членами этой сложной семьи, тем более что у нее самой был нелегкий характер, и, по словам некоторых друзей, она была мизантропом. Сама она говорила про семью:

> Я с ними со всеми не ссорилась тогда. Мне хотелось их постичь. Да и судить нельзя, такое тяжелое было время. Но мамины прогнозы подтвердились обликом этих двух старых женщин — Валерии и Аси.

В отношении Ариадны Сергеевны к тетке, Анастасии Ивановне Цветаевой, чувствовалась неприязнь:

> Ася физически совсем не похожа на маму: это мама в карикатуре, в кривом зеркале /.../
>
> Асей сейчас владеет желание опровергнуть суть воспоминаний сестры. Она сама хочет быть Марине равнозначной — вечный плагиат, как в их детстве. А Марина в самоутверждении не нуждалась. Ася же цепляется старческой хваткой за личность, разбазаренную не Мариной, а жизнью /.../
>
> Анастасия Ивановна действительно читает стихи, как Марина, ранние стихи, те, что они вместе читали, в один голос. Но она сумбурная и утомительная /.../
>
> Воспоминания Анастасии в «Новом мире» в 1966-м — это выдержки из книги, которую ей обязательно хотелось пропихнуть. Редакция делала купюры, на которые она шла, поэтому она о многом не договаривает. Кроме того, есть некоторая политизация и многословие в диалогах. Что касается фактов, датировки, имен, все правильно и точно. Она же все это сверяла со старшей сестрой, Валерией /.../
>
> Отношения Марины с Асей остались на уровне какой-то отроческой дружбы, вслед за детской не-

---

* О зашифровке фамилий свидетелей см. примечание 4 к Предисловию.

приязнью. Но уже ничего настоящего между ними не было. Они жили и развивались врозь /.../

Когда Ася приезжала к нам из Италии, она была восторженная, наполненная своей любовью к Горькому и вся в духовных поисках. Мама же была, наоборот, сдержанная, собранная, взрослая. Она росла в глубину. А у Аси рост шел этапами. Она все время нуждалась в каких-то руководителях, увлекалась вегетарианством и мистикой. Мама же страшно уставала от общения с ней и рассталась с ней с облегчением, а Ася этого не почуяла. Она уже маму не понимала, в ней самой был какой-то надрыв, сложное сектантство и большая каша. Странно даже, что одна мать, Мария Александровна, могла родить таких двух разных дочерей: одну — определенную и определившуюся, Марину, а в другой как будто были разбросаны черты всех последующих возможных детей.

О других членах семьи Марины Цветаевой Ариадна Сергеевна мне не рассказывала. Следовало ее расспросить о брате, Андрее Ивановиче, и об отце, профессоре Иване Владимировиче, чтобы она вспомнила рассказы матери о них, но, к сожалению, я этого вовремя не сделала. Она мне показывала фотографии Ивана Владимировича, например, одну с сыном, другую официальную, в знаменитом мундире из цветаевского рассказа. О последней она сказала: «Чинно стоит, строго, полно орденов, все блестит! Но в его позе, в его мягко опирающейся на спинку стула руке видны его смущение и большая скромность». (На обороте фотографии рукой Марины Цветаевой вписана дата его смерти: 30 августа 1913 г.)

Ариадна Сергеевна очень мне советовала поехать в Тарусу посмотреть на эти красивые места, хотя цветаевского там осталось мало. Как известно, у нее в Тарусе был домик, в котором она и скончалась летом 1975 г.

В Тарусу надо ехать летом, цветаевский пейзаж — летний. Дом в Тарусе снесли. У меня есть две старые открытки. Вот маленькая старая площадь перед собором, красивая, людная. Теперь уж этого нет, так как собор наполовину снесен.

В нем устроили музей картин. Таруса — городок художников, и туда они возили много картин. Там были имения известных художников, Поленова например, было и имение Немировича-Данченко, его дочь — Александра Захаровна Туржанская — мамина приятельница.

А наш дом развалился, он был деревянный, и ему было сто пятьдесят лет, его растаскали, теперь там дом отдыха и на месте нашего дома танцевальная площадка. Остались только дома «хлыстовок» и дом, описанный в рассказе «Жених».

Таруса — период раннего детства. Марина Цветаева была однажды там в юности с Сергеем Яковлевичем в гостях у гувернантки Марии Александровны — Тьо. Отец Марии Александровны на этой гувернантке женился, не любя ее, ради своих детей и ради репутации гувернантки. После смерти Александра Мейна Тьо купила домик в Тарусе. Сергей Яковлевич был у нее и был напуган ее старческой заботливостью. Она была уже слепая, носила дедушкины очки в память о нем, ничего не видела, была очень добрая /.../

В Тарусе еще цел домик «хлыстовок», описанный в прозе, а дом «жениха», Анатолия Виноградова, перекупил какой-то литератор.

В детстве совершали прогулки «на пеньки», на пшеничные «пункты».

Глава 2. ОТРОЧЕСТВО (1906—1915)

Школьные подруги М.Ц. Гимназия фон Дервиз. Воспоминания Вали Гинерозовой. Учение. Воспоминания Т. Н. Астаповой. Анастасия Ивановна в 1971 г. Чтение стихов. «Предсмертное письмо» 1909 г. Воспоминания коктебельской подруги. История семьи С.Я. Эфрона. Е.П. Дурново. Семья Эфронов. Детство С.Я. Книга С.Я. Эфрона. С.Я. в молодости. Женитьба С.Я. на М.Ц. Друзья М.Ц. Внешность и необычность М. Ц.

5 июля 1906 года в Тарусе скончалась Мария Александровна Мейн, мать Марины Цветаевой. Можно считать, что с этого момента начинается отрочество поэта.

Как известно, учеба Марины Цветаевой проходила не очень регулярно и успешно. После смерти матери она переходила из одной гимназии в другую. Марк Львович Слоним объяснял, что ее даже трижды выгоняли из гимназии за дерзость. На это Ариадна Сергеевна возражала, что «дерзость была не в ее характере».

В 60-х годах Ариадна Сергеевна дала в «Литературную газету» объявление о том, что собирает материалы о матери. Она тогда получила массу писем, но, как она говорила, очень неинтересные, кроме воспоминаний школьных подруг поэта и двух-трех других: «Единственная подруга, которая помнит много и конкретно и хорошо рассказывает, это Аня Каллин». Ей посвящено много стихотворений из «Вечернего альбома». Анна Каллин потом уехала в Англию и в последнее время жила в Лондоне, в одном доме с Саломеей Николаевной Гальперн. Где находятся ее воспоминания об отрочестве Марины Цветаевой — мне неизвестно.

«А в Москве,— говорила Ариадна Сергеевна,— есть только две подруги детства мамы, и самая любимая как раз ничего или очень мало помнит, другая — менее любимая — запомнила Марину очень хорошо и очень верно все описывает».

Рассказывая, Ариадна Сергеевна достала толстую папку с листами, написанными от руки или на машинке. Она из них вынимала отдельные страницы и очень быстро их читала мне вслух, забегая вперед глазами и давая только обрывки текстов. Поэтому то, что я привожу, даже в кавычках, является лишь частью то-

го, что я слышала, это не дословные цитаты, а только то, что я запомнила и в тот же день записала.

Приведу сначала воспоминания первой школьной подруги, фамилия которой мне осталась неизвестна:

> Это было в гимназии фон Дервиз. Там мы изучали «новую» литературу, увлекались сочинениями Белинского, Чернышевского, Тургенева. Курс литературы доходил только до Гоголя, но говорили и о Рудине и о Базарове.
>
> Я была «пансионеркой». «Приходящие» вносили в школу свежий воздух. В шестом классе появилась очень живая девочка с пытливым и насмешливым взглядом. Причесана она была под мальчика. Она была очень способна к гуманитарным наукам и мало прилагала усилий к точным наукам. Она все переходила из одной гимназии в другую. Ее скорее привлекали старшие подруги, чем младшие, и особенно Валя Гинерозова.
>
> Марина нам давала советы, что читать, и я ей посоветовала читать Сельму Лагерлёф и Ростана. Это было время, когда все мы увлекались Ибсеном, каждое представление какой-нибудь его пьесы было для меня событием.
>
> У нас постоянно были шумные споры о новых людях. Марина говорила смело, отметая все старое, отжившее.
>
> Валя была очень музыкальна. Марина ее ценила и любила.
>
> Как-то Марина надерзила директору, и ее отцу пришлось взять ее из гимназии.
>
> Потом я у нее бывала и познакомилась с ее семьей в Трехпрудном. Это был настоящий мир поэзии. Марина и Ася и у нас бывали. Их привлекали студенты и наши братья.

Ариадна Сергеевна объяснила мне, что в этой семье увлекались театром, но на мой вопрос, не отсюда ли интерес Цветаевой к театру, она ответила отрицательно и сказала, что Марина Цветаева стала увлекаться театром позднее благодаря семье мужа и знакомству с актерами Третьей студии.

Продолжение воспоминаний первой школьной подруги:

> Иван Владимирович путешествовал, много

о своих поездках рассказывал, показывал свой музей. У него было много забот.

Летом я ездила к Марине в Тарусу. Мы катались по Оке, ездили к Марининой тете. Нам было обеим по пятнадцать лет — вечером мы тайком бегали к реке, катались на пароме, там была прекрасная и нами любимая природа.

В Тарусе сохранились следы татарского нашествия, и мы говорили о татарах и вообще об истории, которой Марина очень интересовалась... Она мне читала Пушкина, немецких романтиков, Гейне. Брюсова она не любила («На самом деле на первых порах Цветаева очень Брюсовым увлекалась»,— вставила Ариадна Сергеевна). Читала некоторые свои стихи из «Вечернего альбома» и «Волшебного фонаря».

Проведя всю ночь на Оке, мы глядели на рассвете на любимые дали, которые потом и носили с собой всю жизнь.

А вот из воспоминаний Вали Гинерозовой:

Марина была один год пансионеркой, после смерти матери. У нее было угрюмое лицо, медленная походка, сутулая спина и фигура. (Как ни странно, Ариадна Сергеевна не опровергала этот портрет, она только заметила, что он странный, и не без тонкости прибавила, что каждый ведь видит другого по-своему, поэтому портреты одного и того же человека могут быть разными. Следует также напомнить, что это было сразу после смерти матери, и жить в гимназии вряд ли особенно нравилось Цветаевой.— В. Л.)

Цветаева написала рассказ, который в гимназии ходил по рукам и назывался «О четырех звездах приготовительного класса». Рассказ мне показался чрезвычайно неправдоподобным, я ведь не была в приготовительном, но она защищала свое: «Мне захотелось сделать вас такой».

Мы катались на санках, по ночам разговаривали... Это была увлекающаяся натура. Она была слишком умная, увлекалась героями книг, а не учителями... Она старалась познакомить меня с революционной литературой (Кравчинский, Ситников и др.)...

Она мало бывала у нас. Мы с ней долго переписывались, но у меня от этой переписки уцелела только одна открытка.

Я была у нее в Трехпрудном. Она меня радостно встретила, провела к себе и усадила на диван. Там стоял еще большой письменный стол. Она говорила о книгах и о своих стихах (начала 1909 года) и впоследствии прислала мне свои книги.

У нас в школе был один любопытный случай. Какая-то девочка обидела другую. Я была застенчивая, но тут, неожиданно для себя, за обиженную девочку заступилась. Ночью Марина принесла мне свои стихи «Марина» («Я два озера встретила в пути...»), стихи были написаны мне. Они были наивные и незрелые, но в них было характерное для Марины Цветаевой немедленное реагирование на событие.

Новая встреча у нас была уже после ее замужества, в Борисоглебском. Там висел огромный портрет Сергея Яковлевича, молодого, в полный рост. Марина лежала на диване, и у нее было усталое лицо. Разговор наш как-то не вязался. Я говорила о Сибири, а Марина была чем-то озабочена. Пришла ее девочка, Ариадна... Была очевидна огромная Маринина любовь к греческой мифологии... Когда Марина встала, я поняла причину ее усталости: она ждала второго ребенка. О прошлом мы тогда мало говорили... Потом, вместо того чтобы зайти ко мне, она прислала мне свою сестру Асю. (Ариадна Сергеевна уточняет, что Марина это часто делала, у нее была такая неприятная манера.)

По поводу второй записи Ариадна Сергеевна объяснила мне школьную систему того времени.

Поступали дети в младший приготовительный класс, потом старший приготовительный, потом с первого по седьмой классы и восьмой класс (десятый год обучения) необязательный. «Это был педагогический класс, который давал право преподавать. Этого Марина, конечно, не хотела и в этом классе уже не училась. Таким образом, у нее было полное среднее образование.

Дети из интеллигентных семей обычно поступали прямо в первый класс, с предварительной проверкой знаний по литературе, арифметике и Закону Божьему».

Неизданные воспоминания Т. Н. Астаповой относятся к 1908—1910 годам, когда Марина Цветаева училась в гимназии М. Г. Брюхоненко в Кисловском переулке, считавшейся в то время хорошей, «либеральной».

Т. Н. Астапова рассказывает, что у нее с поэтом не было никаких дружеских отношений, хотя Цветаева ее очень привлекала:

> Это была ученица совсем особого склада. Не шла к ней ни гимназическая форма, ни тесная школьная парта /.../ Цветаева каким-то образом была вне гимназической сферы, вне обычного школьного распорядка. Среди нас она была как экзотическая птица, случайно залетевшая в стайку пернатых северного леса. Кругом движенье, гомон, щебетанье, но у нее иной полет, иной язык /.../
>
> Из ее внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, жемчужный цвет лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском, сквозь прищуренные ресницы. Короткие густые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, пожалуй, самым характерным для нее были движения, походка — легкая, неслышная. Она как-то внезапно, вдруг появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет. И гимназию Цветаева посещала с перерывами: походит несколько дней и опять ее нет. А потом смотришь, вот она снова сидит на самой последней парте (7-й в ряду) и, склонив голову, читает книгу. Она неизменно читала или что-то писала на уроках, явно безразличная к тому, что происходило в классе; только изредка вдруг поднимет голову, заслышав что-то стоящее внимания, иногда сделает какое-нибудь замечание и снова погрузится в чтение.

Т. Н. Астапова рассказывает, что на уроках Цветаева в дискуссиях не участвовала, и вспоминает, как однажды на уроке истории Е. И. Вишнякова она рассказывала «не по учебнику» о французской революции: «Вишняков был удивлен, с уважением посматривал на свою ученицу и, сколько помнится, благодарил».

Т. Н. Астапова описывает отношения Цветаевой с другими школьниками, среди которых она не могла себе найти настоящей подруги, выделив только одну, старше других, воспитанную и умную Радугину. Цветаева сама была не по летам начитана и культурна.

Как-то раз, когда мы ходили втроем по коридору, навстречу прошла одна новенькая из другого класса, армянка или еврейка с большим ястребиным носом. «Какой у этой девочки громадный нос!» — невольно вырвалось у меня. Цветаева помолчала немного и потом задумчиво начала: «Вот так всю жизнь при встрече с этой девочкой будут думать: какой у нее большой нос, и всегда прежде всего всем будет бросаться в глаза ее нос. У нее будет радость или горе, она с волнением будет рассказывать об этом, а все невольно будут смотреть на ее нос». Радугина засмеялась. «Ну, полно, Цветаева, что это вы, перестаньте...»

Далее Т. Н. Астапова вспоминает о юморе и шалостях:

Вообще Цветаева была далеко не прочь напроказить, и шутки ее были такими, какие мне никогда не пришли бы в голову. Мы как-то целой ватагой возвращались из гимназии. Впереди шел молодой человек, не то военный, не то лицеист, не припомню, но в форме с иголочки. Он всегда заходил за одной гимназисткой из выпускного класса, а в тот день, вероятно узнав об ее отсутствии, возвращался один. «Тираспольская!» — вдруг отчетливо и громко произнесла Цветаева. Лицеист вздрогнул, круто обернулся и увидел в упор незнакомые юные лица, веселые насмешливые глаза. Он смутился и, прибавив шагу, поспешил скрыться, затерявшись среди прохожих.

Вот пример одной цветаевской выходки: она однажды появилась в классе с волосами соломенного цвета и прикрепленной к ним голубой бархатной лентой, очевидно, под влиянием стихов Андрея Белого.

Мне кажется, что если Цветаева и держалась обособленно от других учениц, то это все же происходило не из-за ее гордости или сознательного намерения уединиться, а получалось как-то само собой /.../

Помню еще, как Цветаевой захотелось выкинуть какую-нибудь забавную шутку. «У кого есть старший брат?» — спросила она. «У меня» — сказала я. «Как его зовут?» — «Борис». — «Сейчас

я напишу ему открытку с дороги». И она тут же, поглядывая временами в окно, написала моему брату письмо в духе наивной восторженной гимназистки. «Милый Боря!» — начала она, а дальше было что-то о необъятном просторе, о селах и деревушках, живописно раскинувшихся среди полей и нив, о маленьких беленьких домиках, утопающих в кудрявой зелени.

Т. Н. Астапова также подробно вспоминает школьные выезды: поездку весной в Петровско-Разумовское (когда и случилась история с открыткой Боре), на пасхальные каникулы в Крым. Девушки страдали от морской болезни, от неожиданного весеннего холода:

> Но никогда я не видела, чтобы Цветаева зябла и куталась, как все остальные. Она предпочитала ездить рядом с возницей, и я помню ее фигуру на козлах, с развевающимися волосами, легко одетую, с бусами вокруг шеи. Она часто покупала ожерелья из всевозможных ракушек, разноцветных камушков. Бывало, перебирает их пальцами, прислушивается к их шелесту, потом скажет с улыбкой: «Люблю эти гадюльки» — и нацепит на себя. И они ей шли.

Однажды Марина Цветаева зашла к Радугиной, которая жила у своей тети. Она была очень удивлена неприветливостью и чопорностью этой семьи:

> «Это что же, так у них заведено? И это всегда так?» — спрашивала она. Цветаева не хотела связывать себя ненужными условностями, тогдашними понятиями о приличии, о том, что не пристало молодой девушке «из хорошего общества»; она любила чувствовать себя свободной, а мою подругу оберегали, каждый день провожали в гимназию и заходили за ней после уроков, хоть и жила она неподалеку /.../

И Т. Н. Астапова делает такой вывод:

> Она могла, если захочет, как магнит притягивать к себе людей и, думается, легко могла и оттолкнуть.

Интересна и заключительная часть воспоминаний:

> По окончании семи классов мы с Радугиной проучились в гимназии еще год, в восьмом (педагогическом) классе. Цветаева в нем не осталась, и я больше никогда ее не встречала. Но, будучи гимназистками 8-го класса, мы держали в руках ее первый сборник стихов. И нам вспомнились ее вскользь брошенные слова: «Вскоре я всех вас удивлю». Я читала и перечитывала стихи из «Вечернего альбома» и вышедшего вслед за ним «Волшебного фонаря». Мне нравились поэтические образы ее юной фантазии и хотелось лучше понять «душу поэта» /.../

В своих интересных и живых воспоминаниях Т.Н. Астапова пишет о близости Марины Цветаевой с младшей сестрой Асей, учившейся в той же гимназии.

После смерти матери между Мариной и Анастасией детская неприязнь как будто исчезла. Оставшись на попечении доброго, но занятого и часто отсутствующего отца, сестры сблизились и уже вместе боролись против тоски сиротства и одиночества.

Когда я впервые посетила Анастасию Ивановну в 1971 г., это была худенькая и сухая старушка, увлекающаяся катаньем на коньках и своей будущей книгой, отрывки из которой уже появились в «Новом мире». У нее были коротко остриженные седые и прямые волосы, на косой пробор, и она, без всякого сомнения, была очень похожа на сестру, с особенно характерными складками у рта и живым проницательным взглядом. Такой она остается и теперь, более десяти лет спустя.

Я, естественно, ее подробно расспрашивала о сестре, и все вопросы, на которые она, по незнанию, не могла ответить, она называла «наивными». Но она все же мне тогда рассказала о цветаевском доме и о ранней молодости:

> Стихи Марины, которые она считала слабее, нигде не были напечатаны. Я в своей книге даю большую часть неизданного «Чародея». ...Недалеко отсюда (Анастасия Ивановна в 1971 году жила на улице Горького. — В. Л.) находится место

нашего дома, Трехпрудный. Он до сих пор так и называется... Мы обе вышли замуж в 12-м году, и в доме остались отец и брат. Отец умер в 13-м, и во время войны брат отдал дом под лазарет. После этого в него уже никто не возвращался, а в 19-м, когда брат в него не вернулся, дом был заброшен. Это был большой бревенчатый дом, и его разобрали на топливо. Одно утешение хоть, что он послужил литературе, т. к. отапливал теперешнюю 16-ю типографию, бывшую типографию Левинсона. По этому поводу у Марины есть стихи, ранние: «Ты.../ Пойди, посмотри наш дом...» (14-го года) и другое стихотворение того же года: «Когда мы еще были дома...»

В 11-м году, после Феодосии, мы с Мариной, каждая со своим женихом, уезжали в разные города. К этому времени относится стихотворение: «Стоишь у двери с саквояжем...»

Затем в 15-м мы расстались, а в 22-м она уехала. В 21—22-м годах мы были очень близки, но время было трудное, было не до стихов, и мы уже вместе их не говорили /.../

Для примера Анастасия Ивановна процитировала мне несколько стихотворений 1916 г. Как говорили мне другие люди, давно знавшие обеих сестер, чтение Анастасии Ивановны (тех стихотворений, которые она читала с сестрой в один голос) было поразительно похоже на Маринино. Анастасия Ивановна мне прочитала: «Быть нежной, бешеной и шумной...»; «Уж сколько их упало в эту бездну...»; «Если душа родилась крылатой...» и «Настанет день, печальный говорят...».

Чтение ее было действительно удивительно: очень четкий, звонкий голос, простая дикция, предложения связаны, и интонация поднимается в середине строки и, чуть меньше, в конце. Было очень легко следить за смыслом и ритмом знакомых стихов, несмотря на то, что читала она, на мой вкус, слишком быстро. Подчеркивая рифму, она тем не менее соединяла вместе две строки, даже там, где не было «переноса», например, на слове «я» поднимая тон («Настанет день, когда и *я*...) и, наоборот, снижая его в конце («За то, что я *умру*»), чтобы через эту «напевность» передать пунктуацию строки и всего стихотворения.

Далее Анастасия Ивановна рассказывала:

> /.../ А более ранние стихи мы говорили вместе в один голос. Марина сама не любила актерского чтения и читала, не акцентируя по смыслу. Впоследствии, как мне говорили, /.../ у нее чтение стало суше, акцентирующее смысл больше, а ритм меньше... Я была ее первым слушателем, и поэтому те стихи, которые я запомнила, я переписала и отдала Але в архив.

Я хотела также узнать от нее о попытке самоубийства Марины Цветаевой и о «предсмертном» письме 1909 г. Об этом она рассказывает в первой редакции своей книги. Рассказ Анастасии Ивановны был немного путаным, и через десять лет, в следующее мое посещение, мне пришлось к этой теме вернуться. Вот первая версия рассказа Анастасии Ивановны о событии 1909 г.:

> Это было в театре, на представлении «Орленка» Ростана. Револьвер дал осечку. После этого неудачного выстрела она приехала в Тарусу к Тьо (гувернантке Марии Александровны) и сказала: «Не удалось».
>
> Что-то я, конечно, почувствовала... Она потом об этом никогда не говорила. Но письмо она не уничтожила. Она сама уехала в 1922 г., а после нее в квартире остался большой беспорядок, я же туда попала гораздо позднее. Это письмо сначала было в чьих-то руках, а потом его передали одной моей знакомой, нашему общему другу юности, актрисе Гриневой, урожденной Кузнецовой, которая его дала мне.
>
> Сама я узнала обо всем этом гораздо позднее, и получила я это письмо в 45-м или, может быть, в 47—48-м году. От меня вообще два года скрывали смерть Марины. А потом я чемоданчик со всеми письмами и бумагами потеряла вместе с Марининым письмом.

(Дальше в рассказе Анастасии Ивановны явно происходит некоторое смещение, потому что она продолжает о «предсмертных записках» Марины Цветаевой, написанных в 1941 г.— В. Л.):

> Было у Марины одно письмо к Але и мужу, начинавшееся «Дорогие мои...» и письмо к сыну Му-

ру, «прощальное», а я удивилась, что мне не было письма. Все письма пропали у Мура, когда он ушел на фронт.

...Я помню содержание письма 1909 г. Марина писала: «Вспоминаю наши весенние вечера... Пой одна все наши песни... Ничего в жизни не жалей, ничего в жизни не считай, чтобы потом не раскаиваться. ...Только бы не оборвалась веревка, а то недовеситься, гадость!» (Эта фраза явно не могла быть из письма 1909 г., раз, как рассказывает Анастасия Ивановна, Марина собиралась стреляться.— В. Л.)

«Помни, что если бы я была рядом с тобой, я бы тебя всегда понимала». ...Непонятная или пророческая фраза о веревке. Так я самого существенного и не знаю , т. е. не знаю, попало ли это письмо к Гриневой-Кузнецовой сразу же, в 1922 г., или гораздо позднее.

А вот версия того же события, данная Ариадной Сергеевной:

Обо всем этом знает только Ася. Она мне говорила и настойчиво повторяет о Марининой попытке самоубийства. Мама к этому никогда не возвращалась. Не то, что она это в себе затаила, а как будто это был в ее жизни какой-то эксперимент, глупое желание, которое жизнь совершенно в ней вышибла. В ней вообще не было никакой надломленности /.../

Никаких других следов письма 1909 г. нет ни в письмах, ни в тетрадях. Только Ася о нем знает и помнит его, по какой-то своей собственной болезненности.

Вот что мне удалось об этом письме узнать впоследствии: когда Анастасия Ивановна была в первый раз арестована (1935?), то многие ее бумаги пропали, кое-что сохранилось у ее друзей. Потом, в 1947 г., она освободилась и жила у сына в Вологде. Затем произошел второй арест и ссылка в Сибирь: тогда у нее пропало все, включая это письмо и письма 40-го года. Знакомая актриса, Мария Ивановна Гринева-Кузнецова, была второй женой Бориса Трухачева (первого мужа Анастасии Ивановны). У нее на даче сохранились ранние

фотографии семьи Цветаевых и все, что оставалось от архива Анастасии Ивановны.

А в 1981 г., когда я Анастасию Ивановну вновь расспрашивала о письме, она прибавила: «О самоубийстве 1909 г. я говорю в 5-й части своей книги. Я получила это первое письмо в заключении, после смерти Марины, мне его привезла вторая жена моего мужа (М. Гринева-Кузнецова)».

Возможно, что, как предполагает биограф Марины Цветаевой В. Швейцер, вся попытка самоубийства 1909 г. и ограничилась письмом к сестре.

О последующих событиях в жизни Марины Цветаевой мало кто может теперь рассказать, кроме Анастасии Ивановны, которая пишет новый том своих воспоминаний. Многое стало известно об отношениях юного поэта с Максимилианом Волошиным и о поездках к нему в Коктебель. Ариадна Сергеевна мне об этом сказала только: «Коктебель, описанный в прозе, это Крым, недалеко от Судака, крымская природа, море, краски... и веселые годы раннего замужества и молодости».

Единственный оставшийся свидетель и участник жизни в этом особенно красивом и любимом Цветаевой месте рассказывала так:

> Марина Цветаева очень любила жизнь у Макса в Коктебеле. Все другие дачи на нас косо смотрели, потому что мы жили не как все, женщины ходили в шароварах, в штанах, такой скандал! А нам это нравилось. Мы любили протест против всего. Сам Макс тоже был такой /.../ Он любил красное словцо. Он всегда рассказывал какие-то необыкновенные анекдоты. Например, в Москве, на улице, где я жила, была огромная бешеная собака. У меня тоже была маленькая собачка. И вот эта бешеная собака укусила меня и мою собачонку. Мы ходили в институт прививаться, но моя собачонка все же умерла. Так Макс потом рассказывал, что я укусила собаку и что собака от этого подохла /.../ И Марина была такая. У нее было желание все делать наоборот, от темперамента, но не чтобы провоцировать. Как и у меня. Мы любили, чтобы у нас все было не как у всех /.../
>
> В шестнадцать лет в школе все себе завивали волосы, мазались и пудрились и хотели нравить-

ся. А я не хотела нравиться, вот я взяла и обрила себе всю голову! А в другой раз я попросила в Коктебеле Сережу меня обрить, и он меня всю изрезал длинной бритвой. Потому я на всех коктебельских фотографиях с повязкой на голове. У меня вся голова была в рубцах. Макс хотел писать мой портрет, и тогда я и сбрила себе волосы, чтоб над ним посмеяться. А потом я носила короткие волосы, как паж. Марина тогда тоже стала носить такие волосы /.../

Кроме того, Марина считала себя необыкновенной, я себя — тоже. Мы и дружили. Например, в Коктебеле все, вся эта ватага, сестры Эфрон и другие, готовили, хозяйничали. Я тогда отказалась мыть посуду, Марина Цветаева сказала: «Есть те, которые должны мыть посуду, и есть те, которым нужно подавать и служить». Я это помню и считаю, что я была неправа. Я себе не нравлюсь такая, какой была тогда /.../

Я думаю, что у всякого человека, даже самого гениального, есть какая-то мелочность. Например, Марина почему-то восхищалась титулами, она и в князя Сергея Волконского из-за этого влюбилась. Так вот, когда я забеременела, а мой муж был князем, она меня спрашивала: «Что чувствует человек, у которого в животе князь?» /.../

Она мне рассказывала, что в детстве, в Германии, в одном очень приличном доме она делала пипи в пальму, чтобы пальма умерла. Так она выражала свой протест против хозяйки этого дома и ее благоустроенного мещанского быта /.../

Я Марине нравилась, хотя между нами романа не было, она считала меня умной, я тоже писала стихи, ей было со мной приятно, интересно. У нее часто были такие увлечения.

Познакомились мы в 1913 г., мне было 17 с половиной, она была года на два, на три старше меня, с ребенком.

Я тогда была дурой, газет не читала, Макс и Марина — тоже, они не интересовались политикой. Она читала стихи и влюблялась. Я к ней приходила в ее собственный дом, флигелек. Там был большой зал. Когда я у нее оставалась ночевать, она спала на полу в зале, с мужем на матрасе, а мне отдавала свою кровать /.../ Мы обменива-

лись стихами, болтали, смеялись /.../ До революции мы политикой не интересовались, нам было интересно жить. А быт был нормальный, была прислуга, был большой удобный дом, у нее был свой хороший дом, который Ася описала в своей статье [5]. А после революции стало ужасно, конечно, разорение, голод. Но богема у нее была всегда. Конечно, во время революции она страдала, но она была уверена в себе /.../

Мне кажется очень верным выражение Арагона — "mentir vrai" (лгать правдоподобно). Так вот, я это применяла в своих стихах, и она тоже. Например, когда женился Алексей Толстой, друг Макса, на сестре Нади Крандиевской, я была у них на балу, на масленицу в 13-м или 14-м году. Там я танцевала с Маринетти. Я об этом написала стихи, сделав героями Цветаеву и Пастернака, описала ее лицо, ее платье и т. д. На самом деле Марины Цветаевой на этом балу не было.

Говорили мы с Мариной по-русски, конечно, виделись часто. Потом она осталась в Москве, а я уехала в Феодосию, а когда вернулась в Москву, она через несколько месяцев уехала в Прагу. Думаю, что мы и переписывались, но сохранились ли письма Цветаевой, не знаю. Я раньше не берегла писем. Например, у меня были письма Волошина, хранились в коробке, а когда я как-то их хватилась, они исчезли, кто-то их у меня украл.

Вот коктебельские фотографии: у колодца Марина Цветаева с годовалой Алей, другие, групповые: Вера Эфрон, Лиля Эфрон, Сергей Эфрон, Марина Цветаева, Майя Кудашева, Володя Соколов, Макс, Египетская статуэтка, но Макс Волошин выдумал, что он привез ее из Египта, т. к. в Египте он никогда не был (Ч).

На мои вопросы о том, что Ариадна Сергеевна помнит о жизни родителей, когда они были молодоженами, до войны и революции, она достала из шкафа несколько толстых пачек с бумагами: это были собранные ею материалы и фотографии об отце, и она стала подробно излагать историю семьи Сергея Яковлевича Эфрона. Сначала мне было не совсем понятно, почему ей хотелось столь пространно об этом рассказывать.

Но впоследствии все прояснилось. Зная, что в будущем биография матери станет предметом углубленных исследований, Ариадна Сергеевна желала, чтобы история семьи ее отца тоже не была забыта. Но помимо этого естественного побуждения, Ариадна Сергеевна быстро поняла, что относительно политической деятельности Сергея Эфрона мои знания очень ограничены. Ей нужно было мне, и в моем лице будущим исследователям, дать такую картину семейного прошлого Сергея Яковлевича, чтобы он в ней предстал как «светлая личность» с незапятнанной репутацией. Ей было необходимо раз и навсегда «обелить» отца и показать, что, ввиду всего своего прошлого, истории своей семьи и по личным убеждениям, он не мог быть причастен к какому-либо злодеянию. Другие люди позднее говорили мне: «У Ариадны Сергеевны отец — это икона!»

В ходе своего рассказа Ариадна Сергеевна подробно комментировала фотографии, которые она мне показывала, и, хотя многое повторено в более сжатой форме в ее книге о матери, мне кажется не лишним ее спонтанный и живой рассказ привести целиком:

История семьи Сергея Яковлевича.

Со стороны отца его дед — еврей, принявший православие и женившийся на русской (ничего общего с семьей Брокгауза и Ефрона, авторами словаря). Дед мой, Яков Константинович, был многодетным, семья была бедная. Он был студентом Московского технического училища и, как и вся передовая молодежь того времени, был народовольцем и революционером. Он хорошо знал крестьянство и пролетариат и хорошо и конкретно понимал неправоту положения правящего меньшинства над рабствующим большинством. Он ходил на разные сходки и рассказывал, как однажды, на одной из таких сходок, появилась тоненькая красивая девушка в бальном платье и в красивой пелерине (которая у нас еще хранится в сундуке). Это и была Елизавета Дурново.

Родители матери были: Петр Аполлонович Дурново и жена его Елизавета. У них была одна единственная дочь, моя бабушка, Елизавета Петровна Дурново, мать Сергея Яковлевича. Вот фотография Петра Аполлоновича с женой — быстро состарившейся — и с красивой взрослой

дочерью. Есть еще две фотографии, на которых Елизавета Петровна одна. На одной она молодая, красивая, треугольное, довольно тонкое лицо, несмотря на крупные черты, красивые глаза. На второй она в длинном платье, с гладкой прической, очень красивая.

Это был знатный дворянский род, но, к поколению Петра Дурново, уже обедневший. Оставались два брата, красавцы: сам царь Николай определил их в свой военный полк. Доходов никаких не было. Жить военной жизнью было дорого, и Петра Аполлоновича определили смотреть в полку за полковой кассой. Это был для него верный заработок. Но оттуда под расписку все брали в долг. Однажды была назначена комиссия для ревизии кассы. Узнав о ревизии, Петр Аполлонович попытался вернуть все деньги, не смог это сделать и взял отпуск, чтобы ехать в Москву: он хотел через сваху найти себе богатую невесту и жениться. Елизавета была богатая и образованная купеческая дочь. Петр Аполлонович женился, схватил приданое и сунул его в кассу, но подал в отставку, так как, женившись на купеческой дочери, не мог оставаться в полку. Для него это было большое горе. Жену свою он не любил, а дочь, Елизавету Петровну, обожал. Но при нелюбимой жене он разбогател, получив наследство от умершего в то же время дядюшки. Это был верноподданный монархист, и в этой семье росла дочь Лиза.

Образ жизни был светский, они вращались в высшем обществе. Купили дом в районе Арбата, в Гагаринском переулке. Это был большой деревянный дом с огромным участком, была конюшня, бесконечные пристройки, дворня, многочисленная прислуга. Все это было в 60-е годы, и Елизавета Петровна видела контраст между богатым домом и нищенствующей дворней. Она все время проводила с прислугой и вникала в их трудовую жизнь. Отсюда ее неудовлетворенность правящим меньшинством и голодающим большинством. Отец об учении и слышать не хотел, она ходила на лекции с согласия матери, тайком от отца. Она сошлась со студентами с оппозиционными настроениями и узнала подпольные организации, ее отличил всеми любимый и чти-

мый Кропоткин, она стала народоволкой. На одной революционной сходке она и встретилась с Яковом Константиновичем, очень его полюбила за его рыцарскую любовь и подвижничество. Отец узнал о ее антимонархических убеждениях. Надо было выбирать между убеждениями и семьей. Тем временем над ней повисла угроза ареста, и она уехала в Швейцарию. К ней окольными путями пробрался Яков Константинович. Там, в Женеве, они повенчались и там родились их две первые дочери. Потом, когда они смогли, они вернулись в Россию, отец простил и отвел им флигель, в том же огромном доме, в Гагаринском переулке. Так и окончилось дело. Вот фотографии Елизаветы Петровны, матери Сергея Яковлевича, со старшими детьми, Анной, Елизаветой и Петром. А вот фотография Якова Константиновича, когда он, студентом, был под следствием. Светлые глаза, огромная лохматая борода: очень добрый и типичный русский интеллигент.

Денег не было, жилось трудно, родители не помогали, а на работу Яков Константинович никак не мог поступить из-за своих убеждений. Он работал каким-то страховым агентом, детей было много, а Елизавета Петровна, мать многодетного семейства, продолжала свою революционную деятельность. Муж ее, поглощенный денежными заботами, как-то от всего этого отошел. Всего детей было 9 человек: Анна, старшая, тоже стала революционеркой, Елизавета, Лиля, была любимая сестра Сергея Яковлевича, Петр был туберкулезный, он рано умер, Константин покончил с собой в 15 лет, Сергей, муж Марины Цветаевой, родился в 1893 г., Глеб умер 12 лет от порока сердца. Вера родилась после смерти Глеба /.../

Елизавета Петровна была человеком необычайным: кротка, но несгибаемая революционерка и народоволка. Тогда была такая женщина-провокаторша, Серебрякова, о ней впоследствии писал Луначарский. Серебрякову открыли только после революции, и Луначарский рассказывает о ее процессе, а также об аресте и пребывании в крепости Елизаветы Дурново.

Елизавета Петровна не любила Серебрякову, но доверяла ей, а Серебрякова раскрывала то од-

них, то других, и наконец Елизавету Петровну арестовали. Она уже была пожилой женщиной, это был ее второй арест, и в этот раз она сидела в Петропавловской крепости.

К этому времени родители Елизаветы Петровны умерли, и они с мужем унаследовали их дом и вещи, а дед решил построить дом для каждого из детей, с квартирами. Сергей Яковлевич тогда был мальчиком. Вот фотография Сергея, лет пяти. Он здесь очень «паинька-мальчик», огромные глаза, большие уши, худой, прилизанный, лицо напряженное. А вот еще фотография, на этот раз с братом и с дворником, оба очень серьезные, но довольные.

Теперь надо было выручать мать, Елизавету Петровну (а под порукой огромной суммы ее можно было выкупить). Иначе ей грозила каторга или смерть. Это было в 1903—1904 гг. Дед решил бабушку спасать, взял денег в долг, бабушку переправили в Париж с сыном Константином и внуком, а семья осталась в Москве, продали новый дом, чтобы отдать долг. Дед от всех этих бед заболел раком и был при смерти. Его тогда отвезли в Париж, и он умер на руках у жены, в 1908 г. (Вот фотография тетки Дурново — красавицы. Она не могла простить своей племяннице ее мезальянс и революционерство.) Деда похоронили в Париже, на кладбище Монпарнасс. Елизавета Петровна жила в бедной меблированной квартире, в нужде. Жизнь была трудная, а тут еще в 1909 г. умерла ее внучка. Петя был туберкулезным, а Константин, который был особенно близок с моим отцом, внезапно покончил с собой в пятнадцать лет. Бабушка не выдержала всего этого горя и тут же тоже покончила с собой.

Вот детские фотографии Сергея Яковлевича. На одной, в группе, ему лет 14, те же большие глаза, лицо немного болезненного и не очень веселого подростка. А во второй группе он уже в гимназической форме, в фуражке, здесь он на вид очень смешливый: тетки рассказывают, что он вечно смеялся, как колокольчик.

Сергей Яковлевич от матери унаследовал подвижничество, революционность духа и желание бороться за правду. Это была удивительная се-

мья, огромной щедрости души, способная быть счастливой и умевшая давать счастье другим, никогда не основывая своего счастья на несчастье кого-нибудь другого. (Вот фотография Глеба, умершего в 12 лет от порока сердца и дожившего до этого возраста силою и любовью матери, братьев и сестер. Дочь, Вера, родилась, когда вся семья еще была под ударом этой смерти, и она на всех этих фотографиях кажется грустной.)

Это были люди особого склада, бессребреники и романтики на огромной душевной высоте, которая многим была, видимо, даже непонятна.

В своей книге «Детство» (1912 г.) отец дает опоэтизированную и сказочную картину быта этого дворянского дома, на самом деле довольно обедневшего.

Это произведение, явно написанное под сильным впечатлением знакомства Сергея Яковлевича с Мариной, является, быть может, единственным косвенным свидетельством его о Марине Цветаевой и следом ее литературного влияния на мужа. Ввиду того, что эта книга теперь библиографическая редкость, я хочу привести несколько выписок, сделанных мною в Москве. Заглавие книги — «Детство», автор Сергей Эфрон, книгоиздат-во Оле Лукойе, Москва, 1912. Эпиграф взят из «Вечернего альбома» Марины Цветаевой: «Дети — это мира нежные загадки,/Только в них спасенье, только в них ответ!..» Первые три главы сильно напоминают стихи первых книг Цветаевой, по своим заглавиям, описанным событиям и тематике: гувернантка, дети, прогулки, игры в воображаемой пещере, детский сад, работа, чтобы вырыть в саду озеро, детские планы ночного бегства и пикника и т. д. Рассказ довольно бледный, диалоги передаются с излишним реализмом, чувствуется желание создать картину счастливого детства в московской дворянской среде той эпохи, но, несмотря на поэтическую обстановку, поэзия теряется в бытовых подробностях, притупляющих интерес.

В следующих шести главах, под заглавием «Волшебница» (с. 106—138), описывается приезд Мары, подруги сестры рассказчика, и дается более живой образ своенравной личности, явно напоминающей Марину Цветаеву. Мара — самоуверенная и веселая девушка; она не ест, не спит, с детьми ведет себя, как ребе-

нок или как фея, и говорит стихи из «Волшебного фонаря» («Пока огнями смеется бал»). Вот, например, одно из ее изречений: «Жизнь так скучна... что все время нужно представлять себе разные вещи. Впрочем, воображение — тоже жизнь» (с. 130—131). Когда Мара была маленькая, она получила музыкальное образование и в семь лет выступала в концерте. Она рассказывает детям про Ростана и про «Princesse lointaine» (Принцессу из дальних стран), про Наполеона и просит мальчиков за них молиться. Наконец она пишет детям прощальное письмо:

«Дорогие мальчики,

Вы сейчас спите и не знаете, как неблагодарно и неблагородно поступит с вами ваша Мара. Эти две ночи с вами дали мне больше, чем два года в обществе самых умных и утонченных людей. Чего я хочу от жизни? Безумия и волшебства.

С первого взгляда вы признали во мне сумасшедшую, вглядевшись попристальнее — волшебницу.

У меня нет дороги. Столько дорог в мире, столько золотых тропинок — как выбирать? У меня нет цели. Идти к чему-нибудь одному, хотя бы к славе, значит отрешиться от всего другого. А я хочу всего. До встречи с вами я бы сказала — у меня нет друзей. Но теперь они есть. Больше, чем друзья! Так, как я вас люблю, друзей не любят. У меня к вам обожание и жалость. Да, я жалею вас, маленькие волшебные мальчики, с вашими сказками о серебряных колодцах и златокудрых девочках, которые «по ночам не спят». Златокудрые девочки вырастают, и много ночей вам придется не спать из-за того, что вода в колодцах всегда только вода.

Сейчас шесть часов утра. Надо кончать. Я не простилась с вами, потому что слишком вас люблю.

Мара

P.S. Не забывайте каждый вечер молиться о маленьком Наполеоне» (с. 137—138).

Этим письмом и заканчивается книга «Детство» Сергея Эфрона, с единственным живым и ярким образом — Мары. Очевидно, такой представлялась в те го-

ды Марина своему молодому мужу; не исключено, что она «приложила руку» к этой части книги, такой портрет мог и ей понравиться.

Но возобновляю историю семьи и биографию Сергея Яковлевича в пересказе его дочери:

> Мама мне много рассказывала про свою мать, про Тарусу — многое из того, что она мне рассказывала, ею уже описано /.../
>
> Как вы помните, папа довольно рано осиротел, как и мама.
>
> После смерти своей матери отец заболел туберкулезом, и его отправили лечиться на кумыс. Вот он на фотографии с четырьмя-пятью больными, сидит один, в сторонке, очень скучает, очень красивый.
>
> К папе вообще все относились хорошо, он был обаятельный и общительный. В нем была та неустроенность, неумение нажить денег и устроить свои дела, из-за которой его некоторые считали чудаком. «Неустроенность» его шла от его благородства. Это была артистическая натура, у него были большие способности, он был человек тонкий, благородный. Физически он не был сильным, часто болел, но у него были рыцарские рефлексы /.../
>
> В семье все были скромны, и никто не выдвигал себя вперед, «не рисовался» /.../
>
> Сергей Яковлевич по болезни пропустил два года учения в гимназии и поэтому сдавал на аттестат зрелости, будучи уже женатым. Потом он поступил на первый курс, и с первого курса ушел на гражданскую войну /.../
>
> Он был веселый, любил общаться с молодежью, у него было чувство юмора, были, например, такие его стишки:
>
> Расскажите мне, Адалис,
> Как вы Брюсову отдались...
>
> О замужестве маме рассказывать было особенно нечего, так как я появилась очень быстро и жила уже с ними в этой молодой, бесшабашной и хорошей атмосфере.
>
> Из Трехпрудного, когда мама вышла замуж, она выехала в другой большой дом, где жили все

вместе: Туся Крандиевская, А. Толстой, сестры отца. Сначала они снимали дом все вместе, а потом разъехались. После этого, когда в 1913 г. умер дед, он оставил довольно большое наследство. Но обе его дочери получили меньше, чем старшие дети, потому что они получили только состояние деда Цветаева, а у старших было также наследство Иловайских. (Мама, очевидно, оставила за собой свою девичью фамилию, потому что она под этой фамилией начала печататься.)

Ася как-то сразу все наследство растратила, ездила в Италию и вообще швыряла деньгами. А мама с папой купили дом в Замоскворечье, в Малом Екатерининском переулке (Екатерининский переулок я нашла, а вот Малый Екатерининский невозможно было найти), но этот дом был непрактичный, слишком большой для маленькой семьи, нужно было много обслуживания, дворники, прислуга и т. д., и они тут же его перепродали.

Я родилась в родильном доме, но родители еще жили там, а потом они сняли квартиру в Борисоглебском переулке: оттуда папа и ушел воевать, а мы уехали за границу. Я очень хорошо помню эту квартиру. Я вообще хорошо помню свое детство, мною в детстве много занимались, показывали все, многому учили, поэтому я все так помню. Я помню даже, как я училась ходить, держась за большую собаку, у нас был большой пудель Джек.

Года три после моего рождения мама жила в Крыму, лето проводили в Коктебеле, а зиму в Ялте, года два, два с половиной.

Сергей Яковлевич сначала болел, а потом кончал гимназию. Он остался болезненным, а брат его, Петр, умер от туберкулеза, когда родители были молодоженами. В первую мировую войну папа хотел пойти добровольцем, но у него еще был туберкулез. Тогда он попал братом милосердия в санитарный поезд, сначала с сестрой, Верой, а потом один. Уже побывав вблизи от фронта, он хлопотал, чтобы пробраться к фронту, и все не выходило. Тогда он решил поступить в военное училище, чтобы уж нормально попасть на фронт. Он окончил это училище к началу революции, хотя одновременно учился в университете, на пер-

вом или даже на втором курсе, очевидно, вольнослушателем. Выпуск военного училища ускорили из-за революции, и он таким образом попал из юнкерского училища прямо в Белую армию. Ни о какой военной карьере он, конечно, не думал.

Когда Сергей Яковлевич ушел с белыми, это была та же семейная революционность. У мамы есть запись: «Быть с самого начала с большевиками мне помешала абсолютная уверенность в их победе». Отец всегда был с битым меньшинством, на этой высоте они с мамой и встретились.

Помня о том, что в момент своего замужества Марина Цветаева была дружна с племянницей Тургенева, Асей, и собиралась ехать в свадебное путешествие по ее стопам, я стала об этом расспрашивать Ариадну Сергеевну. Вот что она мне ответила:

Дружбы с Асей Тургеневой не было. Знакомство Марины с Асей не оставило никаких следов ни в творчестве, ни в последующей жизни, тогда как родство с Белым осталось навсегда.

(То же самое было и с Марией Башкирцевой: Марина ее очень любила и ценила, хотя это не было важной полосой ее творчества.) Отношения Аси Тургеневой и роль ее, поведение с Белым, вся эта антропософская каша очень маме не нравилась и очень ее отшибла. Это был сплошной декаданс. А мама была необычайно здоровым человеком. В Асе Тургеневой была темная сторона: это был человек без хребта. Точно так же, как и Сонечка Галлидей. Только Сонечка вылилась в творческую волну, а от привязанности к Асе Тургеневой ничего не осталось.

В виде иллюстрации к этой счастливой поре в жизни родителей Ариадна Сергеевна показывала мне много коктебельских фотографий, помню по их поводу два кратких ее замечания.

Относительно фотографии, где сняты Сергей Яковлевич и Марина Цветаева с гитарой, Ариадна Сергеевна пояснила, что Марина сама играла на гитаре, потому что в семье все были музыкальны. Была и другая фотография, где Марина Цветаева «в платье из файя, колоколом. Я это платье не любила, так как трудно было обнять мать в этих шуршащих складках».

Среди других знакомых М. Цветаевой того времени была еще Т. Ф. Скрябина. Ее дочь, Марина, в письме ко мне пишет, что помнит добрососедские отношения между матерью и Мариной в то время: обе женщины звонили друг другу, помогали доставать продукты, а когда Марина приходила, «особенно нравилась ее напевность в манере читать стихи».

В неизданных воспоминаниях Марии Гриневой-Кузнецовой молодожены Эфрон, появившиеся на праздничном вечере зимой 1912 г., описаны как «интересная пара», а Марина Цветаева — «волшебная девушка из 18-го столетия», в необычном и восхитительном платье, «с глазами волшебницы». Уже тогда юная Марина Цветаева читала свои стихи на вечерах:

> Нас сразу поразила ее манера читать стихи, совсем незнакомая, непохожая на то, как нас учили. Обаятельная, интимная, музыкальная, ритмическая ее манера читать пленила нас /.../ Мы поняли, что она имеет право на такой необычный наряд, потому что стихи ее необычны, читает она их необычно и сама она тоже совсем необычная! Совсем не похожа ни на кого!

Марию Гриневу-Кузнецову поразила также стремительность ее шага:

> Из-за угла Ржевского переулка выплыла тонкая, высокая женская фигура в чем-то длинном, черном и... неожиданно свернув на Малую Молчановку, шла как-то особенно, бесшумно, как бы едва касаясь тротуара. Шаг ее был так легок и так стремителен, что казалось — она очень спешит, но это ей совсем не трудно, так послушны ее легкие длинные ноги. Они несли ее, и им было так легко ее нести, она была почти невесома /.../ Я никогда не видела, чтобы кто-то шел так, словно ветер нес его /.../ Я первый раз в жизни видела такую походку — «перекати-поле» /.../
>
> Вечером к нам пришли Сережа с Мариной. (Разговор коснулся того, что чуть раньше Марина Цветаева проходила под окнами Марии Гриневой-Кузнецовой — В. Л.) «Марина! А я вас не узнала. Вы не шли. Вы летели!» — «Да. Я всегда хожу быстро. Терпеть не могу тащиться, я тогда сразу устаю», — сказала Марина.

Глава 3. ЮНОСТЬ (1915—1922)

Даты. Старая орфография. Мандельштам. Брюсов. Блок. Маяковский. Театр. «Повесть о Сонечке». Дом в Борисоглебском. С. Парнок. «Выходки М. Ц.» Внешность М. Ц. в 1917 г. Быт. Ирина. Дочери М. Ц. в Кунцеве. Цветаевские места в Москве. Политические взгляды Эфрона, его статья. Верность М. Ц. мужу и взгляды М. Ц. «Как надо писать о Цветаевой». А. С. Эфрон о воспоминаниях современников. И. Эренбург.

О знаменательном 1916 г. следует читать у самой Марины Цветаевой. Мне, во всяком случае, не удалось разыскать свидетельств о событиях этого года, тогда как последующий период был подробно описан дочерью Марины Цветаевой в книге воспоминаний.

Мне она давала лишь отрывочные ответы на вопросы, касающиеся увлечения Марины Цветаевой театром или вообще о ее литературном окружении.

Ариадна Сергеевна говорила, что все, что описано в прозе Цветаевой, точно:

> Она могла менять атмосферу или даты, но факты оставались /.../ Например, вечер, о котором она рассказывает в «Герое труда», очевидно, все-таки происходил в Москве в 1921 г. /.../ Вообще такие вечера бывали в то время очень часто. Это совсем заурядный факт. Поэты и писатели выступали постоянно, и в газетах об этом не писали.

И Ариадна Сергеевна дала мне следующие объяснения относительно дат по старому и новому стилю:

> Для датировки произведений надо исходить из точной даты введения нового стиля. В стихах и письмах она как будто оставила старый стиль приблизительно до 23-го года. Но реформа была произведена раньше, и все так делали — не привы-

кли сразу к новому стилю, а писали с двумя датами (точно как «старые» и «новые» деньги). Да и часы постоянно меняли: ставили то вперед, то назад, чушь была и путаница...

Также насчет старой орфографии:

> Старую орфографию Марина Цветаева очень любила и всегда писала по старой. Ей нравилось слово ДѢВО, даже с крестом над ятью. А слово «Дево» ей казалось плоским. Также и ХЛѢБЪ, ей казалось, что с «е» слово не звучит или звучит «хлэб». Разделительное ' (вместо ъ) ее возмущало. Она вообще придавала громадное значение интонационной выразительности и пунктуации. Когда она читала, она читала *смыслово́*, и все ее понимали отлично. Поэтому она и любила акцентировку старого правописания, которой пользовалась для большей дотошности. Новая орфография казалась ей беднее.

Среди знакомых и друзей Цветаевой того времени Ариадна Сергеевна вспоминала Мандельштама, знакомство с которым произошло летом 1915 г., «так, как оно описано в 'Истории одного посвящения'», и дальше пояснила:

> Очерк без названия, посвященный Мандельштаму, это черновой набросок о крымском периоде. В «Шуме времени» Мандельштам упоминает Коктебель, Макса Волошина и весь этот быт, но у него там неточные описания этого круга людей. Мама обиделась на его иронию или промахи и стала ему писать, что не следует над другими смеяться... Потом она раздумала и бросила, вещь эта, даже неожиданно, слишком была связана со злободневностью. Поэтому она и бросила ее и никогда не собиралась ее печатать. Вероятно, если бы это было возможно, она просто написала бы Мандельштаму об этом письмо /.../ Она критиковала неточность фактов, а потом бросила, потому что не хотела с Мандельштамом полемизировать... У нее есть некоторые такие наброски, которые она потом оставляла, потому что видела, что

вещь не удается или что она вовлечена в неподходящую для нее тему.

А относительно Брюсова Ариадна Сергеевна рассказала мне следующее:

> Встреча с Брюсовым произошла рано. А недавно всплыла книга — трехтомник Брюсова, из которого видно, что она его читала очень внимательно, на многих страницах пометки /.../ Уезжая в 1922 г., она все оставила, библиотеку свою тоже. И теперь изредка появляются книги с ее автографами. Теперь этого никто не делает, а она всегда надписывала книгу и ставила год покупки /.../ Но ранних материалов о ее жизни вообще не осталось. Нужно ориентироваться только на ее собственные воспоминания.

Вот ответ Ариадны Сергеевны на мой вопрос о Блоке:

> Она действительно ему передала в декабре 20-го года письмо и свои стихи, я это помню. Он на это письмо не ответил. Вообще это были воображаемые отношения. Это был тот романтизм XX века, корни которого находятся в германском романтизме и ее знании немецкой литературы. Это были футуристические формы романтизма, т.е. романтизма, обращенного в будущее.
>
> С Маяковским знакомство произошло зимой 1918 г. У нее есть в тетрадях разрозненные записи о Маяковском, и ее проза, и стихи, а больше ничего нет. О парижском выступлении, где Марина Цветаева переводила Маяковского на французский язык, я расспрашивала Марию Сергеевну Булгакову, но она ничего не помнит, хотя ходили они на этот вечер вместе и договаривались о встрече, и т.д. /.../ Марина Цветаева, первая из русских интеллигентов, оценила Маяковского, наперекор всей эмиграции. Из тех, которые были в кружке тогдашних хулиганов /.../ она его выделила и почуяла, хотя это было трудно. Этой любви к нему она всегда была верна.

Ариадна Сергеевна сама помнила Завадского («Красавец!»), одного из героев «Повести о Сонечке», и говорила, что Марина Цветаева начала увлекаться театром, познакомившись с актерами Третьей студии в октябре 1918 г.

> Были две причины, положившие основы всей ранней цветаевской драматургии. Во-первых, дружба с Павликом Антокольским, во-вторых, увлечение театром сестер отца.
>
> Елизавета Яковлевна была студийкой; отец мой, Сергей Яковлевич, играл, Петя Эфрон, старший брат отца, умерший от туберкулеза, когда они были молодоженами, и Вера Яковлевна тоже играли. До этого Марина театром не интересовалась, она только увлекалась Саррой Бернар, из-за Орленка. Так же, как она увлекалась Наполеоном и впоследствии ходила на все фильмы, немые и звуковые, хорошие и плохие, а потом говорила — похож или не похож.
>
> Драматический интерес в это революционное время определялся тем, что все авангардные театры тяготели к пьесам прошлого, углублению образов, психологизации, сказочности и символике (Метерлинк, Виккенс и т. д.). Маяковский уходил в революционный футуризм, а остальные театры — в какое-то прошлое и душевный уют.

Мне рассказывали также, что Сергей Яковлевич играл в Свободном театре Чаброва. Был тогда уже и театр Вахтангова, в Мансуровском переулке.

> Через сестер Сергея Яковлевича, Веру и Лилю Эфрон, Марина Цветаева в те годы уже подружилась с другими актрисами Камерного театра: Леной Позоевой и Марией Гриневой-Кузнецовой, которая вспоминает: «Когда у Марины рождались новые стихи, она обычно приходила читать их к нам первым. Мы все любили ее ритмическую манеру читать /.../» (Из неизданных воспоминаний).

Так как в 1971 г. вторая часть «Повести о Сонечке» еще оставалась неизданной, я спросила у Ариадны Сергеевны, меняется ли в ней образ героини, Сонечки.

Тогда Ариадна Сергеевна стала мне читать выдержки из этого рассказа, вставляя в чтение свои замечания. Они интересны, потому что у нее был свой подход к творчеству матери. Вещь ее интересовала, в первую очередь с точки зрения «информационной», тем более когда она сама была участницей описываемых событий.

Если Ариадна Сергеевна мимоходом и упоминала удачный штрих или юмор матери, то все же ее больше занимало содержание произведения как свидетельства или исторического документа.

> Вторая часть ведь называется «Володя». Главный герой ее Володя Алексеев, один из студийцев, пропавший в гражданскую войну. Это было увлечение Сонечки. А когда Сонечка исчезла, то остались отношения между Володей и Мариной, вокруг этой пустоты /.../
>
> Володя — настоящий рыцарь, романтической, почти сказочной чистоты. Сонечка уходит, физическая Сонечка идет на убыль, и ее образ утверждается вне ее присутствия. Устанавливается связь между «белизной» Володи и уже бесплотной Сонечкой.
>
> О ней прелестные черточки, письма. Но во второй части каким-то крылом уже проходит смерть. Володя должен погибнуть, это чувствуется. Сонечка-дитя уйдет из жизни. Описана не любовь Володи к Сонечке или Марине, а скорее отношения Цветаевой к Володе, на фоне портрета Сонечки. Это два человека и их бесплотные отношения, а Сонечка — как третье, невидимое и маленькое сказочное существо. Не могло же быть других отношений между чистым рыцарем Володей и чистой Мариной, муж которой был на фронте /.../

Теперь мне кажется, что в своем пересказе Ариадна Сергеевна, которая во время описанных выше событий была маленькой девочкой, передавала мне скорее свои личные чувства и отношение к героям рассказа, чем его реальное содержание: она Сонечку этого периода хорошо помнила.

Продолжение рассказа Ариадны Сергеевны:

Во второй части меньше бытовых и юмористических черт, чем в первой /.../ Сонечкино отсутствие ощущается как боль Марины: Цветаева и Володя сближены Сонечкой, но сближаются не иначе, как на огромной высоте.

Во второй свой приезд, пишет мама, Сонечка к Марине даже не зашла. Марина узнала о ее приезде через других /.../ На самом деле ее отсутствие и неприход — мнимость! Позднее Марина моему брату, Муру, описывала Сонечку с большим юмором.

С Сонечкой мама так и не встретилась, а мне в 1937 г. поручила ее разыскать, но тогда это было уже невозможно. Я нашла каких-то родственников ее, узнала, что она умерла в 1934 г. (год Челюскинцев), тридцати лет с небольшим. Умерла она от рака печени, но не страдала, умерла в одиночестве, так как муж ее тогда уже исчез. Перед смертью вспоминала Марину. Она так и осталась неустроенной, несчастной, а это был большой талант! Когда Марина обо всем этом от меня узнала, она испытала большое горе. Она тут же начала писать «Повесть о Сонечке».

Описанные знакомства происходили в период жизни в хорошо известном теперь доме в Борисоглебском переулке. В этом доме бывали разные тогдашние друзья Марины: Софья Парнок, сестры Герцык, князь Сергей Михайлович Волконский, Мария Гринева-Кузнецова, поэт Тихон Чурилин, вдова Скрябина с дочерьми и др. Хотя этот дом Марина Цветаева называла «Борисоглебской трущобой», другие свидетели рассказывают: «...квартира была восхитительная, площадью 290 кв. метров, были красивые ценные вещи, картины, ковры и т. д. Она сама выбрала себе тогда все, что любила /.../, очень дорогие, роскошные и модные вещи» (М). Одно из окон выходило на крышу пристройки, и таким образом из верхнего окна можно было выйти прямо на эту крышу. Во время революции в этот дом вселили много народу, одно время Марина Цветаева сама сдавала комнаты, а после ее отъезда там жило до сорока человек, в период «уплотнения».

Показывая мне тетрадочку в три листа со стихами «Чердачное», Ариадна Сергеевна описывала этот «чердачный быт»:

Квартира была двухэтажная. На первом этаже была мамина маленькая комната: стол (большой), кровать, шкаф, стул, была моя детская и гостиная. На втором этаже была кухня, ванная, две комнаты для гостей и прислуги и большая папина комната.

Одно время мы с мамой жили вдвоем наверху. Постепенно этот дом населялся. А пока он был пустой, летом жили наверху, а зимой перебирались вниз, ставили буржуйку в гостиной, так ею и отапливались и на ней готовили.

А наверху, в комнате папы, было только одно маленькое окно, выходящее на глухую стену, которая кончалась крышей пристройки. Отсюда и была полная иллюзия чердака. На кухне топили, готовили, а жили в этой комнате. Работала мама всегда в своей маленькой комнате, уютно заставленной, с большим письменным столом.

В 1919 г. у нас бывало очень много народу, актеры, друзья, приходила прелестная Сонечка. Она была очень обаятельна. Бывал и красавец Завадский, его сестра Вера с мамой дружила, мы с ней дружили и потом, во Франции.

Быт был трудный, жгли мебель, приходил и Володя (о нем Цветаева рассказывает во второй части «Повести о Сонечке»). Он единственный умел по-настоящему помочь, приносил еду. Что-то в доме устраивал, чинил. Остальные, бывало, придут, поедят и уйдут.

Летом мы очень много гуляли, ходили в гости. Часто ходили в зоологический сад, хотя тяжело было смотреть на голодающих зверей в клетках. Много ходили в дом-дворец искусств на улице Воровского, теперь там Союз писателей.

Как-то постепенно разошлись с Павликом Антокольским, он часто ходил во время наших театральных знакомств, а потом перестал ходить и даже удивился, когда узнал, что мы уезжаем. А ведь это была восторженная и прочная дружба. Он перестал ходить, театр как-то определился, и группа вся разошлась в разные стороны.

К моменту переезда Марины Цветаевой в Борисоглебский относится ее увлечение поэтом Софьей Пар-

нок и создание цикла «Подруга» (который в рукописи носит знаменательный подзаголовок «Ошибка»), включенного в «Юношеские стихи».

Об этих событиях в жизни Цветаевой мне рассказали следующее:

> У Крандиевской Марина познакомилась с Софьей Парнок. Это тема ее стихов «Подруга»... Мне кажется, что это было чисто физическое увлечение.
>
> Я думаю, когда Марина вышла замуж за Сережу Эфрона, это была обычная любовь между мужчиной и женщиной и, как вы знаете, в таких случаях женщина ничего не испытывает.
>
> А в любви между женщинами — другое. Женщины умеют дать другу все почувствовать: «жуир»... и с Софьей Парнок у Марины было чисто физическое увлечение. Но, как бывает, ввиду того, что это было только физическое, Марина потом Софью возненавидела...
>
> На самом деле Софья Парнок открыла Марине, что такое физическая любовь, отсюда ее охлаждение и ненависть потом.
>
> Марина женщин вообще любила, так же как и мужчин. А в любви к Софье Парнок — любовь Сафо. Остались только стихи. И один стих о Сафо:
>
> «Девочкой маленькой ты мне предстала неловкой...»
>
> А дальше я не помню.
>
> Но у нее было тяготение к женщинам: в Сарру Бернар в Париже была настоящая влюбленность. Когда Марина была в Париже, она ее поджидала у выхода из театра, бросала ей под ноги цветы и т. д. /.../
>
> У Марины вообще было тяготение к женщинам, еще с детства. И это не протест против среды, а личное влечение /.../ Она вообще часто и легко влюблялась, как и я. Мы часто увлекались разными людьми /.../ А влюблялась она за стихи, как в Пастернака, или за княжество, как в Волконского /.../
>
> Я сама не люблю женщин, они завистливые, она же была не такая, она не завидовала, она их любила. У Софьи Парнок все время были истории

с Сонечкой Галлидей, которая очень страдала, когда Софья Парнок ее бросила /.../ О своих романах Марина не рассказывала. Она, конечно, была влюблена в Волконского, но романа не было /.../ (роман — это значит взаимная влюбленность, даже если нет физической близости) /.../

Мы тогда были все же очень целомудренны: я помню, когда была впервые влюблена /.../ он положил руку в мою муфту, я руку отдернула — это казалось невозможно дерзким, как если бы он меня поцеловал /.../

Это Ася могла со всеми спать, и с мужчинами, и с женщинами, без любви. Марина была не такая, когда она не любила, она не шла на физическую близость.

Конечно, у нее были романы. И много. И реальные, и нет. А Сереже это, естественно, было тяжело. Было еще и то, что он повсюду был «муж Марины Цветаевой», это тоже неприятно /.../

Меня Сергей Яковлевич не интересовал, хотя был красивый, молодой... Марина его любила, конечно, но когда его не было, влюблялась в других /.../

Первые ее стихи я помню во время войны, когда Сережа был вольноопределяющимся /.../ Марина была ярая антибольшевичка, она писала стихи о голубых глазах царя и красных не признавала совершенно /.../ она восхищалась царем, потому что он — царь (Ч).

Свидетели ранней молодости поэта и ее друзей вспоминают о разных ее выходках, особенно после того, как, оказавшись отрезанной от мужа и в полной неизвестности о его судьбе, она осталась одна в голодной и холодной Москве в годы гражданской войны.

Анастасия Ивановна рассказывала мне:

Был некто А. С. Балагин — это до отъезда еще. Я тогда была в Крыму и с ней не переписывалась, я сидела в Судаке и голодала. Примерно в 19-м или 20-м году она меня с ним познакомила. Этот Балагин был авантюристом, он жил во всех городах, до 20-го или 21-го в Ташкенте. Он был евреем, и в Ташкенте его крестил великий князь!

Ну, Марина тут, как всегда, была в своем амплуа... сущая безнравственность... я совершенно против этого!

Другой человек вспоминает:

Марина Цветаева действительно была способна на всякие выходки. Например, к ней поставили чью-то мебель, она ее, не стесняясь, продала, потом были какие-то невероятные кражи!.. У них стоял бидон из-под молока в виде ночного горшка; Ася спрашивает: «За молоко платить или не платить?» И Марина отвечает: «Конечно, не платить!» (Р.)

В одном неопубликованном рассказе есть такой портрет Марины Цветаевой 1917 г.:

Марина Цветаева казалась мне тогда пленительной, особенной. Русая, стриженая, с челкой и кудрявым затылком, невысокая, с упругим телом, с открытыми шеей и руками. Одета без украшений, платье — подпоясанная рубашка. Голова — юноши Возрождения, особенно в профиль, яркие длинные губы. Очень близорука, но и это ей шло. Взгляд «уплывающий», видящий сквозь обычное. Походка — отталкивание от земли. Речь — бормотанье и выстрелы. Трудно было проложить к ней путь! Превосходящая поэтической зрелостью, но не слишком старая для старшинства, да и девицами не интересуется.

Одна знакомая Ариадны Сергеевны, ее возраста, вспоминает:

В 1920 г. мы приехали из деревни в Москву. Папа был знаком с Цветаевой. Он очень ей помогал, носил ей дрова, топил печки. Обстановка у них была кошмарная. Цветаева жила тогда одна с девочкой. Она с ней обращалась жестоко. Аля была в ужасном виде. Она ее сажала на стул, связывала сзади руки и пихала в рот пшенную кашу. Аля не могла глотать, держала все во рту, а потом выплевывала все под кровать. И под кроватью были крысы (Ь).

Этот рассказ, очевидно, относится уже ко времени, когда, потеряв второго ребенка, Марина Цветаева всеми силами старалась откормить старшую дочь, о чем та потом не раз вспоминала с некоторым отвращением. Есть и в воспоминаниях Марии Гриневой-Кузнецовой некоторые штрихи, показывающие, как сурова была молодая Марина к дочери и в какой строгости ее воспитывала. Но автор этого неизданного рассказа подчеркивает, что Марина Цветаева постоянно старалась кого-нибудь накормить, несмотря на трудности того времени, на голод и собственное неумение хозяйничать.

Мария Гринева-Кузнецова с юмором вспоминает про ужин, состоявший исключительно из клюквенного киселя, про подгоревшие блины, а также про то, как Алина кукла попала в борщ; этот последний инцидент сама Ариадна Сергеевна передала в своей книге о матери, но в несколько иных тонах.

Продолжение рассказа знакомой Ариадны Сергеевны:

> Затем, в 1921 г., мы взяли Алю к себе на лето, в наше бывшее имение. Она была удивительная — настоящий вундеркинд! Она все время говорила стихами. Я была ошеломлена. По утрам она рассказывала, какие ей снились удивительные сны. Тогда папа ей сказал, что в деревне людям снятся поля и коровы, затем ей тоже стали сниться поля и коровы...
>
> Когда мы вернулись в Москву, она в школу не ходила. Я тоже три месяца не ходила, и нам взяли учителя, чтоб учиться вместе. Учились я, Аля и Миша Волькенштейн. Мы учились все время вместе, Миша — блестяще по математике, я — во всем средне, а Аля была действительно гениальная, она по русскому языку сразу все понимала, все читала, все знала! (Ь)

Как мне говорила Ариадна Сергеевна, Сонечка, приходившая к Марине Цветаевой в страшные годы лишений во время гражданской войны, особенно любила вторую дочку, Ирину, прожившую, как известно, недолго (13.4.1917 — 15.2.1920). В архиве сохранилось несколько фотографий обеих девочек. Из рассказов Ариадны Сергеевны было ясно, что Марина Цветаева

относилась к Ирине гораздо равнодушнее, чем к Але, ставшей тогда ее поддержкой и опорой, не уделяла ей особого внимания.

Позднее, когда Цветаева родила сына, она вновь испытала радость материнства. Тогда, будучи уже подростком, Аля наверняка ревновала его к матери, но со мной она, разумеется, об этом не говорила. Вот ее рассказ о сестре Ирине:

> Она умерла рано, в два с половиной года. Конечно, у Марины не было такого прилива материнских чувств, как ко мне. Творчество ее уже было сильнее. С Ириной гораздо меньше возились, чем со мной, она была ребенком обыкновенным.
>
> Сначала вокруг нее были няня и кормилица — мама сама не кормила. Я тогда с ней мало возилась, но мне все же интересно было новое существо. Ревности у меня не было никакой, просто интерес к ребенку, который не умел играть и жить, как я.
>
> Уже тогда я маме очень помогала по хозяйству и во всем. Когда девочка подросла, я ее стала нянчить, плохо конечно. Девочка была милая, кудрявая, лобастенькая. Сонечка была с ней очень нежна, она ее очень любила. Это была прелестная девочка, вовсе не вундеркинд.

На фотографии двух девочек вместе примечательны светлые глаза Али, как у отца, а у Ирины глаза темные. На другой фотографии обе девочки стоят — у Ирины, хорошенькой, взгляд грустный, скорбный.

> Потом наступило такое трудное время, что была просто тревога за нее — человеческая тревога, вопрос был, как ее кормить. Она была очень слабенькая, истощенная. Это было в Борисоглебском переулке. А стихи у мамы могли быть только о потере. Пока она жила... состояние ужаса — как ее спасти?
>
> Наступила очень голодная и холодная зима (19/20 год?). Мама нас все время держала при себе. У нее было чувство, что она сама сможет нас как-нибудь прокормить. И были такие детские учреждения, где выдавали еду, супы. Впервые открылись детские дома — учреждение американ-

ской помощи голодающей России (АРА). (Здесь маленькая неточность в хронологии: договор о помощи России, о котором говорит А. С., был подписан между советским правительством и американским комитетом помощи только в 1921 г.— В. Л.) Целый комитет их снабжал продуктами. Все знакомые убеждали маму нас отдать в один из них, она упиралась, страшно не хотела. И вот открылся один такой дом, в Кунцеве, под Москвой, очень хороший. Но директор его оказался преступником. Вместо того чтобы раздавать продукты детям, он на них наживался. Его потом расстреляли, но мама сказала: «Это не воскресит ни одного умершего ребенка!» Наконец мама согласилась и отвезла нас в Кунцево, со слезами. Меня она убеждала, что это надо, и я согласилась. Она мне написала напутственное письмо — письмо на всю жизнь. Мне тогда было семь лет. В нем были такие слова: «Ты спишь рядом, ты маленькая, а потом пройдет жизнь и ты встанешь во весь свой рост!» И еще: «Спасибо тебе за всю твою детскую помощь. Только два человека меня по-настоящему любили — Сережа и ты» (ноябрь 1919, Але 7 лет).

Мы поехали в Кунцево, это было барское имение и в нем страшная голодуха (мы считали зерна чечевицы, которая попадала в суп). Связи почтовой с Москвой никакой. Когда мама наконец прорвалась к нам и нас навестила, я была при смерти. У меня, кроме истощения, были всякие болезни, тиф и проч. Мама меня схватила, завернула в чужой тулуп и увезла. А Ирина тогда была на ногах, все болезни были на мне. И мама решила меня спасать. Помню, с каким трудом мы пробирались в Москву. По дороге я лежала в каком-то красноармейском госпитале. Когда мне стало лучше, мама взяла меня в Москву и стала выхаживать. Одна. Ей было страшно трудно. Близких не было. Валерия была где-то в Москве, но не помогала. Папины сестры помогали, но они сами были очень бедные. Мама работала («Мои службы») и меня лечила. В Кунцево она проехать не могла, а когда она наконец туда пробралась, то Ирину уже похоронили. Травма была огромная. Отсюда и ее отношение к революции, к отъезду,

ко всему. Я сама долго по Ирине тосковала и плакала. А когда мне было уже 12 лет, я поняла, что мама могла тогда накормить, одеть и спасти только одного ребенка, не двоих. И ей пришлось сделать этот ужасный выбор. Конечно, я потом сама себя упрекала в смерти Ирины.

В другом рассказе, относящемся к этому времени, тоже говорится, что Цветаевой пришлось выбирать между Алей и Ириной. Алю Марина больше любила, но впоследствии, во Франции, когда мать с дочерью стали ссориться, она часто горько упрекала Алю в смерти девочки (М).

Вскоре после этого стали раздавать академические пайки — очень хорошие. Будь это чуть раньше, Ирину бы спасли. Мама все в меня пихала, кормила меня до упаду, так что я и на Запад приехала не вспухшая от голода, а просто толстая.

Я думаю, что если бы не смерть Ирины, мама задумалась бы перед тем, как уезжать.

Близкий к семье человек мне говорил: «Елизавета Яковлевна видела, как пренебрежительно Марина относилась к Ирине. Ведь это же был ребенок, а ела она из помоек. Поэтому Елизавета Яковлевна и просила ей отдать Ирину» (С).

Итак, вскоре после смерти Ирины наступает время прощанья Марины Цветаевой с Москвой и с Россией. Ариадна Сергеевна с удовольствием и грустью описывала мне «Цветаевские места». Как известно, от Собачьей площадки и Старого Арбата теперь ничего не осталось, но Борисоглебский переулок существует. Сохранились также фотографии двух знаменитых тополей перед домом.

Чтобы найти Трехпрудный,

...надо идти от площади Пушкина к площади Маяковского по улице Горького. В переулочке Садовских есть Театр юного зрителя и внизу переулочек, который выходит на Трехпрудный.

Это старый московский переулочек, за углом налево несколько тополей и стоит дом, которому лет 30. На этом месте стоял цветаевский домик,

и остались тополя. Там был сад и стоял маленький домик, вероятно, с деревянным верхом, отштукатуренным, словно это был камень, много лестниц, комнаты на разных уровнях, разноплановые; ступеньки, медные вьюшки в печах, медные особые ручки на дверях и окнах и т. д.

На улице Горького, недалеко от метро Маяковская, есть переулочек — улица Медведева. Там старый дом Иловайского («Дом у старого Пимена»). Это вообще облик старого московского переулка.

А Румянцевский музей был филиалом Ленинской библиотеки. Старое красивое здание с колоннами. Это была старая коллекция Румянцева 18-го века — собрание картин, слепков, вещей. Во дворе стояли две толстые каменные бабы, которые потом куда-то исчезли. Дед был его директором, а потом этот музей стал частью комплекса Ленинской библиотеки /.../

От Борисоглебского переулка остался только маленький кусочек. Если от метро Арбат обогнуть ресторан Прага и выйти на проспект Калинина, то на углу есть магазин «Малахитовая шкатулка», за ним, за углом, крошечный кусочек переулка. Дом, двухэтажный, стоит рядом с большим. Он выглядит убогим, старым. Тут и кончается переулок.

А во дворике (бывшем) и находится крыша «чердачного». Там три или четыре окна, глухая стена и кусок крыши — ниже, так что из верхнего окна можно было просто выйти на крышу.

Напротив дома еще стоит дерево какое-то («Два дерева хотят друг к другу»).

В своей книге о матери Ариадна Сергеевна подробно описывает отъезд Марины Цветаевой из Москвы в 1922 г. А Мария Гринева-Кузнецова рисует картину разоренного цветаевского дома:

Мы сидели в бывшей Алиной детской, где был чудовищный беспорядок. «Пойдемте ко мне»,— позвала меня Марина. Когда она открыла дверь в столовую, я оторопела. Ненавистный ей быт выглядел как после пожара. Книжные шкафы пусты и раскрыты настежь. Стулья свалены в угол. Пола

не видно, он весь завален кипами книг, нотами, рукописями, огромным количеством фотографий родных и друзей в сломанных рамках с разбитыми вдребезги стеклами, снятыми со стен и брошенными на пол картинами. Шагов наших не слышно. Кажется, что идешь по трясине, ноги утопают в мякоти, под ними хрустят стекла.

— Был дом, а теперь в нем все вверх дном,— говорю я и тут же спотыкаюсь, зацепив ногой за что-то твердое. Под ногой у меня чья-то большая фотография. Я хочу поднять ее.

— Не надо! Не надо поднимать! — кричит Марина.— Все в печку! Завтра с утра все будем жечь в камине.

На столе аккуратно сложены разные вещи. Их мало. Это, должно быть, то, что Марина хочет взять с собой.

Аля ходит притихшая. Изредка она беспокойно смотрит на мать. (Из неизданных воспоминаний.)

Ариадна Сергеевна была твердо убеждена, что трагедия в судьбе Марины Цветаевой связана исключительно с эмиграцией. Не было смысла специально расспрашивать ее об отношении Цветаевой к революции, так как я знала, какого она будет держаться мнения. Она часто повторяла мне, и не только мне, что Цветаева совершила первый роковой шаг вслед за мужем в 1922 году, когда уехала из России. А в беседах с другими она прибавляла, что вторым роковым шагом, тоже вслед за мужем, было ее возвращение на родину в 1939 г. Но в своем стремлении очистить память Сергея Яковлевича она объясняла его путь и его взгляды следующим образом:

С гонимой армией он прошел всю Россию, увидел красных и понял, что, пойдя с белыми, был неправ, но не мог же он бросить Белую армию, хотя совесть его уже заголосила, та же совесть, что у мамы через «Лебединый стан», «Перекоп» к исторической концепции «Поэмы о царской семье».

Отец шел с армией, уже разочаровавшись, а в Праге уже был на левом фланге, в борьбе за Россию.

3—1244

Мама была больше под обаянием «Лебединого стана», чем отец, но не верить ему она не могла. Слишком он был правдив и честен.

(Забегая немного вперед, я должна здесь передать пояснения, которые давала мне Ариадна Сергеевна по поводу отношения ее родителей к революции.)

В Праге отец начал редактировать на гроши чешской стипендии журнал «Своими путями», за который его сразу начали ругать, считали, что у него странное отношение к Советскому Союзу; в то время все думали, что все это временно и что скоро из России советы вышибут. Он тогда написал очень смелую статью о Добровольчестве, и по тем временам очень неожиданную.

Статья Сергея Яковлевича «О Добровольчестве» — очень ранняя, 1923 г. Напечатана она была в Париже в 1924 г.

Это очень смелая статья. Процесс пересматривания начался очень рано. Поэтому не то важно, кто, когда и как вернулся, а что не было прямолинейности за и против. Была в начале белизна Сергея Яковлевича в белогвардействе, чистота и романтизм.

Отсюда пошел уход от «Лебединого стана» к отзвукам революции. Большая стройность взглядов. Все идет в развитии, от корней, с ответвлениями.

У Сергея Яковлевича и Марины были очень разные души, но они сливались в благородном романтизме идеализма и собственной нищеты, которую они несли в чистоте.

Ариадна Сергеевна явно думала, что мне трудно будет разыскать эту статью, но ей хотелось, чтобы я с ней ознакомилась. Поэтому она мне вслух читала рукописную копию в 8—10 страниц, умышленно давая мне время делать выписки и даже диктуя мне из нее отдельные фразы, выражения или значительные места.

Статья начинается с описания житейско-бытового контекста Добровольчества. Далее автор противопоставляет героев-подвижников, «Георгиев», погибших за доброе дело, за идеал Белого движения,— «Жоржикам», то есть душегубам и политиканам. Глав-

ную причину неудачи добровольцев он видит в их отстраненности от народа, а главная их задача теперь — после разгрома — избавиться от гордыни и, во избежание прежних ошибок, повернуться к народу. Статья кончается призывом: «С народом, за родину!»

Ариадна Сергеевна считала, что в этой статье полностью отражены мысли ее отца о России и революции и что в ней начертаны все его последующие поступки: вся его деятельность вписывалась в одну, единую позицию, имевшую одно лишь объяснение — его глубокую привязанность и верность родине.

Что касается позиции Марины Цветаевой, Ариадна Сергеевна по-своему описывала мне путь, по которому шла ее мать, создавая три поэмы, относящиеся к теме России в ее творчестве.

Кроме того, учитывая следы многочисленных увлечений поэта, заметные в стихах того времени, Ариадна Сергеевна одновременно защищала точку зрения, согласно которой Марина Цветаева была своему мужу в те годы абсолютно верна. Именно эта верность предопределила ее дальнейшую судьбу, и та же верность находила свой отклик в творчестве на «политические темы». На этом убеждении, четко мне высказанном, Ариадна Сергеевна и строила свой «Памятник Цветаевой»: ей было важно, чтобы я именно так понимала связь биографии поэта с ее творчеством:

> Присущий Цветаевой романтизм выражается в ее отношениях с людьми. Это всегда отношения воображаемые, в разлуке, в разрыве, в письмах. При ее мужском таланте и благородстве, при требовательности к людям, отношения были непрочные, а уровень адресатов часто не на высоте. А «бедняжек» она не любила и поэтому часто разочаровывалась.
>
> Муж ее был единственным человеком, кто был ей равен по уровню духовности и благородства. Она сама была ему верна огромной духовной верностью своей, несмотря на все свои увлечения и воображаемые отношения. Она ведь за ним уехала на Белом коне за границу, за ним же и вернулась на Красном коне.
>
> Так в творчестве ее выразились эти три этапа, с основной темой верности присяге, от «Лебединого стана» через «Перекоп» к третьему этапу,

уже исторической концепции в «Поэме о царской семье». И в сборник 40-го года она включила свое стихотворение о любви к мужу: «Писала я на аспидной доске...» Эта верность определяла и ее эмигрантскую судьбу: «Лебединый стан» она не издала, в «Возрождении» не печаталась, поэма ее про Егорушку и «Перекоп» не окончены. «Егорушка» ей не давался, так как он становился белым героем-победителем красного змея, этого она тоже не хотела — не этот образ она хотела создать, и поэтому бросила писать поэму.

Возвращаясь в другой раз к поэме «Егорушка», Ариадна Сергеевна объяснила:

По тексту русского Жития святого Егория Марина Цветаева составила план поэмы. Начала она ее писать в России перед отъездом. В тетради у нее было несколько глав. Там было построено, как круги рая (у Данте круги ада), но повествование сказочное: детство Егория Храброго, его первый подвиг, как он спасал царевну, его второй подвиг...

Как и во всех ее темах по фольклору, она шла от Георгия Победоносца, европейского рыцаря, к Егорию русскому, Егорию Храброму — покровителю воров, и стад, и пастухов, и волков.

Потом она стала в этих противоречиях спотыкаться. Ведь св. Георгий это герб Москвы. Герой ее становился символом Белой армии. Тогда он повис между этими двумя образами — фольклорным и политическим.

Вернулась она к поэме на Западе. Замысел был четкий, уже по главам, появились аллегории, борьба добра и зла — апокалиптический момент.

Но она закончила три главы и оставила вообще эту поэму, перешла к чистым страстям и к более человеческой трагедийности.

Возвращаясь к трем поэмам, Ариадна Сергеевна дала мне дополнительные пояснения:

Марина Цветаева не хотела печатать «Лебединый стан»! Почему? Она считала, что это должно

появиться в России, где все это уже вошло в объективизированную историю. Как и «Перекоп».

«Поэму о царской семье» она писала в середине 30-х годов. Она хотела издать ее только в России, так как только там была историческая объективизация. Николая Второго она представила мягким человеком, хорошим семьянином, неуместным, а в эмиграции его трактовали как великомученика.

В ее поэмах объективизация истории идет от «Лебединого стана» к «Поэме о царской семье». Распутин у нее вышел странный, сказочный, близкий к образу Вожатого.

Надо мне вспомнить и записать все отрывки этой поэмы, которую я знаю наизусть.

Не знаю, исполнила ли Ариадна Сергеевна свое намерение, как известно, «Поэма о царской семье» до сих пор остается не разысканной.

Анализ этой поэмы, данный М. Л. Слонимом, был довольно близок к точке зрения Ариадны Сергеевны, хотя речь шла не о печатании на Западе или в России, а о самом смысле поэмы. Разговор как-то зашел о так называемой «двойственности» Цветаевой:

Никакой двойственности не было. У нее была некоторая любовь ко всему, что в поэзии «flashy» (сверкает), к некоторым поэтам, ко всему, что приключение, жертва, страдание, ее привлекали необычность, размах. Например, меняющиеся увлечения — от Гельдерлина до Николая Второго.

Почему она стала писать о Николае Втором? Не из монархизма, а потому что он гибнет. А она всегда на стороне побежденных, они окружены в ее глазах романтическим ореолом.

А с другой стороны — Гете. Это не двойственность, т. к. романтизм — не последнее слово. В ее поэзии есть полнокровие и гармония.

Яро защищая политическую честность и целомудрие обоих своих родителей, Ариадна Сергеевна постоянно настаивала на том, что необходимо писать о Цветаевой вне всякой политики:

Писать о ней надо, не политизируя влево здесь

> /.../ и вправо там. Здесь одно, а там ведь нет никаких оправданий толкать в правую сторону /.../
>
> Статьи о Цветаевой обычно поверхностны и не проникают вглубь /.../, это вульгаризаторские трактовки, либо от незнания, либо чтобы протолкнуть публикацию. Обычная ругательная /.../ схема «не поняла и не приняла революцию» и т. д.— полевее здесь, поправее на Западе — и то, и другое неправильно. Там нельзя никак пихать вправо, там нет здешних оглядок. О стихах надо писать вне политики. Но как бы плохо у нас ни писали, все же такие вещи, как наглая книга Карлинского, здесь невозможны.
>
> Ужас текущего дня, соответствие нынешнему требованию... А Цветаева когда-нибудь попадет в нужную колею литературоведения. Она просто впереди. И рамки, ограничивающие ее, обречены на провал.

Вместе с тем, позиция самой Ариадны Сергеевны, конечно, тоже была обусловлена и эпохой, и личными обстоятельствами: например, критикуя издание переписки Цветаевой с Тесковой, она сказала следующее:

> Умолчания в переписке очень неудачны: сказано слишком много и — недостаточно.
>
> Хотя лучше умолчать, чем лишиться *текста*, лучше его пропихнуть с пропусками у нас. Все равно, рано или поздно, все будет опубликовано.

Как видно, Ариадна Сергеевна вообще весьма критически относилась ко всему, что в то время писалось и печаталось о Цветаевой. По поводу воспоминаний семьи она говорила: «У меня очень тяжелое наследство, ибо сражаться с близкими за мать очень трудно». Это ревностное отношение легко объяснить. Положив всю свою жизнь и силы на собирание, сохранение и издание творчества матери, Ариадна Сергеевна Эфрон считала, что только она понимала ее «до конца» и могла написать о ней так, чтобы в литературу и историю вошел тот образ Марины Цветаевой, который она считала подлинным. Поэтому ничье другое свидетельство не могло ее по-настоящему удовлетворить. Она приводила ряд ошибок в известных ей публикациях о Цветаевой, например:

> О книге Берберовой: «Цветаева не могла быть на похоронах Ходасевича, так как тогда ее уже не было в Париже».
>
> О воспоминаниях Извольской: «Много односторонности и неправильностей в датировке».
>
> О книге Карлинского, где, как она считала, много смещений и ошибок: «Воспоминания, на которые он опирался, все западные и все напутанные. Он писал со слов цветаевских современников, путавших и искажавших многое».

Но критиковала она не только западные публикации:

> У нас в Советском Союзе очень много пишут о Цветаевой. В основном это диссертации. Их целый ряд, но не хватает материалов, времени. Работы убогие, поверхностные, ошибок много в оценках, в домыслах и т. д. /.../
>
> Так что надо очень быть осторожным с памятью людей, которые иногда умышленно, а иногда просто по забывчивости выдумывают или смещают /.../ Да и вообще память современников не верна... кроме того, есть политические искажения, а к Цветаевой нужно подходить без всякой политики.

Единственный человек, свидетельство которого Ариадна Сергеевна как будто не оспаривает, это И. Эренбург, может быть потому, что он первый заговорил о Цветаевой в 1956 г. О нем Ариадна Сергеевна подробно рассказывает в своей книге, поэтому я здесь приведу только несколько кратких ее замечаний:

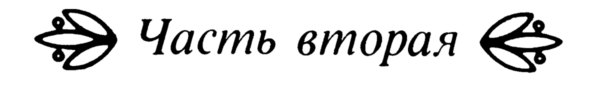
> В воспоминаниях Эренбурга все очень достоверно. Я помню, как он у нас бывал. Он-то и организовал встречу мамы с отцом и положил первый камень ее эмиграции. Он очень ей помог. Он, конечно, «слушал музыку революции», как рекомендовал Блок. Когда мы приехали ранней весной 1922 г., мы приехали прямо к нему, в тот семейный пансион, где он жил, в Берлине. Помню атмосферу вольной богемы того времени. Хотя мама не принадлежала к ней, но касалась ее. Там я помню Есенина и Белого. С папой впоследствии

Эренбург видался чаще, чем с мамой, но тоже редко.

После Берлина никаких встреч, связей и собратства не было. Он бывал в Париже, ездил по Европе, но они с Цветаевой пошли совсем разными путями. Он был публицистом, политическим деятелем и не очень глубоким человеком /.../

Но он много сделал для ее издания тут. Он, может быть, не понимал ее, но очень сочувствовал ее судьбе. Ведь он же в 1956 г. написал вступление к ее книге. Книга не вышла, а его предисловие вышло в «Литературной Москве». Не вышла она из-за разных писательских распрей, в которых хотели обрушиться на него, а повредили Цветаевой.

И постоянно в критике, в рассказах и воспоминаниях Ариадны Сергеевны повторялось горькое восклицание: «поздно!»... «поздно все это... поздно наступила цветаевская мода!», поздно пришла к ней слава, поздно настал «черед» ее стихам.



ЭМИГРАЦИЯ

Глава 4. БЕРЛИН. ЧЕХОСЛОВАКИЯ (1922—1925)

Условия жизни. Среда. Друзья. Литературная жизнь. Проза о Брюсове. Чтение стихов. М.Л. Слоним. Личная драма М.Ц. Письма к К.Б. Отзывы о К.Б. Письма К.Б. о М.Ц. Моя встреча с К.Б. Первая встреча К.Б. с М.Ц. Любовь. Поэзия. К.Б. об отношениях М.Ц. с мужем. Неустроенность. Политические взгляды К.Б. и С.Я. Разрыв. Дальнейшая судьба К.Б. и М.Ц. после разрыва. К.Б. о прошлом. Друзья об отношениях М.Ц. и К.Б. Портрет М.Ц. 1926 г. М.С. Булгакова о М.Ц. Письма о свадьбе К.Б. Отец Мура. К.Б. о Муре. М.Ц. о рождении Мура. Мур в детстве. Слоним о любви М.Ц. и К.Б. В. Андреева о Чехии.

Свидетельства, собранные мною об эмигрантском периоде жизни Марины Цветаевой, более разнородны.

Во-первых, мне удалось разыскать только очень немногих людей, хорошо знавших поэта и бывших в контакте с ней в продолжение многих лет (об этом точнее см. в Предисловии). Оказавшись в привилегированном положении постоянного и длительного общения с Ариадной Сергеевной, я систематически записывала ее длинный и почти последовательный рассказ. Он, вероятно, и послужил одной из основ опубликованной ею затем книги, так как в ней есть примеры дословных совпадений с беседами со мной в 1971 г. Однако Ариадна Сергеевна жаловалась на многочисленность материалов, например, в одном письме к медонской знакомой она в 1965 г. писала: «Я после опубликованного в «Литературной газете» обращения получила для архива порядочное количество воспоминаний от самых разных и совершенно неожиданных людей, знавших маму в ранние или последние годы,— но пробел большой в средних годах». Эта жалоба оправданна, если учитывать, что об обращении было известно только в России. На мое подобное же обращение на Западе откликов, увы, не было вовсе.

Во-вторых, чтобы избежать повторений, я не расспрашивала поэтов или литераторов, уже опубликовавших свои воспоминания о Цветаевой, за исключением нескольких лиц, к которым ездила за дополнительными сведениями. А другие, очевидно, рассказывать или писать не хотели.

В-третьих, как мне стало ясно впоследствии, многие люди, оказавшиеся в окружении Цветаевой на Западе, совсем не знали ее творчества в России, а узнали ее как поэта только позднее, в Праге или в Париже.

Отсюда некоторая раздробленность воспоминаний. Разумеется, пересказ дается здесь не в том порядке, в каком я записывала беседы, а представлен, как и выше, в соответствии с хронологией событий в жизни Цветаевой.

Приезд Марины Цветаевой с дочерью в Берлин достаточно подробно описан в книге Ариадны Сергеевны. Она мне кратко объяснила условия жизни родителей в первые годы эмиграции:

> В Праге началась «Воля России», большая дружба с Лебедевыми и незначительное знакомство с Анной Тесковой /.../ С Тесковой — это был опять роман в письмах, как с Пастернаком или с Саломеей, с требованиями помощи и т. д. И только позднее произошел большой взрыв «Стихов из Чехии».
>
> На одной из фотографий того времени снята группа молодежи: Ж. Оцуп, Владик Иванов и др. Марина Ивановна сидит посередине с тетрадкой стихов и улыбается. Вообще же фотографий, где она улыбается, очень мало.
>
> В Чехии жизнь была еще труднее, чем во Франции. Это были темные деревни, грязь и очень тяжелый быт. Во Франции есть хоть асфальт, а тут была жидкая почва и грязь земли, которую мама очень не любила. Но еще был запал, молодость, дружба, очень дружный коллектив, ставили спектакли, выступала дочь второй жены Леонида Андреева, Нина...

Вспоминает этот деревенский быт одна знакомая и помощница Марины Цветаевой:

> В Мокропсах у Цветаевой был скромный домик. Отец Александр Туринцев туда приезжал. Тогда он еще был Сашей. Сергей Яковлевич был студентом и вообще был очень занят. Были друзья Чириковы, младшая дочь и Валентина Евгеньевна. Нужды такой не было, как во Франции, для всех было иждивение от чешского правитель-

ства. Это было радостное время. Помню, что и в Праге она много нам читала своих стихов, у вдовы Андреева...

Быт у нее был плохо устроен, беспорядок был ужасный, особенно в этих «богоспасаемых Мокропсах», как мы тогда говорили. Однажды она нас пригласила на блины — разговоры, веселье, блины были совсем сырые, а потом все сгорело. Но, несмотря на бедность и неустроенность, было весело, хорошо (Е).

Я видела две сохранившиеся фотографии Али того периода, когда она училась в интернате. На одной из них у нее овал лица напоминает материнский, а глаза совсем как у отца, и длинные косы, она выглядит аккуратной, ухоженной девочкой. На другой она чуть старше, волосы гладко зачесаны назад, лицо серьезное, но спокойное, облик очень гармоничный. Можно вспомнить, как ее в эти годы описывала мать в письме к Пастернаку: «Аля огромная /.../ с отросшими косами, умная, изводящая (ленью и природной медлительностью). Ей очень тяжело живется, но она благородна, не корит меня за то, что через меня в этот мир пришла. С 4 лет — помойные ведра и метлы, будет чем помянуть планету» (О. Ивинская, «В плену Времени», с. 174).

Марк Львович Слоним рассказывал, что в Праге у Сергея Яковлевича была студенческая стипендия, а Марина Цветаева получала помощь от чешского правительства как русская писательница и гонорар от «Воли России». Были еще разные побочные заработки, например от издания «Молодца», — тогда Марк Львович был секретарем издательства «Пламя», а Ляцкий его заведующим.

А тяжелый быт и нищета начались гораздо позднее, в Париже. В Праге было легче. Пока держалась «Воля России», она печаталась. «Воля России» ей все время давала авансы, поддерживала ее. Это все было с 22-го по 32-й год. После закрытия «Воли России» не осталось возможности нигде печататься, и наступила настоящая нищета. Это соответствует и более трагическому тону писем, начиная с 32-го года. Тогда пришлось прибегать к разным уверткам, вроде печатания в серб-

ских журналах, переводов ее прозы («Русские записки» в Югославии).

В Чехословакии жизнь за городом устраивается бедно, но весело. Многие с юмором вспоминают пригородное житье семьи во Вшенорах или Мокропсах. Марк Львович говорит:

> Мокропсы — самый веселый момент ее жизни. Сколько смеху было по поводу этого имени: Мокротопы, Мокроступы и т. д. ...Однажды мы с ней оказались в Праге и заговорились так, что пропустили все поезда. Надо было ехать в Мокропсы, но как? Положение отчаянное. Наконец я достал машину — поехали. А по дороге она уже забыла все волнение и опять увлеклась разговором.

Вот рассказ другого знакомого:

> Я был студентом. Познакомившись в 23—24-м году, мы часто встречались. Тогда она жила в Мокропсах. Устраивались вечера, куда приходили Чириковы, Александра Захаровна Туржанская, Сергей Яковлевич тогда тоже бывал. В основном это все были «белые» /.../ Около нее тогда крутилась вся молодежь, любящая литературу. Это была высококультурная среда молодых, не кончивших учиться /.../ Но все эти интеллигенты интересовали Марину своей духовностью, молодостью и красотой, духовной и физической, а не какими-нибудь интеллигентскими разговорами. Она от разговоров держалась несколько в стороне. Ее больше интересовали прогулки, природа, деревня /.../
>
> Конечно, в среде пражской молодежи она была царицей. Да она и любила царить.
>
> Во время прогулок она всегда говорила — декламировала,— любила афоризмы или «провоцирующие» высказывания, бросала наблюдения или отдельные мысли /.../ Со мной она была «на вы», вообще она нелегко переходила «на ты», и с мужем была «на вы»... О Сереже никогда не говорила «муж» — говорила о нем: «Сергей Эфрон»...
>
> В Праге академический мир ее не интересовал. Она предпочитала студентов, среди которых она

> была старшей — старшая, единственная и исключительная, потому что поэт — а мы все писали стихи.
>
> В Праге было три группы: 1. Союз русского студенчества; 2. Союз республиканцев, с Милюковым и 3. Союз социалистический — бывшие эсеры, народники и т. д.
>
> Это было ее самое счастливое время. Ведь ее, как и всех писателей, ученых и студентов, поддерживало правительство, и поэтому она так не нуждалась, как в Париже... Марк Слоним влюбился в нее и много ею занимался и ее поддерживал. Как его крыли за то, что он в своем эсеровском журнале поместил *не* гражданского «Крысолова»! Потом он от нее отошел (В).

Марк Львович Слоним об этом круге знакомых рассказывает:

> Это была студенческая среда с литературой и чаепитиями. В ней участвовал и Вадим Андреев. Он вспоминает, как мы ее тогда почитали, считали большим поэтом /.../ Там она ощущала свой круг, но стихов она не читала. Она их читала на публичных выступлениях, которые устраивались с финансовыми целями... Тогда она читала с трудом, волновалась.

В этой среде у Марины Цветаевой появились не только «помощницы», но и настоящие новые друзья; нельзя забывать сердечного отношения А. Тесковой, о которой несколько жестоко отзывается Ариадна Сергеевна. Из рассказов Марка Львовича Слонима видно, что между ним и Цветаевой была долголетняя и глубокая дружба. К его свидетельству приходится постоянно возвращаться, так как он как будто сумел сказать о Марине Цветаевой больше и лучше всех, кого я расспрашивала.

Вот как вспоминает этот «литературный быт» другой современник Цветаевой:

> ...Мне довелось узреть в первый раз поэтессу летом 1924 г. Было это в одном из местечек, расположенных на речке Бероунке, в 20—30 км от Праги, где русские жили тогда не только летом,

но из-за квартирного кризиса и зимой. Помню только три названия: Черносвице, Равнисе и Горные Мокропсы. В одной из этих деревень и жили Эфроны-Цветаевы. Как и в Збраславе под Влтавой, где долгое время прожила наша семья и еще многие русские пражане, на берегах Бероунки установился обычай собираться для бесед, лекций, спектаклей и концертов. Там это происходило в своего рода «праздничной зале», окруженной зеленью, и на их (как и на наши) вечера приходили русские из соседних деревень и даже приезжали из Праги. Вот во время антракта одного из таких вечеров, когда еще было светло и компания, в которой находились мы с братом /.../ вышла наружу подышать свежим воздухом, кто-то мне указал на выходившую из зала на крыльцо Цветаеву. Я увидел в профиль совсем не глупо-самодовольное (как я почему-то злостно ожидал), а интересное и умное, если не красивое, лицо. Она смотрела поверх голов спускавшихся по ступенькам людей и как-то «изощренно» улыбалась не то на освещенные последними лучами заката листья деревьев, не то на какую-то свою мысль, только что высказанную или готовую быть высказанной идущему рядом или сзади собеседнику. Впрочем, последняя деталь большого значения, наверное, не имела, потому что по ее словам, о которых я узнал после, окружающих ее людей она не очень отличала от мебели и прочих неодушевленных предметов. Все это можно было ожидать от «погибшей от гордыни боярыни Марины», как гласило заключение какого-то ее стихотворения, где-то с раздражением вычитанного моим братом, бывшим еще большим мизантропом, чем я.

Но большой сдвиг в «доброкачественную» (для нас) сторону произошел, и у него и у меня, в октябре 1925 (или 26-го) года, когда мы соблаговолили пойти /.../ на литературный вечер, где выступала как бы «солисткой» Марина Цветаева, читая свою прозу и некоторые стихи. Прозою были страницы — полагаю, свеженаписанные — воспоминаний о другом литературном вечере, состоявшемся лет шесть перед тем зимою в Москве, по инициативе и под председательством Валерия Брюсова, который явно принял на себя роль

Аполлона Мусагета, подобравши для него букет из девяти более-менее молодых поэтесс — явно в честь девяти муз, как догадалась Цветаева. Помню, что в ее повествовании всех слушателей живо позабавил пассаж, относящийся к брюсовскому классицизму: его прогулка с маленьким сынишкой, которого он учил различать архитектурные ордера по капителям колонн московских ампирных особняков. Хорошо усвоивший отцовские уроки мальчуган указывает на песика с загнутым крючком хвостиком и узнает в нем «ионическую собачку». Я мог бы воспроизвести еще многие отрывки из этого ею прочтенного и, конечно, опубликованного очерка, который у меня особенно ясно стоит в памяти еще теперь, 55 лет спустя. Думаю, что это уже является гарантией «добротности» литературного дарования Цветаевой. А кроме того, хочу сказать, что именно ионическая собачка меня задела за живое своим скрюченным хвостиком и сильно способствовала моему излечению от глупо сложившегося антицветаевского комплекса. Нельзя было на этом вечере не почувствовать силы и тонкости ее таланта. Помню, что брат оценил в ее изложении свойственное /.../ женскому писательскому таланту изящество мысли и стиля.

Среди продекламированных ею стихов вспоминаются те, которые начинаются вроде: «Все мы не величества, высочества, сиятельства...» и т. д. и другое, со своего рода «припевом» из слов белогвардейской песни «марш вперед, трубят в поход», который она произносила в ускоренном темпе, повысив тональность и как бы «звукоподражательно». Помню еще: «Москва, какой огромный, странноприимный дом» и в том же, или другом, стихотворении что-то о предутреннем часе, когда пробуждаются звонари и еще что-то о «колокольной груди» Москвы. Во всех этих московских мотивах даже мы, с нашими с отрочества развившимися петербургскими антимосковскими комплексами, не могли не почувствовать чего-то привлекательного и милого для каждого русского человека (Ж. Из неизданных воспоминаний).

Вот как Марк Львович Слоним говорил о своем знакомстве и дружбе с Мариной Цветаевой:

> Общение наше продолжалось с 1922 до 1939 г. Познакомил нас Андрей Белый в Берлине, потом Марина Цветаева приехала в Прагу. Надо было печататься. А где печататься? Журнал «Воля России» был журналом эсеров. А она считалась белой. Это еще один из ее мифов — и миф благородный.
>
> В России я ее стихов никогда не читал, а узнал ее стихи в Берлине. Она дала свои стихи в «Волю России», и я их напечатал, несмотря на протесты. Говорили — слишком трудно, в ее стихах ничего не понять! С 1922 до 1932 г. она печаталась очень много и регулярно. Шли ее поэмы, например, четыре месяца шел ее «Крысолов», еще «Красный бычок», «Деревья» и так далее. Это было очень выгодно финансово, так как она бедствовала. В то время мы стали очень часто встречаться, и между нами завязалась настоящая дружба.
>
> В 1922 г. она познакомилась с К. Б. Это единственный настоящий и трудный, *не* интеллектуальный ее роман. Об этом она пишет в «Поэме горы» и «Поэме конца».
>
> Она была старше меня. Я был тогда молод. Когда ей было трудно, она приходила ко мне. Я ей был настоящей опорой, человеком и другом, который мог помочь. Я очень старался облегчить ее жизнь. До 1925 г., до рождения Мура, ей было очень тяжело.
>
> Мы очень много вместе ходили. У нее был страх автомобилей. Она ведь была очень близорукая и, хотя лорнет был, она его не носила, повсюду она ходила гулять со мной, но вообще города не любила, из-за автомобилей.
>
> Во время одной из наших прогулок я ей показал рыцаря, это было в старинных кварталах, по ту сторону реки, в Праге, которую она очень любила. Через день после этой прогулки я получил от нее стихотворение «Пражский рыцарь».

О драме, с которой связано создание «Поэмы горы» и «Поэмы конца», помнят все, кто знал Марину Цветаеву в Праге, так как она не скрывала свою любовь

к К. Б. Расспрашивать Ариадну Сергеевну на эту тему я не могла, на первый мой вопрос она мне ответила: «Меня при этом не было, я жила в пансионе и ничего не знала. К тому же в поэмах Цветаевой все сказано». Тем не менее Ариадна Сергеевна в другой раз вернулась к этому вопросу и рассказала следующее:

> К. Б. теперь скульптор по дереву, устраивает выставки, член французской компартии. Он чтит память Марины и ко всем любопытствующим относится отрицательно /.../ Это был красавец, поначалу бабоугодник. Такой человек, о котором обычно говорят «обаяша». Он прошел большой жизненный путь. Он был миниатюрный весь, деликатный. Правдивый и открытый, но одновременно и лукавый. Когда у Марии Сергеевны Булгаковой родилась от него дочь, он ее с радостью отдал второму мужу Марии Сергеевны. Потом та повзрослела, стала крутиться с мальчиками, и когда Мария Сергеевна попросила его помочь с ее воспитанием, то взрослая дочь и лукавый отец отлично поладили. Безответственность, но рыцарство огромное. Он был очень тонкий, тактичный. Никто от него ничего о маме не слышал, кроме того, что она сама написала в своих двух поэмах.
>
> Переписку их я получила через Сосинского, который передал мне ее очень нечестно: он оставил у себя рукопись «Поэмы горы» и фотографию, на которой карандашом сделал выписку из письма. Может быть, он себе оставил еще кое-что. Все потом выяснилось, и я была возмущена. Я же, когда переписку получила, то пересчитала письма и все положила в запечатанный конверт.
>
> Письма мамины к К. Б. или от него я не читала, только вынула одну фотографию. В письмах к другим людям я рылась, из-за необходимых комментариев. Стихи свои и прозу мама писала для всех, а письма — для отдельных лиц. Надо изучить ее творчество и все написанное издать, а потом только издавать письма... Я считаю, что мамины письма к К. Б. не принадлежат мне, в свое время их можно будет публиковать, а сейчас рано: К. Б. жив и не хочет, чтобы имя его попадало в печать и чтобы его во все это вмешивали.

Географическая гора Праги не имеет никакого значения. Я сама не знаю, я в тот год была в интернате под Прагой. Я вообще в школе была только один этот год.

К. Б. ничего никому не рассказывал — такой легкомысленный человек оказался джентльменом. Марина Цветаева дала ему огромный аванс, который он и оправдал мужеством своей жизни, верностью политическим взглядам и верностью ее памяти. Хотя казалось, что между ними была большая диспропорция.

Он впоследствии говорил мне, что надо было все сделать иначе: «Я был глуп и молод, ей надо было служить, стелиться у ее ног и от всего освободить — от вас, от быта. Надо было ее красиво одевать. А Сережа был слишком святой, чтобы одевать жену».

Ариадна Сергеевна показывала мне фотографию этого времени: Сергей Яковлевич стоит сзади, вид у него больной. На первом плане, слева, сидит Марина Цветаева вполоборота, в одной руке у нее хворостинка, в другой цветок, кажется одуванчик. Лицо у нее вдохновенное, веселое, счастливое. Рядом с ней сидят муж и жена Еленевы, их дочь, тогда девочка (Катя Еленева, которая теперь живет в США), рядом К. Б., красивый и обаятельный. Фотография эта часто появлялась в печати, я повторяю здесь комментарии Ариадны Сергеевны.

О К. Б. друзья Цветаевой отзываются по-разному: «К. Б. совсем неинтересный человек, «un petit coq» (петух). Конечно, он был неглупый, у него была смекалка. Он был секретарем евразийского издательства, которым я заведовал. «Un petit coiffeur» (ничтожный парикмахер), «un bellâtre» (фатоватый), «mauvais genre» (дурного тона). У него были странные отношения с Сергеем Яковлевичем. Но в связи с ним она написала величайшую поэму. А это самое важное» (Г).

И еще:

К. Б. был красивый, изящный человек, небольшого роста, чем-то он напоминал мне Андрея Болконского, семья военных. В 1918 г. К. Б. командовал Южной флотилией Красной армии, по-

пал в плен, был приговорен к расстрелу. Потом этот приговор отменили, и он очутился в Константинополе. Там он познакомился с Эфроном, который его завлек в Прагу — учиться.

Этот человек был абсолютной противоположностью Сережи: ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он ее стихов не ценил и даже, вероятно, не читал. Он тоже был евразийцем, а затем стал резидентом ГПУ. Его послали в Испанию, в батальон белых эмигрантов. Полковник этого батальона считал К. Б. немного подозрительным. В Испании К. Б. взял себе кличку Корде. На войне он был довольно жесток, и его боялись (Ю).

Или:

Нам всем в семье К. Б. страшно не нравился. Он ведь был секретарем и казначеем евразийцев и их журнала... Мы его тогда очень презирали, а оказалось, что это большой человек — он прошел всю Испанскую войну и вел себя как настоящий герой (З).

В частных письмах 1976—1979 гг., которые К. Б. мне разрешил цитировать, он говорил то же самое, что и Ариадна Сергеевна:

«Наша любовь и наша разлука живо отражены в стихах и поэмах самой Марины Цветаевой.

Поэтому я воздержусь от всяких комментариев. Можно ли заурядными словами передать то, что уже стало достоянием поэзии» (ноябрь 1978). «...Нет, не надо никаких побочных комментариев — ни бытовых, ни географических, ни календарных. Пусть стихи — непреложное свидетельство — остаются выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований! Не толкайте читателя в преходящую повседневность («жизнь, как она есть»), позвольте ему нерушимо пребывать в нетленном мире, преображенном поэзией» (январь 1979).

«Личность Марины Цветаевой настолько широка, богата и противоречива, что охватить ее в немногих словах совершенно немыслимо!

Очень хорошо она сказала о себе сама:

Восхи́щенной и восхищéнной,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной...

Такой она являла себя и за своим письменным столом, и в своих далеких и одиноких прогулках...

Но с какой готовностью и с каким неослабным вниманием участвовала она в беседах!

И как живо и остро восставала она против всего, что шло наперекор ее жаркому правдолюбию.

Еще одно замечание: в произведениях Марины Цветаевой нередко слышатся трагические ноты — отзвук ее тяжелой, разбитой и неустроенной судьбы.

По существу же, у Марины Цветаевой был светлый, счастливый и жизнеутверждающий характер.

Не это ли роднит все творчество Марины Цветаевой с народным эпосом, с народной стихией стиха и слова!»

О К. Б. Ариадна Сергеевна еще сказала: «Мотыльковая сущность и железобетонная судьба», но после его поездки в Россию писала о нем в Париж:

К. Б., конечно, постарел, но я бы его и на улице и в толпе узнала. Встреча лучше и глубже, чем я могла ожидать. Когда-то мелковат был К. Б., несмотря на все свои качества. Теперь он очень вырос — до настоящего понимания двух исключительных людей — моих родителей, с которыми свела его судьба (1967).

Как видно из предыдущего, К. Б. не хотел, чтобы в его личную жизнь и историю связи с Мариной Цветаевой вмешивались посторонние нескромность и любопытство, не хотел давать биографических сведений, подробностей и «подстрочников». Поэтому интересно было послушать его самого, и я наконец решилась к нему пойти в 1982 г. Он меня встретил с неожиданными для меня приветливостью и радушием, очень мне обрадовался и с большой охотой долго со мной беседовал. Теперь это человек худощавый, собранный и спокой-

ный. Его учтивость соединяется с большой простотой в манере держаться и говорить.

Поначалу я задавала ему отдельные вопросы, касающиеся общей обстановки конца 20-х и 30-х годов в Чехии и в Париже, отношения разных людей к Советскому Союзу, характера и деятельности Сергея Яковлевича. Постепенно, говоря о себе и о своем прошлом, К. Б. перешел к личным воспоминаниям. Он явно считает себя во многом виноватым перед Мариной Цветаевой, но это не угнетающая виноватость, а скорей сожаление о том, что в прошлом было сделано не то, что надо, и недостаточно. В рассказе его было много подкупающей скромности и непосредственности. Его свидетельство совсем субъективно, но оно представляет интерес первоисточника. Следует к тому же вспомнить, что К. Б. годами отказывался что бы то ни было говорить, ссылаясь только на стихи Марины Цветаевой, а тут у нас состоялась долгая беседа, в которой он участвовал с явным удовольствием.

Переписка К. Б. с Мариной Цветаевой находится теперь в засекреченном архиве в Москве, за исключением одного, а может быть, двух писем, копии которых хранятся в частных руках [6]. В связи с письмами Цветаевой Ариадна Сергеевна вспомнила: «Поэма горы» писалась во время романа, очень легко и одним махом, а «Поэма конца» — после разрыва и с большим трудом».

Беседу со мной К. Б. тоже разрешил мне пересказать, поэтому привожу свои записи почти целиком. Хотя в них есть повторения, они, как мне кажется, могут помочь представить подлинные чувства одного из героев цветаевских стихов более полувека спустя и его отношение к бывшему, а через это понять переживания и самой Марины Цветаевой.

Вот как К. Б. описывал свою встречу с поэтом:

> Я встретился с Мариной во время ее переписки с каким-то корреспондентом. Она вообще писала письма. Много. Это было характерное для нее стремление восполнить то, что мы не могли создать в нашей совместной жизни, по моей собственной вине. Вот так случилось что наша встреча заставила ее от переписки с этим человеком отойти. Она влюбилась.
>
> Марина Цветаева была в переписке со многи-

ми поэтами. А я? Что я мог? Я не мог ничего для нее устроить. Мне было трудно самому. Ее письма... это была скорее необходимость выразить себя. А я был слаб. Она меня тащила на высоты для меня недосягаемые. Мне нужна была жизнь проще. Она искала возвышенную любовь, а не любовь земную /.../

Я ведь встретился с ней, когда она была с кем-то в переписке. Кто это был? Бахрах? Может быть. Или еще какой-то неизвестный ее собеседник. Когда мы сошлись, мы стали большими друзьями. А потом она продолжала писать мне письма. Для нее было необходимостью выражать «le trop-plein» (избыток).

У нас были встречи, но не было полноты совместной жизни /.../ Это была любовь неустроенная. За то время, что мы были вместе, я мог для нее сделать больше, чем то, что я делал. Все тогда упиралось в наше бытовое неустройство. Мы жили всегда отдельно и встречались только в отеле, в ресторане или еще где-нибудь /.../ Мы были «на вы», но это не создавало отчужденности /.../ Вопрос нашей неустроенности не давил нас. Он просто не поднимался. Наша близость — это Прага... Было тогда настоящее счастье. Но она не ушла из дому ко мне. Этого я не помню. Были только прогулки, встречи в разных местах, а вместе мы *не* жили /.../ Это было огромное увлечение. Теперь осталось у меня к ней глубокое чувство. Теперь я сознаю, что тогда мог ей дать гораздо больше, чем дал, именно по моей вине, по моей слабости наша любовь не удалась. Это была такая любовь, которая требовала большой сосредоточенности. У меня же, стоящего на бездорожье во всех смыслах, и идеологическом, и сентиментальном, не было возможности создать то, чего она ждала /.../ Мы были молоды тогда, было увлеченье, объятья, страсть /.../ То увлечение, которое у Марины было со многими и которое я не осуществил как большую любовь и помощь.

Мои отношения с Мариной были всегда восторженными, радостными, до самого последнего времени. Она иногда мне звонила, и мы всегда радовались друг другу.

Я рад, что письма наши хранятся в архиве, на-

до туда поехать, с ними ознакомиться(!), у меня копий не осталось. А может быть, не надо было их посылать в Россию, не знаю...

Увлечение — обоюдное — началось между нами сразу, «coup de foudre» (любовь с первого взгляда). Оно объяснялось молодостью, любовью к жизни. Наша связь длилась два года, в Праге. А потом я и не искал продолжения. Была ли это большая любовь — я не знал, по молодости, по легкомыслию... А во Франции мы уже почти никогда не виделись.

В Марине была жажда жизни, стихийная любовь к природе, она вся была стихийная. Она была полна любви к жизни, и в то же время ее неустройство и невозможность найти полноту в этой жизни иногда звучали пессимистическим отказом от жизни. Но радость жизни не была отвлеченной... И все же самостоятельно жить и устроить свою жизнь она не могла /.../ Она меня выдумала. Я поддавался ее образу и очень это ценил. Но с другой стороны, это мешало мне жить. Как лавина! /.../ Надо было быть около нее. А я был не на высоте этой большой любви, я не продолжил ее в житейском смысле.

Говорила ли она со мной о стихах, о своей поэзии? Нет. Очень мало. Она, например, один раз подарила мне стихи, но не свои, а Гумилева. Я тогда ее стихи не ценил и очень любил Гумилева, его мужественность, его силу /.../ В Праге я был неподготовлен к ее поэзии, я ценил Гумилева, а не Цветаеву, тогда как теперь, наоборот, нахожу, что у Гумилева много дешевого героизма и авантюризма в дурном смысле. Тогда это совпадало с моим отношением к жизни, это соответствовало моему возрасту, моей тяге к авантюризму и легкому успеху /.../ У нас были интересные разговоры и споры. Например, она была большой поклонницей Пастернака, а я увлекался только Гумилевым, и на эту тему у нас были несогласия.

Рассказ К. Б. не был особенно последователен, переходил от одного воспоминания к другому, возвращался назад, изобиловал повторами, а иногда и противоречиями.

Я пыталась сгруппировать отдельные темы этой трехчасовой беседы. В какой-то момент К. Б. сосредоточил внимание на отношениях Марины Цветаевой с мужем:

> С Сергеем Яковлевичем у Марины были отношения отвлеченные (где-то она об этом говорит); в ее отношении к нему было и материнское чувство, и дружба. Чувство долга? Нет, у нее не было никакого сознания, что существует ее долг как жены. У нее было к нему скорее большое дружеское чувство, она высоко его ценила. Но он был для нее слаб. Она не разлюбила его, просто она с ним не была связана ни страстью, ни долгом, ни бытовой зависимостью (в этом плане, наоборот, был полный беспорядок). В сущности, она же от него и ушла. В последнее время они уже не жили вместе — поэтому между ними не произошло ни сентиментального, ни бытового разрыва. Они просто оказались врозь.
>
> Каждый жил своей жизнью, не разрывая полностью с другим, но и не понимая его.
>
> Сергей Яковлевич, вероятно, знал об увлечениях Марины и допускал их... во всяком случае, не боролся против. Была некая путаница в их жизни. У Сергея Яковлевича были некоторые связи и увлечения, но небольшого размаха. И он никогда не разлюбил Марину. Он в ее жизнь не вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по слабости.
>
> Вообще между Мариной и Сережей отношения были очень отвлеченные, без физической близости. При всей своей духовной чистоте и даже уме и благородстве, он был слаб, в плане бытовом, и мирился с этим. И это его нежелание мешать Марине обратилось в полное нежелание и даже невозможность помочь ей. А физическая любовь в отношениях Марины и Сергея Яковлевича не играла никакой роли.

К. Б. постоянно возвращался к теме бытовой неустроенности жизни Марины Цветаевой и себя очень корил за то, что не сумел ей помочь именно в этом плане.

Я не мог устроить ее бытовую жизнь, а больше — это была фразеология. От быта она страдала, конечно, но ей нужен был не быт, а организация жизни, порядок в жизни. Она страдала от невозможности осуществления всех своих стремлений. А я тогда не отдавал себе отчета, насколько моя любовь глубока, как я это понимаю теперь.

К концу жизни в Париже они не были бедными. Сережа Марине помогал. Он ведь вел заграничную работу для большевиков, за которую он получал заработок. И в конце жизни в Париже Марина вовсе не была в безвыходном положении.

Когда я попросила К. Б. описать мне внешность Марины Цветаевой, какой она была в Праге, он отказался. Вместо этого он показал мне написанный им портрет. Один общий знакомый мне говорил, что К. Б. всем рассказывает, что по памяти рисует портреты Цветаевой, тогда как на самом деле его портреты — явные копии с опубликованных фотографий.

Я помню Марину такой, как на портрете, который я сделал для двухтомника. Вот именно такой. Ничего другого я прибавить не могу. В ее портрете я старался выразить и ироничность, и потребность большой жизни, и радость. В этом портрете выражена вся полнота наших отношений.

Следует помнить, что К. Б. приехал в Берлин вместе с Сергеем Яковлевичем и был его другом. Их тогда связывали общий пройденный путь, стремления и идеалы. Тогда на Западе существовали разные группировки русских эмигрантов, о которых я К. Б. расспрашивала. Он рассказывал о своем друге и о деятельности своей в эмиграции:

Были разные эмигрантские группы, в том числе и не враждебные Советскому Союзу, в частности Евразийство. Там были интересные искания в области политики. Они сначала были враждебно настроены против России, потом меньше. Но они не понимали, что в Советском Союзе были собственные противоречия. Сергей Яковлевич был искренний и правдивый человек, но увлекаю-

щийся, не всегда хорошо понимавший всю сложность ситуации.

Я сам тогда не имел твердой и ясной политической позиции. Сергей Яковлевич считал, что Добровольчество это защита России, но потом он от этой точки зрения отошел /.../

Сергей Яковлевич был экспансивным человеком. Он не имел ясного представления обо всей обстановке. Нужно было иметь тогда большую выдержку и хладнокровие, а он был слишком сентиментальным и искренним. А у Марины был пафос добровольческой армии. Ей нужно было жить страстной преданностью идее /.../ Я был моряком, но не был белогвардейцем. Сергей Яковлевич же был добровольцем. Потом он сам писал о своем разрыве с добровольцами. Он был слишком искренний, не смог и не сумел в сложной обстановке сохранить свою самостоятельность, он запутался /.../

Сам я тогда был очень слаб и в отношениях с ней, и вообще: я был разбросан, политически захвачен, я не мог осознать той глубокой любви, которую сейчас к ней испытываю /.../ Была и дружба с Сережей, виновность перед ним... трудно было организовать ее жизнь, нужно было больше силы, а я был на распутье: полуэмигрант, евразиец, у меня у самого не было твердой позиции /.../ я был на бездорожье. Теперь я более гармоничен. Я сомневался, моя личная жизнь была неустроена, у меня не было настоящих устоев, ни бытовых, ни идеологических, нам обоим было трудно /.../ Все это я тогда на себя взвалить не мог.

Я, конечно, спросила К. Б. и о конце его отношений с Мариной Цветаевой:

Теперь я могу сказать, что наш разрыв произошел исключительно по моей слабости. То, что я сейчас ощущаю и понимаю, тогда мне казалось невозможным.

Мне трудно было соединить эту возвышенную любовь с любовью бытовой. Нужно было умение совместить это. Тут была и моя слабость, и искание возвышенности и полноты с ее стороны.

Кто был прав? Из-за чего мы разошлись? Мы

разошлись потому, что я не мог ее жизнь устроить /.../ У меня не было средств, умения, не хватало авантюризма в хорошем смысле слова. И мешала моя собственная скромность. Я считал, что я ей совсем не нужен.

Разрыв? Не разрыв произошел, а расхождение. Мне было трудно, потому что я искал устроенной жизни, я также был связан политической работой.

Моя женитьба — это оппортунизм, мне нужно было устроиться в Париже. У меня не было любви к М. Б., но женитьба обеспечивала быт.

Так как мне были не совсем ясны отдельные моменты в хронологии отношений К. Б. с Мариной Цветаевой, я попросила его уточнить последовательность событий:

Из Праги я уехал в Ригу. Там жил мой двоюродный брат, он меня туда и выписал. Но жизнь там, провинциальная, без масштаба и размаха, без широких горизонтов, не могла меня удовлетворить.

Потом мой отъезд из Риги был представлен как участие в Зарубежном съезде.

(«Зарубежный съезд» открылся в Париже в отеле Мажестик в воскресенье 4 апреля 1926 г.— В. Л.)

Я поехал на Зарубежный съезд как представитель русского эмигрантского движения. Там были Струве и другие. В сущности, это была интеллигентская реакционная эмиграция, которая выставила знамена не только помещичьи и имущественные, но и возвышенные /.../ Я попал на Зарубежный съезд не как сторонник его политики, а просто потому, что мне хотелось в Париж. Я поехал на съезд ради Парижа. Я тогда был симпатичный и способный малый, и Зарубежный съезд был для меня средством выдвинуться, но это была больше игра, чем убеждения /.../ Моя принадлежность к ним — это было желание выйти из узкой провинциальной жизни. Это был авантюризм, в хорошем смысле слова, не карьеризм.

Потом я попал под опеку М. Б. Она мне предоставила устройство и бытовую организованность.

Все это теперь я критикую, а тогда мне это казалось правильным.

Позднее я от идеологии и людей съезда отошел и был на некоторое время захвачен Евразийством. (Марина же к Евразийству не имела никакого отношения.)

И только потом я вступил в ряды советских людей, ведущих политическую работу во Франции. Тогда это превратилось в серьезный настоящий мой путь. Я стал советским гражданином, но гораздо позднее. Поначалу работа моя — это был с моей стороны авантюризм в хорошем смысле, больше, чем политические убеждения. /.../ Но работа была щекотливая /.../

А Сергей Яковлевич поступил на эту службу больше по неустойчивости, чем по убеждениям. Он не мог понимать, что все сложно /.../ Он искал работу, отдавался весь, был неосторожен, он не был ни авантюристом, ни оппортунистом. Он бросился в пучину, не умея плавать, по наивности и с чувством самоотдачи... Кроме того, у него не было профессии и он встретился с советским человеком, который его и завербовал /.../

Знала ли Марина о работе Сережи? Конечно, знала. Ведь она тогда, уже в Париже, получала пенсию, это Сережа ей помогал, и она была обеспечена материально. Вообще в начале ей было материально трудно, а потом Сергей Яковлевич стал помогать. Она не нуждалась, она не жила в нищете, у нее был свой угол, там, под Парижем. О работе Сергея Яковлевича она знала, но тогда они уже были друг другу чужие. Когда я встретился с Мариной, у нее уже не было с Сергеем никаких отношений. Любовь ее к Сереже была уже очень отвлеченной и не могла ей дать в жизни помощи. Она; конечно, любила Сережу, но сознавала, что ему нужно помогать. Она его опекала, но это не имело ничего общего с любовью между мужчиной и женщиной. А потом ей стало очень тяжело материально. Да и Сергей Яковлевич запутался... произошло «дело Рейса». Один советский агент-невозвращенец был убит в Лозанне, тогда Сергей Яковлевич и погиб, потому что организация решила устранить нежелательного сви-

детеля советской работы за границей. И большевики его расстреляли. Он был расстрелян, потому что знал о тайной политической работе на Западе.

Я спросила у К. Б., встречался ли он с Мариной Цветаевой позднее, после разрыва и в Париже. Он рассказал:

> Позже Марина сохранила ко мне не только дружеское, но и какое-то другое чувство. Мы встречались. Она была рада, и ей было больно. Она принимала жизнь так.
>
> Нам обоим было трудно. Она тогда увлеклась Рильке, были и другие, она других искала /.../ В Париже жизнь Цветаевой была менее радостной и счастливой. У нее была связь с молодым Гронским. Но это был болезненный юноша. Он не был человеком, который мог быть спутником и сотрудником Марины. Это была воображаемая любовь /.../ Ее связь с Гронским — ерунда, заполнение пустоты, желание близости, она ведь терзалась /.../ Я жалею, что когда она мне последнее время звонила, я не проявил к этому должного внимания. Это уже была отвлеченная любовь /.../ У нее осталось дружеское чувство ко мне, даже в парижский период, до самого конца /.../ В Париже мы уже жили отдельно. Каждый имел свою собственную жизнь и не вмешивался в жизнь другого — любовь прошла. Я Марине не помогал (да и не нужно было) /.../ Но что меня трогает, глубоко трогает — она до самого последнего периода время от времени мне звонила и всегда мне была рада /.../
>
> А Елабуга — это уже ее отход от всего /.../ В Москве Марину не ценили, чуждались ее, мне Аля рассказывала.
>
> С Алей у меня не было никаких отношений. Это была девочка, которая садилась ко мне на колени, когда я приходил, да и только. Потом я с ней виделся в Москве и в Тарусе.

В ходе беседы со мной К. Б. постоянно подводил итоги своей связи с поэтом. Приведу их суммарно:

> Когда я обо всем этом вспоминаю, мне кажется, что я был не всегда достоин моих отношений

с Мариной. Но что поделаешь! Отчасти мешала дружба с Сергеем Яковлевичем, отчасти молодость, отчасти нежелание брать на себя ответственность и, наконец, желание предоставить Марине полную свободу. Было трудно. Я сам был неустроен, у меня были другие увлечения. Я оказался не на высоте из-за слабости, из-за того, что я не отдавал себе отчета в силе наших чувств. Другой такой любви у меня потом уже никогда не было /.../ А тогда у меня была другая жизнь. У нее был Гронский /.../ Все это выкристаллизовалось теперь, и теперь я ее люблю глубже и больше. Тогда это было увлечение и легкомыслие. Я хотел стабильности, а она — фантастического образа.

Я не мог ей дать рамки настоящей жизни, в которых она могла творить и быть счастливой. Она такой жизни желала. Она часто требовала от людей невозможного. И она не нашла никого, кто мог бы совместить большую любовь и бытовое благополучие. У нее не было всей надлежащей житейской и бытовой обстановки. Поэтому в ее поэзии много страдания. А по существу она была очень жизнерадостный человек. В ней было много пушкинского.

Но с другой стороны, в ней был отрыв от действительности, неустройство, которое она сама создала.

К. Б. в своем рассказе затронул и спорный вопрос об отцовстве сына Марины Цветаевой — Мура, но об этом речь впереди.

Другие свидетели порой недоумевали. Например, один общий знакомый всех участников этого романа мне говорил:

Что это был за роман?! Я просто развожу руками. К. Б. мне сам говорил: «Не понимаю ваших восторгов перед стихами Марины. Я, например, их вовсе не понимаю, они мне ничего не говорят. И вообще, простите, у меня к ее творчеству полное отвращение». А эти письма — самое значительное, что есть в эпистолярном наследии Цветаевой. Они, по-моему, значительнее самих поэм: в них видно, как жадно Марина ловила каждую крошку его внимания к себе. Стоило ему сказать

какую-нибудь банальность — но ласково — и она сразу делала из этого ну прямо диалог между Ромео и Джульеттой. Она только и видела бездонное озеро его прекрасных глаз. Его-то она не видела! Я не знаю достоверно, но думается, что он ей никогда не написал ни одного письма /.../ Она, в общем-то, его выдумала /.../ а мы все его сразу невзлюбили. Он нам казался ничтожеством (З).

Мнение о том, что Цветаева выдумывала людей, в разных воспоминаниях повторяется неоднократно. Это подчеркивает З. Шаховская в своем сообщении «О личности Цветаевой» (Лозанна, 1982). Есть еще другой конкретный пример этой черты поэта:

> Очень страшную вещь мне однажды рассказала Ариадна Сергеевна. Цветаевой предложили носить очки — как известно, она была очень близорука. Она ответила: «Не хочу. Потому что я уже сама себе составила представление о людях и хочу их видеть такими, а не такими, каковы они на самом деле» (М).

Поскольку К. Б отказался описывать внешность Цветаевой в этот период, приведу рассказ Веры Андреевой об облике «поэтессы и ее семьи»:

> При ближайшем рассмотрении поэтесса оказалась самой обыкновенной женщиной — небольшого роста, худощавая, двигается быстро, энергично, по сторонам не смотрит, только изредка бросает как бы сбоку быстрые, как синяя молния, узкие, как лезвие, взгляды; необыкновенно худой, с большими, добрыми, светло-голубыми глазами навыкате — очень симпатичный муж. За худобу мы с братьями тут же окрестили его «Царь-голод». И еще — что уже совершенно не подходило к образу поэта и окончательно расстроило мои представления о них — у поэтессы дочь, девочка лет одиннадцати-двенадцати, с такими же бледно-голубыми, почти белыми глазами на выкате, как у «Царя-голода», и маленький сын, которого эта девочка возила в колясочке. Про Алечку, так звали дочку Марины Цветаевой, говорили, что она вундеркинд и что уже сейчас пи-

шет прелестные стихи. Я робела перед нею и старалась ей не попадаться на глаза. (Из неизданных воспоминаний.)

Разные свидетели «романа» Цветаевой рассказывали о нем каждый по-своему. Мария Сергеевна Булгакова, например, вспоминала обо всем с понятным оттенком раздражения: К. Б. женился на ней в 1926 г., и именно о ней Цветаева написала известные стихи «Как живется вам с другою...». Вот как Мария Сергеевна рассказывала о Цветаевой:

Знакомство наше состоялось в первое или второе наше лето в Праге (1923—1924 г.). Были сестры Рейтлингер, знакомые отца Сергия Булгакова, моего папы, и меня повели к Марине. Мы жили с семьей в какой-то крестьянской избе, а Марина Цветаева жила в домике получше, но тоже без удобств. Там и родился ее сын, Мур. Рожала она дома, и мы дежурили при ней втроем: Катя Рейтлингер, Александра Захаровна Туржанская и я. Мы стирали пеленки, убирали и так далее. Марина на всех наговаривала. Я этого тогда особенно не замечала, так как была влюблена в любовника Марины. Потом я вышла за него замуж. Это был аморальный человек /.../ очаровательная свинья /.../ совершенное ничтожество /.../ Мур был крупный и молчаливый ребенок. Марина Цветаева меня *не* видела. Отношения были неприятные. Видались мы постольку, поскольку я была ей нужна: пойти в магазин, в чем-нибудь бытовом помочь. Она мужу моему говорила интересные или важные вещи — не мне. Он же был ее любовником! Однажды мне было очень неприятно найти, уже после нашей свадьбы, в его кармане пламенную призывную записку от нее. Она всегда так поступала. Противно даже! /.../

О творчестве своем она со мной не говорила, вообще меня ни в грош не ставила /.../ Я была для нее "quantité négligeable" (ничтожное существо). Вот мужу моему она говорила: «Иду на базар, а стихи так и льются» /.../

Мужа своего она превозносила. Это была сублимация светлого воина. И сына она назвала Георгием /.../ от народного Егория...

С мужем и с дочерью Алей она была «на вы», а Аля в детстве и юности часто называла мать Мариной. Отношения матери к ней были особые. Помню, например, как она дочь отдавала в школу в Чехословакии, она девочке сказала: «Если в школе спросят, кто мать и отец, скажи, что Солнце и Звезды». Но мужу она хамила ужасно, она вообще хамила всем.

Мария Сергеевна опровергала сведения о том, что Марина Цветаева ей подарила к свадьбе подвенечное платье: «Это вранье. Ведь у меня же был от нее свадебный подарок — „Поэма горы". Неприятно все было очень».

Здесь, думается, уместно привести выдержки из неизданных писем Цветаевой к дочери Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой по поводу свадьбы Марии Сергеевны. Они написаны в Сен-Жилле:

Милая Адя!
13-го (в воскресенье) в подворье (93 rue de Crimée) венчанье М. С. Булгаковой. Хорошо бы узнать накануне — когда, и пойти! Венчается целая поэма! (пауза) Целых две.

Подговорите Володю и Доду и пойдите. И напишите. Хороший день выбрали — а? (13-е).

Целую,

М. Ц.

(Saint Gilles, 9 июня 1926 г.)

И второе письмо:

1-го июля 1926 г.

Дорогая Адя!
Спасибо за письмо. Оно мне сегодня снилось, и проснулась в тоске, хотя в жизни уже ничем не отзываюсь. Засесть гвоздем это ведь лучше, чем висеть жерновом! Жалею М. С., потому что знаю, *как* женился! Последующие карты можно скрыть, она слишком дорожит им, чтобы домогаться правды, но текущей скуки, явного ремиза не скроешь. Он ее не любит. «Ну хоть тянетесь к ней?» — «Нет, отталкиваюсь».

Стереть платочком причастие — жуткий жест.

Она вышла за него почти против его воли («Так торопит! Так торопит!») — Дай ей Бог ребенка, иначе крах.

Спасибо, что пошли. Поблагодарите, когда приедут ваши. Теперь Дода знает, как венчаются герои поэм и кончаются поэмы» .

Когда родился Мур, среди знакомых Цветаевой начались толки о том, что он — не сын Сергея Яковлевича Эфрона. Даже некоторые доброжелательные люди считали, что Мур — сын К. Б. У Марии Сергеевны Булгаковой есть такая фраза: «Ведь неизвестно, кто отец Мура. Возможных отцов по крайней мере три. Но он был похож на Сергея Яковлевича. Странный он был, толстый, здоровенный, красивые глаза, вьющиеся волосы, красивый рот. Но без шеи — совсем. Что-то было в нем дегенеративное».

А вот другое свидетельство:

Мур, конечно, не был сыном Сережи. Знал ли он это — не знаю, он об этом не говорил. К. Б. считает, что Мур от него. Он был очень близок с Сережей и потом остался его другом. Он, конечно, испытывал угрызения совести из-за Марины. Тогда все считали, что Мур его сын. Он всюду говорил про Марину: "C'était la femme de ma vie". (Это была любовь моей жизни.) Когда я приехала, я сказала ему: «Что за чушь, зачем ты бросил Марину, чтобы жениться на скучной Муне Булгаковой?» А он мне объяснил: «Во-первых, она меня выдумала. Я не был такой. Год мы были вместе, и мне было тяжело не быть настоящим. А во-вторых, мне было стыдно перед Сережей» (Ц).

Другая долголетняя знакомая вспомнила:

Мама бурно и категорически отрицала, что Мур — сын К. Б. Даже когда это говорила Анна Ильинична Андреева, она это часто повторяла, но она была грубая, мама была гораздо более деликатная, а Марине нравилась грубость /.../ В период рождения Мура мама с Цветаевой была очень близка. Тогда говорили, что это сын К. Б. и даже, что он на него похож. А мама была убеждена, что это сын Сергея Яковлевича. Марина тогда гово-

> рила маме, что у нее два желанных имени: Борис и Георгий и что она сына назовет Борисом, когда у нее будет сын от Пастернака, а этого называет Георгием из-за мужа — белогвардейца и из-за Георгия Победоносца (Б).

Другой человек говорит: «История с К. Б. была в Праге. А когда они все появились в Париже, всем известно было абсолютно и несомненно, что Мур был сыном К. Б.» (Г).

Наконец, еще одно лицо, человек особенно мягкий и не только не склонный сплетничать, но вообще немногословный, говорил мне:

> Было подозрение, что Мур не сын Сергея Яковлевича, а сын К. Б.... А Сергей Яковлевич к нам подошел и сказал: «Правда, он на меня похож?» Потом был разговор с Мариной. Она при мне сказала: «Говорят, что это сын К. Б. Но этого не может быть. Я по датам рассчитала, что это неверно»... А письма сам К. Б. потом послал Але в Москву, но одного письма не хватает... (Е)

Вопрос о том, кто отец Мура, возник почти естественно во время моей беседы с К. Б. Вот что он мне объяснил:

> К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. «Думайте что хотите. Мур — мой сын или не мой, мне все равно». Эта неопределенность меня устраивала. Мое поведение я, конечно, порицаю: «Отойдите, это сложно для меня» — вот что я тогда думал /.../ Потом в Париже мы встречались с Сережей. Но он не принимал никакого участия в воспитании Мура. Когда я с Муром встречался, мы были дружественно настроены, и не больше. Я тогда принял наиболее легкое решение: Мур — сын Сергея Яковлевича. Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой. Но она так и не сказала мне правду. Я, конечно, жалею теперь, что отнесся к этому без должного интереса /.../ Сын мой Мур или нет, я не могу сказать, потому что я сам не знаю. В этом вопросе, пожа-

луй, Марина была не права. Она мне определенно так и не сказала. Может быть, она не желала на меня накладывать ответственность. И я не знал, сын мой это или нет, она мне не сказала. А меня это устраивало. Материально Мур не нуждался, он был обеспечен. Отношений у меня с ним потом не было никаких /.../ Период жизни с Мариной для меня очень дорог. И в то же время я немножко страдал совестью: Мур, и все такое... Я думал тогда: «Отойду от всего этого, разбирайтесь сами, я не могу». Мы тогда уже не были связаны, наши пути с Мариной уже разошлись.

На этом свидетельстве и следует, по-моему, поставить точку относительно вопроса о том, кто настоящий отец Георгия Эфрона.

О рождении своего сына Марина Цветаева сделала запись в своем дневнике, и часть этой записи Ариадна Сергеевна приводит в своей книге воспоминаний, припоминая слова матери о «семи нянях» Мура.

Когда Ариадна Сергеевна эту запись нашла, она написала в Париж своей знакомой:

Набрела на отрывок, длинный, в маленьких тетрадях, в момент рождения Мура, посвященный Вашей доброте и ласке, когда Вы приняли в себя ее беду Поэмы конца. И такая запись в эти дни — единственная за всю ее жизнь: «Я никогда не знала, что у меня столько друзей» /.../

И в следующем письме:

Вот запись мамы, которую обещала,— о рождении Мура и о его «нянях» и феях, встретивших его рождение: А. И. Андреевой, Муне Булгаковой, Кате и Юле Рейтлингер, Чириковой /.../ (письма 1961 г.).

Я здесь приведу только вводную фразу записи Цветаевой и несколько выпущенных мест, так как они относятся к «матери мальчика», то есть к медонской соседке и помощнице, которая столько лет стояла около и в нужде выручала. Аля же к ней ходила спасаться от житейских невзгод. Вот что писала Марина Цветаева:

> К ней я тогда ринулась со своим страшным горем (Р.) (т. е. герой поэм — В. Л.), и она, как тихое озеро, приняла...

И дальше:

> ...похожа на монашку, православную, м. б., Фленушка /.../ Прямоносая, лицо молодой иконы. В старину за такие глаза — жгли...
>
> Игрой случая любила мой детский «Волшебный фонарь» и из книг увезла — только его. Его и Евангелие... Его у нее украли (по русскому выразительному слову «зачитали»). Познакомились через Алю, ходившую играть к сыну «матери мальчика». Не сразу. *Она* за моим именем не гналась. Ждала событий.
>
> Честно могу сказать, что последующая любовь ее к С. Я. ни в чем не помешала ее любви ко мне. *Она его знала* и знала, что я для него. (Запись 1933 г. Копия, сделанная Ариадной Сергеевной и посланная в частном письме 1961 г. Из сравнения текста, опубликованного в книге Ариадны Сергеевны, с этим письмом создается впечатление, что ни тут, ни там Ариадна Сергеевна не цитирует записи матери полностью.— В. Л.)

О внешности и характере Мура в детстве многие отзываются отрицательно: «Цветаева сама его превратила в чудовище. Она его преступно баловала и перекармливала. Он был толстый и жуткий» (М).

Или: «Это был неприятный ребенок, несимпатичный».

И еще: «Я пошла смотреть на маленького Мура. Я уже наклонилась над кроваткой с деланной улыбкой. И представьте себе: на меня оттуда смотрело чудовищное, абсолютно взрослое лицо четырехмесячного ребенка» (Ц).

Эти свидетельства еще подчеркивают весь трагизм пережитой Мариной Цветаевой драмы. По мнению некоторых ее друзей в Москве в последние два года, Марина Цветаева до конца не расставалась с письмами К. Б., так как они после ее кончины оказались, вместе с другими самыми дорогими письмами, в архиве, который Мур привез из Елабуги в Москву (Ю). В скорби Марины Цветаевой, может быть, лучше всего разби-

рался Марк Львович Слоним, который с особой деликатностью о ней говорил:

> Марина Цветаева была скрытная. Играла роль и женская гордость. Полюбила она его *очень*. Были очень близкие отношения, настоящая и трудная любовь.
>
> Трудная из-за ее лояльности к мужу, к которому она питала любовь, всякую, и женскую, и материнскую... Она была ему верна всегда, даже когда была неверна физически.
>
> Просто эта любовь к К. Б. не вышла. «Попытка ревности» ведь обращена к нему. С точки зрения чисто любовной, это была безвыходная история. История для будущего. Она не хотела уйти от мужа, и К. Б. это знал. Он ее, видимо, не так уж любил. С самого начала в их отношениях была обреченность. Он был года на 2—3 моложе ее, но казался гораздо моложе, просто был менее зрелым. Он хотел жениться на Булгаковой. Конечно, это не могло быть Цветаевой приятно...
>
> Это был приятный, милый молодой человек. Умный? Не знаю. Я ведь его всего раза два видел. После того как он женился, он никак себя не проявил. Они решили расстаться, чтобы он мог жениться на другой. Это ее, конечно, полоснуло, и она это переживала страшно тяжело.
>
> Говорить она об этом с мужем не могла, говорила со мной и еще намеками, может быть, с Тесковой, но та была хоть и очень милая и хорошая, но все же старая дева с некоторой узостью взглядов.
>
> Со мной она любила разговаривать, читать стихи до их печатания. Подробно и конкретно о своей любви она не рассказывала, но ведь «Поэма горы» достаточно конкретна и ясна, она сама говорила: «Для меня эта гора — Голгофа».
>
> Она приѐзжала, чтобы провести со мной вечер и «уйти от всего: от семьи, от К., от стихов». Говорила еще: «Тяжелая жизнь, неудачная любовь».
>
> Потом, после его женитьбы, она его *никогда* не упоминала.

Вполне понятно, что в этот тяжелый для Цветаевой момент появилось несколько разных причин, побудив-

ших ее перебраться в Париж. Поначалу предполагалось, что она поедет туда одна, на поэтический вечер, но потом поехали в Париж Лебедевы, Андреевы, и она решила тоже ехать туда с семьей. Как говорила Ариадна Сергеевна: «Тогда начался очень долгий, или нам показавшийся долгим, период жизни во Франции».

В заключение чешского периода жизни Цветаевой на Западе я процитирую описание Веры Андреевой тех мест, которые Марина Цветаева тогда решила покинуть:

> Это было в Чехословакии, недалеко от Праги, в местечке, носившем довольно неблагозвучное имя Вшеноры. Это было очень красивое местечко, вернее, небольшой поселок, живописно растянувший свои аккуратные домики среди невысоких холмов. Там были все атрибуты чешской деревни: высокие заборы, за которыми прятались дома побогаче, именуемые виллами, маленький грязный пруд, весь зеленый, с плававшим по поверхности мутной воды гусиным пухом, невероятное количество самих гусей, злобно шипевших на всех прохожих и норовивших щипнуть за ногу. Резкое гоготанье гусей, хлопанье их крыльев по воде до сих пор стоят у меня в ушах, как только я вспоминаю чешскую деревню. Чешские хозяйки имели совершенно варварский обычай — они ощипывали своих гусей, так сказать, еще при жизни, и эти несчастные после такой процедуры имели чрезвычайно жалкий вид /.../
>
> Рядом со Вшенорами была еще одна деревня, менее аристократическая, без всяких вилл. Ее звали Мокропсы — мне даже казалось, что такого названия быть не может на самом деле, что это шутка, но — нет, многие знакомые жили там. Жители обеих деревень — среди них было много русских — ездили в город с одной и той же станции, вернее, полустанка, мимо которого, поднимая вороха бумажек и тучи пыли, ровно в пять вечера стремительно проносился скорый поезд Париж — Прага.
>
> Во Вшенорах жило много интересных людей: Евгений Николаевич Чириков с многочисленной семьей, замечательный врач и пианист Альтшуллер, еще какие-то деятели литературы и искусств.

При содействии моей матери, Анны Ильиничны Андреевой, организовывались даже некие музыкально-вокально-литературные четверги, где зять Чирикова играл на скрипке, Альтшуллер или моя мать — на рояле, а Марина Цветаева читала стихи. Ее стихи казались очень странными — я ничего не понимала, прямо-таки ни слова. Этот плачевный факт еще усилил мое недоверие к способностям поэтессы.

Настал день, когда моя мать не выдержала захолустной скуки и мещанского уклада жизни в чешской деревне, и вот мы проносимся в том самом скором поезде Прага — Париж мимо знакомого полустанка, обдавая бумажками и пылью стоящих на платформе людей, наугад машущих нам руками... С нами уехала и Марина Цветаева, крепко подружившаяся с моей матерью. (Из неизданных воспоминаний.)

Глава 5. ПЕРВЫЕ СЕМЬ ЛЕТ В ПАРИЖЕ (1926—1932)

Друзья. Отношение А.С. Эфрон к публикации писем М.Ц. С.Н. Гальперн о М.Ц. М.Ц. и Р.М. Рильке. Пастернак. М.Ц. и Г.В. Адамович. Публикации. Выступления. Литературная среда. Поэтические вечера. «Комитет» помощи Цветаевой. Квартиры и адреса М.Ц. Евразийство. Лето в Понтайяке. Внешность М.Ц. Характер, вкусы М.Ц. Поведение М.Ц. в обществе. Отношение М.Ц. к французской культуре.

С приездом в Париж у Марины Цветаевой завязались новые знакомства. Но и старые друзья ее не бросали. Несмотря на неравные отношения, Мария Сергеевна Булгакова, например, сохранила до конца к ней привязанность и после замужества и последовавшего затем развода ей помогала, хотя делать это было нелегко. Продолжала с ней дружить и долгие годы ей помогала Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова. К ней в дом и приехала в Париж Марина Ивановна с Алей и восьмимесячным Муром, 1 ноября 1925 г.

Тогда же Марина Цветаева познакомилась с князем Святополком-Мирским и через него с Саломеей Николаевной Андрониковой-Гальперн. В свое время Саломея Николаевна передала Ариадне Сергеевне Эфрон всю свою переписку с поэтом. Об этих письмах, которые должны в ближайшем будущем появиться в печати, Ариадна Сергеевна мне говорила, что эта переписка неинтересная, относящаяся исключительно к бытовым трудностям: продажа билетов на поэтические вечера, покупка ботинок или денежные вопросы и так далее. Вообще, Ариадна Сергеевна очень отрицательно относилась ко всякой публикации писем матери. Она мне часто говорила о том или ином лице, сыгравшем большую роль в жизни Цветаевой: «выдуманные отношения», «роман в письмах» или «незначительная переписка» и «вообще письма публиковать рано»:

> В Париж ездил Зильберштейн, потом он собирался издать том «Литературного наследства». Но эта серия публикует только неизданный мате-

риал. Наполнить перепиской (такого рода) том «Литературного наследства» не следует. Вообще надо сначала издать всю Цветаеву и все остальное, тогда можно будет издать и переписку, чтобы показать, что ее любовные отношения или увлечения были не просто человеческой слабостью или гадостью, а питали ее творчество. В ней была большая моральная строгость. Опубликование личных писем, бытовых записочек и т. д. может исказить ее творчество. А я Зильберштейна боялась, поэтому я и наложила запрет на переписку.

В частном письме в Париж Ариадна Сергеевна писала в 1960 г.:

Скоро выйдет книжечка мамы, но боюсь западных «почитателей», чтобы они не издали что-нибудь мамино, что повредило бы здешним изданиям (например, безответственные издатели «Лебединого стана»). Всякая такая акция задерживает ее здешние издания.

Такая позиция Ариадны Сергеевны в те годы понятна. Теперь же многие люди, отдавшие свои частные архивы «на родину», об этом горько сожалеют. Раньше Саломея Николаевна Гальперн придерживалась той же позиции, что и дочь Цветаевой, хранительница ее архива:

Моя переписка с Цветаевой очень интимная. В ней описывается быт и нищета эмиграции. Аля к ней относится болезненно, она о ней узнала от Зильберштейна, и ее отвез ей Эренбург. Конечно, эту переписку нельзя при живых людях публиковать на весь свет. Можно же и подождать 25 лет!

Вот как Саломея Николаевна рассказывала о своем знакомстве с Мариной Цветаевой:

Познакомились мы с ней, как только она приехала из Праги в Париж. Нас познакомил Мирский. Он был в нее влюблен. В то время, и вообще всегда, он постоянно был в кого-нибудь влюблен. А в ней было что-то гениальное /.../ Когда мы познакомились, Мур был маленький — я помню, во

время моего первого визита к ней она кормила Мура грудью. А Мирский был моим интимным другом /.../ Потом мы встречались в Париже с 1926 по 1937 г. Она предпочитала приезжать ко мне с Муром, это ее освобождало от быта /.../ О быте она не любила говорить. Она не показывала свою угнетенность, а старалась от быта отходить. Никогда мне она ни на что не жаловалась, так как у нас были недостаточно интимные отношения...

Вот что рассказывала Саломея Николаевна о дальнейшем общении:

У нас была настоящая интеллектуальная дружба. Мне она говорила: «Саломея, мы с вами не блестящие, мы блистательные!» И действительно, она была блестящая собеседница. У нее были очень живые мнения. У нас было много общих друзей, и про них она давала мне афористические высказывания /.../ О муже в письмах только одно или два упоминания. Даже Г. Струве думает, что она о работе мужа ничего не знала, она говорила о нем мало /.../ О своих произведениях она говорила, но только о законченных вещах. И в письмах она говорила о поэзии, но о своей работе меньше — скорее о практических вопросах: например, когда она перевела «Молодца», она очень хотела свой перевод издать, а «Ремесло» было издано с помощью Путермана /.../ У нее были страстные вкусы и иногда странные: Ростан, Рильке. Адамович считал, что у нее дурной вкус. На самом деле это, по-моему, неверно. Она любила героя романтической страстью. От романтизма у нее эти ляпсусы /.../ В своих отношениях с людьми она не боялась никого, и ей не было трудно; но так как она была непопулярна и ее никто не любил, то она была сдержанная. А говорила она очень хорошо. Когда она выступала, она не читала. Но готовилась она к выступлениям очень тщательно. В общении же она была доверчивая, не скрывающаяся, ей было легко. Конечно, она могла быть и резкой. Это был определенный человек с ясными мнениями и четкой мыслью. Она, кроме того, была очень остроумной.

> Я уехала в Англию в 1937 г. Теперь выяснилось, что мы переписывались с 1926 по 1937 г. Но почему-то нет писем 36-го и 37-го или даже 39-го годов. Почему — не знаю, так как никогда между нами не было охлаждения. Этот пробел в переписке я объяснить не могу. Я жила в Лондоне, в Челси, с 1938 г. Дом был бомбардирован, может быть, в это время часть писем пропала?

Как известно, к 1926 г. относится эпистолярное знакомство Марины Цветаевой с поэтом Рильке, через Пастернака, и создание поэмы «Новогоднее». Марина Цветаева жила уже тогда в Бельвю под Парижем и узнала о смерти Рильке от Марка Львовича Слонима. Об этом, столь знаменательном в творчестве Цветаевой событии, Ариадна Сергеевна мне тоже рассказывала:

> Цветаеву с Рильке свел Пастернак. Это был период пастернаковской волны. Основные ее стихи были тогда подвластны Пастернаку /.../ с Рильке переписка в стихах и какие-то потусторонние отношения.

О переписке Пастернака с Цветаевой Ариадна Сергеевна мне дала следующие пояснения:

> Переписка их почти вся сохранилась. Это не черновики, но и не подлинники, а записи в тетрадях. Она писала, например: «Получила письмо от Пастернака» — и тут же в дневнике начинала ему ответ. Писала о творчестве, о чувствах, о жизни, и таким образом можно узнать, какова была эта переписка. Приблизительные годы: 1922—1927, потом реже, потом снова чаще. Часть переписки с Пастернаком уцелела, а также часть писем Пастернака к Цветаевой. Они встречались в Москве. (Пастернак очень боялся юмора сестер Цветаевых, а папу он очень любил. Он умел слушать... А меня он просто любил.) Виделись они на похоронах Татьяны Федоровны Скрябиной, в 20-м году, вероятно. Где-то еще встречались, но как-то друг друга не заметили. Вслед за прочтением «Верст» Пастернак написал ей в 21-м или 22-м го-

ду, и так началась духовная, любовная и профессиональная переписка.

Отношения обоих поэтов Ариадна Сергеевна более пространно описывает в своей книге о матери. К тому же теперь есть французское издание переписки трех поэтов: Пастернак — Цветаева — Рильке, по-новому освещающее это литературное событие, о котором я, разумеется, могла расспрашивать только второе поколение участников. Например, мне в окружении Пастернака говорили:

> Конечно, Пастернак повлиял на нее, но то, что она от него восприняла, было не свойственно Пастернаку, не характерно для него.
>
> Например, у Пастернака стихотворение «Голос души» («Темы и вариации») очень повлияло на Цветаеву, тогда как Пастернак из всех последующих изданий его выкинул. Он искал другого в искусстве. Они с Цветаевой были родственны друг другу, но у них были разные цели и разные пути. Ее лирическая потенция в 30-х годах стала меркнуть, как и у Пастернака, как и во всем мире (У).

Вот как сам Борис Пастернак вспоминал свое знакомство с Мариной Цветаевой в Москве:

> Цветаева была похожа на Наполеона: круглое решительное лицо с правильными чертами. Все ее поступки, жесты, движения были целесообразны. Так она была воспитана: каждый ее час должен был быть занят определенным делом.
>
> Вначале я ее не оценил. Прочел ее стихи и както не воспринял их. Мы были знакомы, но не коротко. Помню, приходила она ко мне приглашать выступить на каком-то благотворительном вечере. (Из неизданных воспоминаний о Пастернаке.)

Помня о том, что Г. В. Адамович считал влияние Пастернака на Цветаеву губительным — он не раз на эту тему высказывался публично и в печати, — я наконец обратилась к нему самому, чтобы узнать, что он думает о Цветаевой. Известно, что отношения между

ними были по меньшей мере натянутыми. Были и статьи Цветаевой («Цветник», «Поэт о критике»), и конкурс «Звена», на котором цветаевское стихотворение было отвергнуто. Но Адамович играл весьма заметную роль в литературном Париже 20-х—30-х годов. Его статьи задавали тон общему мнению: многочисленные статьи о поэзии Цветаевой, в большинстве своем отрицательные, несомненно, сыграли решающую роль в общей оценке ее работы в ту эпоху. Вот как описывал Марк Львович Слоним отношение Адамовича к Цветаевой:

> Он ее не потопил, потому что она сама никогда не клевала. Но надо его знать и понимать. Это очень умный и тонкий человек и, как все мужчины с гомосексуальными тенденциями, очень чуткий к искусству. У него была аффективная односторонность по отношению к той среде, в которой он находился: для парижских поэтов все, что шло из Праги и Берлина, было заведомо плохо — провинция!
>
> Конечно, Адамович и Цветаева друг друга ненавидели: цветаевские стихи не приняли на конкурс малых поэтов, с другой стороны, Цветаева стала печатать «Цветник» — цитаты из Адамовича с отрицательной окраской. Были основания ненавидеть друг друга. У него было несколько неприятных историй и скандалов.
>
> Можно сказать, что его травмировала история с Набоковым: были как-то опубликованы стихи Набокова в «Современных записках». Адамович их страшно раскритиковал. Несколько месяцев спустя появились стихи с подписью «Иванов». Адамович их очень хвалил, а потом оказалось, что стихи были опять Набокова. В свое время это был грандиозный парижский скандал.
>
> С Цветаевой была подобная история. Он ею пренебрегал. Он в этом не виноват — она повсюду была как белая ворона.
>
> Адамович очень доверял Милюкову, а Милюков говорил, что Цветаеву не стоит печатать. Милюков ведь ей закрыл «Последние новости». Но из-за чисто поэтической распри вышли совсем практические результаты — вот что скверно. Хотя Адамович, не ценя ее, продолжал ее печатать в «Современных записках».

Вот как в 1966 г. Георгий Викторович Адамович сам мне рассказывал историю своих разногласий с Цветаевой:

> Я ее встречал сначала в Петербурге в доме Каннегиссера. Дом этот описан в очерке Цветаевой «Нездешний вечер». В этой семье была широкая жизнь. Отец был известным инженером. Я дружил с младшим сыном, Леонидом. Был еще его старший брат, Сергей, и сестра Лулу. Однажды я пришел к ним днем, и там была Марина Цветаева. Она сидела рядом с Есениным. Она читала стихи о Германии. Очень их головы были похожи. Она говорила: «Германия — мое безумие!» У нее всегда было желание идти против. Тогда Ахматова была звездой первой величины, а Цветаева приехала из Москвы. Цветаева Ахматову боготворила, а Ахматова была слегка к ней холодна, она вообще не любила поэтесс, помните ее эпиграмму:
>
> Я научила женщин говорить,
> Но Боже, как их замолчать
> заставить?
>
> Цветаева писала Ахматовой восторженные письма. Она говорила: «За одну строчку «Я дурная мать...» отдам все, что я написала и напишу!» Меня поразило, что когда в 15-м или 16-м году в Петербурге были напечатаны стихи Пастернака в альманахе «Весеннее контрагентство муз», они в кругу акмеистов произвели фурор. А когда я приехал в Москву и сказал об этом Цветаевой, она даже не знала, кто такой Пастернак. Так что он на нее тогда не произвел никакого впечатления.
>
> У Цветаевой дарование было не меньше, чем у Ахматовой. У нее был свой голос, но от Пастернака этот голос разбился. Ее стихи к Блоку чудные, потом она Пастернаку подражает, у нее эти губительные и ненужные «анжамбманы» /.../ Белый, например, признавал Цветаеву, состоялись встречи в Берлине, но близости между ними никогда не было.

А в 1926 г. архиепископ Иоанн Шаховской

издавал свой журнал «Благонамеренный», и в нем Цветаева напечатала статью «Цветник» с насмешками и выдержками из моих статей. Это испортило наши отношения. Потом был объявлен конкурс стихов при журнале «Звено». В жюри были К. Мочульский, З. Гиппиус и я. Было представлено 150 анонимных стихотворений, избрали 15. Среди отвергнутых оказались и стихи Цветаевой. Она тогда очень скандалила.

Потом у нас были другие встречи. У нас были литературные и внешне хорошие отношения. Зинаида Гиппиус, например, ненавидела Цветаеву. А я — нет. Марк Львович рассказывает, что на одном вечере «Кочевья» З. Гиппиус смотрела в упор на Цветаеву через лорнет, просто неприлично!

Я, помню, получал много писем с непонятной подписью о разных своих произведениях и статьях, хорошие, милые письма. Помню одно интересное письмо о Жи́де; я тогда не знал, кто мне его написал, и не сохранил его. Затем пришло одно письмо от Цветаевой, и оказалось, что это тот же почерк. (Письма Цветаевой теперь хранятся в Америке, в Йельском университете.)

Друзей у нее было мало, была, например, такая Гингер, жена Присманова. Так она ходила с привязанной к пуговице записной книжкой и записывала стихи. Потом Цветаева уехала. У нее мало что вышло за границей. Она печаталась в журналах «Воля России», потом в милюковских «Последних новостях». Милюков прекратил ее сотрудничество за статью о Маяковском, с евразийцами у нее были чисто личные отношения, а Мирский писал о ней в своей антологии: «безнадежно распущенная москвичка».

У нее был очень трудный характер — заносчивость феноменальная. Она сама виновата в своей судьбе. Я помню, она читает доклад и цитирует Георгия Иванова: «Красивая и вульгарная Цветаева». Она говорит: «Красивая? Не знаю. Может быть. Вульгарная? Никогда!» В ней было что-то причудливое и «ridicule» (смешное, нелепое).

В этом рассказе угадывается свойственная Цветаевой запальчивость. Но, сравнивая его с разными опу-

бликованными свидетельствами Георгия Викторовича, нельзя не заметить, что даже в печати, даже в гораздо более поздних своих выступлениях, он не может преодолеть своей личной исконной враждебности к поэту. Для примера я могу процитировать еще одно малоизвестное высказывание Г. В. Адамовича: заключение его радиопередачи, записанной в 1969 г. для «Радио Свобода», в серии «Дневник писателя» (№ 60):

> По природе она была выше, чище, свободнее той позы, которую раз навсегда усвоила и которая в житейских несчастьях ее, вероятно, утешала и поддерживала. В будущее свое признание она твердо верила. Что же, если теперь находятся у Цветаевой поклонники, способные без колебаний принять каждое ее слово, порадуемся за нее и за них. Но тех, для кого многое в цветаевских писаниях было и остается неприемлемым, они не переубедят.

Такое отношение к Цветаевой одного из ведущих критиков русской эмигрантской литературы того времени оказалось для нее роковым. Было, конечно, большое количество публикаций во многих журналах разных направлений. Их Марк Львович Слоним для меня перечислял:

> Деньги были только от печатания. Сергей Яковлевич тоже случайно печатался у евразийцев. Она печаталась много в «Современных записках», издателем их был Вадим Дмитриевич Руднев. Это был прямой и честный человек, но он не любил стихов. Были «Последние новости» и Милюков, но там прекратили печатать ее, в «Русских записках» она печаталась немного. До 1932 г. была «Воля России», которая потом прекратилась за неимением денег. Тогда Владимир Иванович Лебедев помещал ее вещи в каких-нибудь сербских журналах, хлопотал и устраивал вечера, чтобы достать денег.

Тем не менее в Париже Цветаева не была общепризнанным поэтом, и ее выступления не могли обеспечить средства на существование семьи. Отсюда и ее жалобы

и требования в письмах, постоянные заботы об устройстве публичных чтений своих произведений, а также организация среди друзей и знакомых материальной помощи. Но, как известно, пока существовала «Воля России», положение Цветаевой и ее семьи было сносное. Одна болгарская поэтесса вспоминает литературный вечер в Париже весной 1928 или 29-го года:

> Она читала стихи. Было много народу. После вечера я подошла к ней, всего на несколько минут, поговорить. Она не знала, что ее стихи переводятся на болгарский язык. Это было после смерти Блока, и я переводила ее «Стихи к Блоку» (которые вышли в Берлине). Мои переводы потом вышли в Софии /.../ На вечере было много желающих с ней поговорить, поэтому было мало времени. Она производила впечатление очень бодрой и мужественной женщины. Я помню ее короткие волосы и «бретонский» вид (М).

Однако Мария Сергеевна Булгакова говорит:

> Интеллигенция ее не принимала всерьез. Так как ее стихов не ценили, то видели в ней только высокомерие и противоречия.

А другой современник объясняет:

> В Париж ее потянуло из-за престижа французской столицы, которая тогда оказалась новым центром русской культуры. С парижской группой поэтов она, конечно, не сошлась. Георгий Иванов — хороший поэт, но внутренне очень бедный. Адамович ее не любил, он тоже тогда был главный критик и мэтр, а она была этим возмущена. Она говорила: «Адамовичу моим дерьмом питаться»... А ведь с ней было очень интересно (Г).

Марк Львович Слоним вспоминал и былое отношение к ней в Праге:

> Правые ее не приняли за то, что она печаталась в журнале «Воля России», журнале эсеров, и за то, что, как они понимали, она была гораздо револю-

ционнее, чем те, кто прикрывается революционными лозунгами, что то, что она совершает, именно и есть та революция слова и духа, о которой забывают у нас на родине. А левые не прощали ей того, что она воспевала белую мечту. Ведь ее стихи, многие, говорили о царской семье, о России. Они также пели в 1923 г. гимны выходцам из Белой армии.

Потом он рассказывал мне о поэтических вечерах Цветаевой в Париже:

> Поэты не ходили слушать Цветаеву. В этом виноваты поэты «парижской школы». Это были меланхолики, акмеисты, а она — полная жизни и напора. Она не могла им нравиться. Адамович ее совсем не ценил, Бунин считал ее «растрепанной», только Ходасевич ее ценил.

По этому поводу Мария Сергеевна Булгакова мне тоже говорила:

> Она читала стихи в соответствующей обстановке. Устраивались вечера. У жены писателя Леонида Андреева, Анны Ильиничны, в Кламаре. Собирался тесный кружок евразийцев, и Прокофьев иногда играл. Значит, это было в 28—29-м году /.../ Помню, однажды она читала поэму о Линдберге — я ничего не поняла, читала и о царской семье.
>
> Евразийцы просто смеялись над ней, особенно Сувчинский. А еще над ней многие издевались и совсем ее не ценили. Я помню, как однажды завязался спор, и Карсавин ее довел до слез.
>
> На поэтических вечерах всегда было очень мало поэтов. Читала она хорошо, не волновалась, царила. Но всегда было жалко ее, что зал такой маленький, грязный, неподходящий и что никто ее не ценит.

В более позднем воспоминании:

> На выступлениях ее было тяжело. Видно было, какая она несчастная и вся издерганная (Ь).

В других воспоминаниях о поэтических вечерах описываются чтение стихов Цветаевой, ее манера выступать и вообще держать себя на сцене. Одни вспоминают певучесть ее дикции в юности, другие говорят: «Марина Цветаева плохо читала стихи. Она выделяла только ритм и рубила» (З) или: «Она читала стихи, и, увы, она их лепетала, она совершенно не умела читать» (Ю). Мария Сергеевна Булгакова вспоминает: «Читала она нараспев, подчеркивая ритм и особенно паузы и тире /.../ Читала медленно, раздельно. Я, читая, невольно ей подражаю». А Марк Львович рассказывал:

> Читала она скороговоркой, с остановками и с дыханием. В ее чтении выступало, что связь слов должна быть очень ясна...

и для примера цитировал стихи о Сонечке. В другой раз он объяснил:

> То, что она рассказывает в «Прозе» (Вечер поэтесс), это было раньше, в 1916 г. Она, конечно, испытывала большую молодую уверенность. А вообще она публики боялась, волновалась. Она была человек дикий. Конечно, в ней храбрость была, в небольшом кругу знакомых, а в незнакомой среде она больше курила и молчала. Кроме того, у нее не было привычки к светской жизни. Не то, что она не умела себя вести «в хорошем обществе», но у нее не было светских привычек, она предпочитала находиться в избранном кругу.
>
> А чтение в гостиной, в кругу парижских дам, было для нее мукой /.../ Надо было приглашать богатых дам и т. д., и в этот круг приводить Марину Цветаеву было просто несчастьем. Я помню, как перед одним вечером, кажется, в зале Ла Каз, она страшно волновалась. Я ее успокаивал и говорил: «Читайте в туман, ведь вы же близорукая!»

Я несколько раз слышала, что существовало нечто вроде «Комитета помощи» Цветаевой, но собирать сведения о нем оказалось трудно ввиду скромности участников этого начинания (об этом см. Приложение 2).

Марк Львович Слоним объяснял, что настоящего комитета помощи вначале не было вовсе, отчасти пото-

му, что гонорары из журналов, где она печаталась, поступали регулярно. «Позднее был организован комитет помощи Марине Цветаевой. И я обвиняю всю русскую эмиграцию за ее физическое захирение! А умственного захирения не было».

Другой человек вспоминает:

> Вы знаете, как устраивается такого рода помощь! Нерегулярно, капризно. Например, Саломея помогала. Первый муж ее был Смирнов, потом она вышла замуж за Гальперна. А он был присяжным поверенным в юрисконсульстве Временного правительства. У него были средства. Ну и Саломея стала много помогать. Цветаева всегда жаловалась, что ей никто не помогает. Действительно, помощь была очень плохо устроена, а надо было помочь! Бедность была ужасная /.../ Я пытался ее ввести во французские издательские и писательские круги, но из этого тоже ничего не вышло. Она не умела подлаживаться под заданный тон. Да и вообще «elle n'était pas sortable» (ее нигде нельзя было показывать) (Г).

О помощи Цветаевой Саломея Николаевна говорила очень неохотно. Сначала она спросила меня резко: «Откуда вы об этом знаете?», а потом объяснила:

> Помогала Анна Каллин. Это не было благотворительное общество, а просто помощь, частным порядком: я давала 500 фр., другие давали по 100, всего получалось 1000 фр. в месяц, до 1936 г. иногда и меньше. Глеб Струве обещал об этом не говорить.

Марк Львович Слоним эти сведения пополнил:

> Был не комитет, а просто группа людей, которые давали деньги: Саломея, Ольга Юркевич, еще русская писательница, католичка, я... А в другие периоды таких групп не было, тогда помогали отдельные лица.

Я от многих лиц слышала, что помощь Саломеи Николаевны Гальперн была существенной, помогала

и Р. Н. Ломоносова, до того момента, когда, по семейным обстоятельствам, ей это стало невозможно (то есть с весны 1928 до осени 1931 г.). По воспоминаниям того времени, для того чтобы прожить скромно, но сносно, семье в 3—4 человека нужно было около 2000 фр. в месяц. Многие русские эмигранты работали тогда водителями такси, в магазинах грузчиками, на заводах, мыли стекла, и, если работать усердно, можно было заработать 1200—1500 фр. в месяц. В момент пресловутых «Алиных шапочек», упомянутых Цветаевой в письме Ю. П. Иваску, дочь Цветаевой зарабатывала около 600 фр. в месяц, чешские деньги, а после них гонорары, приносили от 600 до 1000 фр., остальные деньги поступали или от «комитета», о котором была речь выше, или от отдельных благодетелей[8]. Об этом периоде вспоминала и Анастасия Ивановна, приезжавшая в Париж навестить сестру в 1927 г.:

> Они сидели в своем Медоне и ни с кем не общались, Марина мыла посуду, обливаясь слезами, и писала стихи /.../ У Марины есть такое письмо 28-го года: «Дети мои фарфоровые. Мур, породы меня. Иду варить овощи. Мяса мы не видим никогда». А кто помешал, чтобы они были сыты? Борис Леонидович Пастернак! Горький хотел ей помогать, анонимно, в 1927 г., а Пастернак помешал. Пастернак меня встретил, когда я приехала от Горького. Я с ним поговорила. Он согласился помогать, но потом почувствовал неловкость быть передатчиком и написал об этом Горькому, а сам не помогал, потому что ему было не до того. Он посылал деньги только когда мог. Я этого не знала, а Пастернак не помогал. А Горький не стал посылать денег, раз Пастернак обещал это делать.

Интересны соображения, высказанные на эту тему одним из свидетелей и участников этих событий и членом литературного мира того времени, З. А. Шаховской:

> История литературы требует беспристрастия и уважения к себе. Письма и дневники старших писателей первой эмиграции читаются, как жалобная книга. Они страдают от бедности и от отсут-

ствия читателя. Жалуются и Бунин, и Ремизов. Им *все* помогали: и частные люди, и организации, и государства. Так же помогали и Цветаевой. Бедность — как у всех: массового читателя у нее не было. На поэзию никто не жил и не живет. Например, участь Г. Иванова можно сравнить с участью Франсуа Вийона. Но винить за это эмигрантов нельзя /.../ Критика была, может быть, к ней жестока, но и она их не щадила... (Из лозанского сообщения, 1982 г.)

Относительно нищеты в Париже Мария Сергеевна Булгакова утверждала, что вначале ее не было: «Марина печаталась, раз в год устраивались поэтические вечера». Кроме собственных выступлений, Марина Цветаева принимала участие в разных литературных вечерах, до 1930 г. минимум раз в год. Одно время у нее даже работала платной домработницей родственница семьи Андреевых. Когда Бунин получил Нобелевскую премию, он в свои расчеты вписал: «1000 фр.— Цветаевой». Это, может быть, немного, но это свидетельствует о том, что материальная помощь семье Цветаевой была для многих неизменной заботой. В одном письме Л. Шестова, 1927 г., также упоминается о переданных Цветаевой 1000 фр. Вот еще свидетельство: «В Париже я помню постоянные разговоры родителей о том, как Марине Цветаевой трудно жить. Когда устраивались какие-нибудь балы или вечера, папа всегда заботился о том, чтобы ей дали как можно больше денег» (Ь).

Одна знакомая вспоминает о том, что, будучи из богатой семьи, она смогла благодаря вывезенному родителями из России состоянию обеспечить 36 семейств (!), и Цветаева была в числе тех, кто регулярно получал от нее деньги (М).

А бедность была, конечно, у всех, кто приехал ни с чем. Помогали друг другу, жили очень скромно, зарабатывая кто чем умел, и описание ежедневной еды в письмах Цветаевой никого из парижан первой эмиграции не удивляет. Разница в том, что, как известно, Цветаевой не удалось выработать с бытом пастернаковскую гармонию. О ее быте вспоминают все, и все ужасаются. Но об этом подробнее речь впереди.

Квартиры стоили, естественно, дешевле в предме-

стьях Парижа, чем в центре города. Оттого Цветаева в эмиграции постоянно жила за городом.

После Чехословакии Цветаева сначала живет у Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой, в довольно невзрачном новом районе, на севере Парижа, затем, после поездки в Лондон в марте 1926 г., уезжает к морю в Сен-Жиль на все лето (с конца апреля до конца сентября), потом устраивается на зиму в Бельвю.

Весной 1927 г. Цветаева перебирается из Бельвю в Медон. В Медоне, на разных квартирах, но в той же части этого предместья она прожила до весны 1932 г., сначала на рю Эро, затем на Авеню-де-ля-Гар и, наконец, на улице Жанны д'Арк. В это время состоялись разные поездки, например, в 1928 г. в Понтайяк, на океан, в октябре 1929 г. в Брюссель и в Савойю в сентябре 1930 г. Медонские квартиры Мария Сергеевна Булгакова считает лучшими из всех тех, которые снимала Цветаева:

> У нее всегда все было выворочено, но в Медоне было лучше всего: одно время три комнаты с кухней и ванной. Только Марина сама ничего не умела делать. Почему-то в одной из квартир, в середине ее комнаты стояла огромная "poubelle" (помойное ведро). Одно время у нее работала родственница Андреевой, убирала квартиру, мыла полы, но не очень долго /.../ Вообще Марина ходила грязная, с грязными ногтями, руки изрезанные и немытые, выгребала угли из печки голыми руками /.../ одевалась смешно и нескладно, стриглась сама, дома. Поэтому у нее на самой известной фотографии так нескладно лежат волосы. А до того, как она поседела, у нее были красивые волосы.

Хотелось бы думать, что подробность про помойное ведро прибавлена Марией Сергеевной «для красного словца», но Саломея Николаевна, которую уж никак нельзя было обвинить в недоброжелательности к Марине Цветаевой, тоже говорила:

> В доме у них грязь была ужасная, вонь и повсюду окурки. Среди комнаты стоял громадный мусорный ящик. Мне не хотелось ездить к ней, чтобы ей не было неприятно.

Другая очень скромная подруга и большая помощница Цветаевой, вспоминая Медон, рассказывает:

> Мы один год жили вместе, в одном доме. Квартира была большая, делили ее пополам... Потом они переехали на рю Эро, в тот дом, куда к ним приезжала Ася. Это был дом за школой, на втором этаже (Е).

Один знакомый этого периода говорил мне:

> В доме у них была поразительная неряшливость и запущенность, какая-то недамскость. У нее в этом был даже какой-то запал и мазохизм: вот какая я! Черные от угля ногти — она клала уголь в печь руками. Какая-то квартира без порога, прямо с улицы в переднюю. Чай был жидкий и невкусный, вроде того, что мы пьем теперь в Москве, совсем как пипи (Ю).

И еще: «Вообще она была удивительно неприспособленная. Дома у нее всегда был страшный бедлам» (Ь).

Вспоминая лето на Атлантическом океане, Мария Сергеевна Булгакова говорила, что «в Понтайяке Марина расцвела». Об этом лете вспоминают и другие знакомые. Там оказалась тогда целая компания русских и среди них немало евразийцев.

Один человек, близкий к среде парижских философов первой эмиграции и евразийцев, рассказывает:

> Думаю, что в течение 1926 или в самом начале 1927 г. в жизни семьи Эфронов наступила большая перемена в связи с переездом из Праги в Париж. Туда в это время перебралось также и немало русских из Берлина, в их числе семьи Бердяева и Карсавина. Около каждого из этих философов, которые поселились в Кламаре, образовался круг почитателей и единомышленников. Карсавин в это время очутился во главе обновленного «парижского», удаляющегося от «пражского», евразийства.
>
> На это дело нашлись, кажется, какие-то англосаксонские меценаты, и мне думается, что в связи с этой «конъюнктурой», по крайней мере отчасти

и со стороны Сергея Яковлевича, а не Марины Ивановны, состоялся этот переезд семьи Эфронов (тут бы полезные сведения мог дать Сувчинский) в Париж. Не знаю, был ли Сергей Яковлевич в большой связи с пражскими, возглавляемыми Петром Николаевичем Савицким, евразийцами, но в Париже он стал активным членом кламарского кружка нового «евразиарха» (как его называл мой брат), Карсавина. Также не знаю, в какой мере Марина Ивановна была близка к евразийским увлечениям своего мужа. Во всяком случае, в карсавинском доме (куда я повадился ходить зимой 27/28 годов, перебравшись из Праги в Париж) мне ее встречать не случалось. Думаю, что все это оставалось за пределами ее эгоцентрического мира. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Другой современник говорит:

Евразия была сначала политико-философским движением. Потом оно было целиком инфильтрировано красными. Об этом в точности знает Сувчинский, но он больше не хочет ничего рассказывать. Он живет настоящим и не любит вспоминать прошлое (Ш). (Прибавлю, что и мне Петр Петрович Сувчинский говорил то же самое.— В. Л.)

У меня хранится фотография пляжа в Понтайяке, на которой сняты вокруг Цветаевой: Вера Леонидовна Андреева, Марианна Карсавина, Савва Андреев, внук Шаляпина — ребенок, жена Бориса Шаляпина, Аля Эфрон, Вера Сувчинская (урожденная Гучкова), сын Цветаевой Мур, Сергей Яковлевич, Лев Борисович Савинков, Борис и Владимир Лосские, Клавдия Макаева.

Вот как вспоминает это лето один из тогдашних «дачников»:

Со всем неоевразийским кругом мы прожили в тесном и дружеском соседстве летние каникулы 1928 г. на берегу океана, в Понтайяке /.../ Туда в 1928 г. приехала Вера Викторовна Мягкова с дочерью Лидией, сыном Геннадием и племянником

Львом Савинковым, все семейство Лосских: профессор Николай Онуфриевич с женой, тещей и двумя взрослыми сыновьями, Лев Платонович Карсавин, а за ним и евразийцы: П. П. Сувчинский с женой Верой Гучковой (дочерью министра), Василий Эмильевич Сеземан с сестрой, но без жены и детей, молодой Иванов, Сергей Яковлевич, который приехал один, а позднее к нему приехали Марина Цветаева с детьми и няней. Позднее к ним приехали дети Леонида Андреева: Вера, Савва и Валентин.

Дальше «дачник» рассказывает:

С Эфроном мы, молодое поколение, очень быстро сошлись, и он нас сразу же к себе расположил своим общительным, добрым и явно очень деликатным и благородным характером и даже своею — давно еще, в Праге, нами подмеченною — наружностью «свободного художника-декадента» 1910-х годов. Он был очень живым собеседником и талантливым остроумным рассказчиком — о виденных и пережитых вещах за первую мировую и гражданскую войны, константинопольское голодное существование и, особенно, за хорошо нам известный пражский период эмигрантской жизни. Эфрона оценили наши родители, и когда на снятую ими дачу прибыла Марина Цветаева с детьми, он привел всю свою семью к нам в гости. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Были также прогулки, сидение на пляже, купанье:

С Мариной Цветаевой мы общались немного, хотя на пляже вся русская компания, и она среди нее, сидела вместе, и иногда нам случалось гулять в ее обществе. Из ее высказываний и рассказов стоит в моей памяти главным образом следующее. Вот, например, фрагмент устных воспоминаний о жизни русской колонии в Горных Мокропсах и Черновицах, году в 1924. Там где-то жила тогда семья Евгения Николаевича Чирикова. Жена писателя, Валентина Георгиевна, в молодости актриса, была, как мы позже узнали, милейшим и нелепейшим созданием. Говорила она с рельеф-

ными интонациями и такой же мимикой. Была, однако, тоже не лишена некоторых мегаломанных заскоков, когда дело касалось, как ей казалось, чести ее дома, русской литературы, коей ее супруг был представителем, России как покровительницы славянства, русской эмиграции как ее подлинного воплощения и прочего подобного. Вот о таком недоразумении, связанном с этой чертой характера Валентины Георгиевны, рассказала нам в лицах Марина Ивановна. Вторым действующим лицом в ее повествовании была другая милейшая и благороднейшая особа: Анна Антоновна Тескова, человек большой литературной культуры, знавшая теоретически хорошо русский язык и, можно сказать, отдавшаяся служению пражской русской интеллигенции. Наша семья хранит о ней самое дружеское, благодарное воспоминание, а о дружеских ее отношениях и переписке с Мариной Цветаевой имеется целый печатный труд Вадима Морковина (молодого члена пражского «Скита поэтов» в 1930-х годах). Предполагаю, что из этой переписки явствует многое, относящееся к разным заботам и услугам, оказанным Анной Антоновной Марине Цветаевой, которая принимала их с должной признательностью. То же, наверное, можно было сказать и о Чириковых, но, как мне кажется (может быть, несправедливо), в мыслях Валентины Георгиевны это была естественная и «должная» дань чехов русской культуре.

Итак, году в 1924-м милейшая Тескова собиралась оказать Чириковым какую-то очередную услугу с помощью какой-то своей приятельницы. Но осуществить это дело не смогла из-за несчастного случая с этой приятельницей, которая упала с велосипеда и сломала себе не то руку, не то ногу. То, как Тескова пришла рассказать об этой помехе, со всеми извинениями, Чириковой, осталось у меня в памяти из рассказа Цветаевой, необычайно талантливо и «подлинно» передававшего взволнованные интонации и чешский акцент Анны Антоновны, сообщавшей о том, как ее приятельница «упала с колеса и разломилася».

Из тогда совсем недавнего прошлого, связанно-

го с жизнью Эфронов в Кламаре или Медоне, помню ее сообщение об одном ужасном случае: одна русская дама купила своей дочери или двум дочерям китайские бусы у китайской разносчицы — «коробейницы». Вскоре после этого у девочки, или обеих девочек, появились на шее болячки. Оказалось, что они обе заразились проказой, и их должны были сослать в какой-то лепрозорий — на край света. Тоже вспоминаю рассказ, относящийся к более далекому прошлому — ко времени ее отрочества, то есть рассказа не было, а было только воспоминание о стеснительных длинных платьях и юбках, в которых нельзя было, по тогдашним правилам приличия и понятиям о целомудрии, садиться, кладя ногу на ногу. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Вот еще одно «пляжное» воспоминание:

Мы, например, очень любили на пляжах загорать. Я становилась совершенно шоколадного цвета. Однажды Мур стоял передо мной, и я сказала: «Отойди, ты мне заслоняешь солнце». Марина тогда резко возразила: «Как вы можете сказать такую вещь такому солнечному созданию, как Мур». Мура она обожала (Ц).

Как известно, Марине Цветаевой почти каждое лето на многие месяцы удавалось уехать из города. Она забирала с собой Алю и Мура, а Сергей Яковлевич обычно приезжал позднее. Если уехать было невозможно, тогда были прогулки по медонскому лесу. Все помнят, какой она была замечательный ходок. На фотографиях медонского периода она часто выглядит довольной: на одной, например, она держит своего круглого Мура за руку, Аля, подросток, стоит рядом, и у нее довольно скрытное выражение, а у Марины Цветаевой вид скорее счастливый. На другой фотографии Марина Цветаева снята вполуоборот и тоже улыбается. Мур на ней — крупный пятилетний мальчик. Марина Цветаева в клетчатой юбке, в туфлях «скороходах» на плоских каблуках, талия у нее стянута поясом, волосы короткие. Фотография подчеркивает ее простые вкусы на одежду, о кото-

рых многие помнят: «Это был ее особый стиль, вне моды, но не лишенный своей элегантности и красоты» (Б).

В эти годы Марина Цветаева уже начала седеть, но держалась прямо, была стройна и худа. Вот как разные знакомые описывают ее внешность. Например, Вера Андреева:

> Всегда подтянутая, энергичная, она двигалась легким упругим шагом, как будто бы не шла по сыпучему вязкому песку, а, невесомая, летала, чуть прикасаясь к нему смуглыми ногами /.../ Когда я увидела Марину Ивановну на пляже, я в первый раз поняла, как ей идет ее имя — Марина, что значит «морская». Она лежала на песке, опершись на локоть и прищурившись, смотрела на море — глаза у нее были такого же цвета, что океанские волны, серо-зелено-голубые и такие же диковато-загадочные и своенравные. Серовато-пепельные волосы удивительно гармонировали с цветом блекло-синего выцветшего на солнце купального костюма /.../ И опять я ее вижу лежащую на песке — вокруг нее знакомые, все что-то говорят, Марина Ивановна возражает, делая быстрые жесты своими нервными руками и изредка бросая короткие, как удар ножа, сине-зеленые взгляды на собеседника. (Из неизданных воспоминаний.)

Вера Андреева также вспоминает о «неправдоподобном» загаре всей семьи в Сень Жиль сюр Ви: «Это были какие-то негры-альбиносы, с выгоревшими почти добела волосами и черными лицами, на которых ярко светились светло-голубые, почти белые глаза и такие же белые зубы». (Там же.)

Другой знакомый говорит:

> Я был мальчишкой, а она дамой лет за сорок. Другие жещины в этом возрасте выглядят дамами, а она выглядела уже пожилой женщиной, сильно постаревшей, она уже не обращала внимания на свою внешность (Ю).

Следующее описание более конкретно: «Она — всегда в переднике, тонкая, подтянутая, она очень гордилась своей осиной талией» (Б). Мария Сергеевна Булгакова же описывает внешность Марины Цветаевой с неприязнью:

> Одевалась она отвратительно, стригла волосы сама. В ней была поразительная неприспособленность, неумение ничего делать. Одно время она стала краситься, так это был тихий ужас, одно пятно тут, другое там!

О пражской фотографии 1924 г. в клетчатом платье, включенной в однотомник 1965 г., Мария Сергеевна мне сказала: «Вот здесь она на себя похожа». Еще одно описание:

> Смотрела она не прямо, а всегда как-то вкось, держа в сторону папиросу /.../ У нее была очень стройная фигура. Аля была полнее, чем мать. Марина была худая, поджарая /.../ Изящная, тонкая фигура, а еще она носила корсет. Загорала она легко и быстро. У нее были очень светлые глаза, ведьминские. Большие сильные руки в перстнях. Она очень любила серебро. Легкая походка. Она очень любила ходить... (Б).

> Марина Ивановна была одета всегда предельно скромно, в некое подобие «диндерли клейд» — стилизованная одежда немецких девушек-подростков. Это — платье, из ситца или другой, похожей на ситец, материи. Оно сшито в талию с широкой сборчатой юбкой и четырехугольным вырезом, рукава короткие. Это платье удивительно шло Марине Ивановне — короткая юбка не скрывала стройных очертаний ее загорелых ног, на сухощавых мускулистых руках всегда были надеты широкие серебряные браслеты, под цвет ее серебряно-пепельным волосам, стриженым, с короткой челкой. Гладкая смуглая кожа в сочетании со светло серо-зелено-синими глазами делала Марину Ивановну очень интересной женщиной. (В. Андреева. Из неизданных воспоминаний.)

Таким образом, имеются противоречивые отзывы: «интересная женщина» и «неопрятность, сравнимая с беспорядком в доме», «обожженные углем пальцы», «грязные ногти» («хотелось бы посоветовать ей купить мыльца») и — «стройность», «смуглость» «красивых рук и загорелых ног» и так далее. Описание внешности очень характеризует самих авторов описаний — то, что им кажется важным и чего они не замечают, а также и их личное отношение к описываемому лицу. Поэтому здесь последнее слово хочется дать Марку Львовичу Слониму, который по-настоящему ценил и любил Марину Цветаеву. Я спросила его однажды, находил ли он Марину Цветаеву красивой. И вот что он мне тогда сказал:

> О красоте ее? Это было больше, чем красота! Она была легкая, стройная, у нее были замечательные глаза, сжатый, довольно большой рот, сильный овал лица, легкая походка... чудная улыбка!

О том, что у Цветаевой был трудный характер, что с ней было тяжело из-за ее частой неблагодарности или жесткости в обхождении с людьми, помнят все, даже когда стараются об этом умалчивать. «Нрава она была нелегкого, даже для самой себя»,— вспоминает один из ее знакомых (М).

Одной из ее заметных, хоть, может быть, и незначительных, черт был ее вкус ко всему старомодному: она любила старую учительницу, описанную в рассказе «Твоя смерть», старые вещи, старые сказки (Б). Вспомним, как долго она придерживалась старого календарного стиля, уж не говоря о старой орфографии:

> Помню подаренный ею брату на именины экземпляр недавно перед этим вышедшего сборника ее стихов «После России» с посвящением, датой и указанием места «Понтайяк» кириллицей, что меня удивило. А теперь вижу, что это было одним из проявлений ее непреклонного стилистического пуризма, как и ее старая орфография вплоть до фиты и ижицы (Ж. Из неизданных воспоминаний).

5—1244

Возможно, в связи с этим у Цветаевой была слабость к знатности и вельможам. Например, одна ее приятельница, которая помогала устроить очередной поэтический вечер, очень удивилась, когда Цветаева ее специально попросила пригласить великого князя (М). Но это осталось у нее с юности. Всегда было желание идти наперекор, вплоть до склонности шокировать самых добрых людей неожиданной или неприличной выходкой.

Вот что рассказывает человек, особенно пострадавший от ее крутого нрава:

> Друзья хотели ей помогать, но это было просто невозможно и, по словам А. И. Андреевой: «Сели люди на голову, а потом на голову же какали». У Али неправильная оценка дружбы. Семья моя была бескорыстна, у мамы моей оставалась вся романтика дружбы, несмотря на неоднократные свинства. А высокомерие и гордость неприемлемы, *даже* от поэта /.../
>
> Цветаева хотела, чтобы вокруг нее ползали. Высокомерие ее было невозможно. Пастернак очень жестоко выразился по поводу ее самоубийства, говоря о ее презрении к маленьким вещам. Он за это с ней очень суров.
>
> Конечно, женщине в этом смысле труднее, чем мужчине, быт одолевает, Пастернаку самому было легче (Б).

Даже одна очень большая «помощница» Цветаевой, немногословная и добрая женщина, и та говорит: «Она была жесткая. У нее был трудный характер. Мы с Катей (Еленевой) ей помогали, убирали квартиру, готовили, мыли полы, а она этого не замечала» (Е). А Мария Сергеевна Булгакова вспоминает: «Она хамила всем... Изменяла мужу... Была несправедлива к дочери. Не хамила она одному Карсавину, потому что она его боялась. А во время войны Германии с Россией она отстаивала Германию. У нее вообще был неистовый характер /.../ Можно сказать, что в человеческих отношениях она была груба, игнорировала элементарные правила человеческого обхождения» (Е).

Есть по этому поводу еще одно вскользь брошенное замечание: «Следует сделать особое исследование об аморализме в русской литературе, ибо есть такая тема,

и Розанов, и Цветаева к ней имеют самое прямое отношение /.../ Жена Макса Волошина говорила, что Анастасия Цветаева беззаконница, а о Марине сказала бы, что не беззаконница, а безобразница» (Р).

С близкими друзьями, Черновыми, была у Цветаевой такая игра «в гнусность»: были «гнусности Сергея Яковлевича и Али», и сама Марина Цветаева говорила о некоторых своих поступках: «Это я из гнусности!» Существовал «тот Сергей Яковлевич» и «Аля-Тэлэ»:

> Сергей Яковлевич был симпатичный, всем известный знакомый. «Другой» или «тот» Сергей Яковлевич — это было второе, выдуманное лицо — немного арогантный, серьезный и важный мужчина. Так же была вторая, или «другая», выдуманная Аля, которая говорила на телячьем языке — теленок — тэлэ, и плохо выговаривала слова... Это были наши выдумки и веселые шутки среди друзей (Б).

Об этой игре упоминается и в некоторых письмах Цветаевой к Черновым.

Вот что рассказывала М. С. Булгакова о поведении Марины Цветаевой в обществе:

> Она не была жизнерадостной, в том смысле, что она не смеялась, не шутила... Но когда подберутся подходящие слушатели, она очень интересно говорила. Она любила больше ходить к другим, чем принимать гостей у себя, из-за домашней обстановки. Дома же была страшная грязь. Однажды Сережа пришел к нам и жаловался на блох.
>
> В подходящей атмосфере ее слушали, она тогда говорила много и о чем угодно. Тогда она была остроумна и интересна. Природу она очень любила. Красоту жизни она замечала, видела и ценила.

Вот еще рассказ медонской знакомой:

> Отношения у нас были совсем бытовые. Я с Мариной была «на вы». Она к нам хорошо относилась, но близости не было. Это не была подруж-

ка. Мы ей помогали, давали ей платья, убирали дом. Мы здесь живем 35 лет, теперь все обветшало, облезло, стены потрескались. А когда мы сюда въехали, этот дом был просто роскошь. Один год мы с ней жили летом в Вандее. Она часто приходила к нам, но одна. Вместе мы бывали и в концерте, и в театре, а так она всегда была одна... Мы с ней встретились у Извольских, ходили вместе гулять. Она много говорила, я слушала /.../ Гуляя со мной, она часто читала мне стихи и говорила: «Вот сейчас у меня есть тема и даже рифма». Стихи ее всегда около смерти, всегда грустные или трагические (Е).

А вот как вспоминает Цветаеву один из почитателей ее поэзии:

Первое впечатление от нее всегда было, что она « à part » (отдельно). Это поэт, и она до конца останется поэтом. Она себя такой и считала. Она всему противопоставляла себя. Но у нее не было этой темы — пророческой. Поэт — избранник Божий. Она себя считала выше. Она поэт, но без пророчества. У нее, конечно, был этот дар жизни. Дар поэта выше всего, как она считала, дар жить, любить, быть всегда против (в частности, против всех клише), и все это преображать в слова /.../ Она была очень своенравна, « révoltée » (бунтарка), не во имя какой-нибудь там революции, а потому что не хотела быть как все. Поэтому она и была антиобщественна (В).

В другом рассказе:

Марина Цветаева очень любила праздники. На Рождество, на именины всегда делала подарки, хоть самые маленькие или символические, но всегда были подарки. Во время этих праздников она часто читала для гостей, для нас («Поэму горы», «Поэму конца»), но не утром. Утром она всегда работала. Я помню утро, еще в Чехии, крошечный стол, варилась для Мура кашаишка — молоко с мукой, а она, в переднике /.../ В письмах к маме проступает большой трагизм. На самом деле были молодость, талант. Жизнь

была бедная, но была энергия, задавленности от нужды не было, были шутки, смех... (Б).

Ариадна Сергеевна однажды заметила:

> Она умела слушать. Она вообще была изумительно сдержанна и тактична. Бывало, что на русских сборищах поднимется галдеж и споры. Она тихо сидит и слушает. Потом скажет что-нибудь резкое, и ее реплика разом все споры остановит.
>
> Шума при ней не могло быть. Она была блестящая и умная. Она любила беседу и разговоры. А дома она подолгу молчала /.../ Она любила животных — и кошек, и собак, это в ее творчестве не отразилось, но в записных книжках она говорит об этом /.../ В ней была жизнеспособность огромная. Среда все время от нее отставала /.../ Она не любила бытописания, поэтому Чехова или гениального Бунина как писателя не ценила. У нее все от реальности и конкретно, но все перенесено в лирическую стихию.

Марк Львович Слоним, которому выпала доля более близкого общения с поэтом, вспоминал:

> У нее был колоссальный юмор. Она была способна по-детски хохотать, шутить. У нее была такая смешная улыбка: она как-то особенно сдвигала губы.

Он говорил еще: «В дружбе она была требовательна ко всем и ко всему».

Таким образом, в те годы в характере и поведении Марины Цветаевой проявляются ее ум, юмор, страстность, но и строптивый нрав, то есть антиконформизм ее юности.

Интересно было расспросить людей, как, находясь в эмиграции, Марина Цветаева относилась к Франции. Например, в 1929 г. было создано общество «Собеседования русских зарубежных писателей с их французскими собратьями». Собрания были регулярны, и Цветаева в них принимала участие. Одна знакомая рассказывает:

> Французы к ней относились хорошо. У нее была знакомая Ивонн, знакомый больной поэт. Раздражение у нее было не на французов, а на нас, эмигрантов, хотя ценила она французскую культуру, а бытового француза не любила. Наполеон, Париж, Версаль, вот это она любила. И обожала Германию (Е).

Знакомый по Понтайяку вспоминает:

> Знание литературы французской было у нее, должно быть, очень большое. Как-то раз мне случилось вспомнить при ней о какой-то детали романа Гюго «Труженики моря», и она тут же процитировала, должно быть со всей точностью, пассаж, к которому эта деталь относилась. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Марк Львович Слоним по этому поводу мне рассказывал:

> Она в совершенстве знала французский и немецкий языки и хорошо знала поэзию. Память у нее была замечательная. У нее была способность зажечься сразу одним словом, идеей, предложением /.../

Наряду с этим другой отзыв: «Французский язык она знала не так уж хорошо» (Б), и пояснения Марка Львовича:

> Она его знала в совершенстве, но она знала литературный язык, а не разговорный. Когда она говорила по-французски в обществе, можно было сказать, что она знает язык. Но если она писала письмо или статью по-французски, у нее выходило блестяще. Хотя ее перевод «Молодца» на французский, по-моему, не так удачен.
>
> Поэзию она хорошо знала, она очень много читала. Немецкий язык ей был близок. Она знала немецкую поэзию в совершенстве. Ее гувернантка была немка. Кроме того, она ведь в детстве была в пансионе в Женеве, ездила на год в Париж и потом долго там жила.

Марк Львович еще вспоминает: «Версаль она очень любила», и говорит о ее вкусах:

> Она вообще любила все, что было на нее не похоже и ей не родственно. Это ее богатство. Но глаз ее не все подмечал. Живопись, например, от нее ускользала. Архитектуру она гораздо лучше чувствовала. А музыку? Не знаю. Мы никогда о музыке не говорили, не приходилось. Поэтому я ничего не знаю о ее отношении к музыке, которая в детстве играла такую большую роль. Например, в тот вечер, когда у нее был Прокофьев, мы о музыке за весь вечер ни разу не заговорили. В концерты мы вместе не ходили, вообще мы никуда вместе не ходили, а так, сидели, разговаривали или гуляли /.../ Она очень ценила красоту. Но не красоту вещей, хотя кольцом или камеей она могла прельститься. Она, например, любила эти перстни, серебряные браслеты, которые всегда носила. Это еще осталось от одного ее юношеского мифа — цыганки. Вообще она любила женские вещи и сама была очень женственна, несмотря на мужской задор.

Другое воспоминание о ее вкусах подтверждает вышесказанное:

> Она любила животных, особенно собак, и однажды мне подарила ожерелье, похожее на собачий ошейник /.../ Она также была страшная поклонница нашего шитья. Она приходила к нам из Медона и заказывала нам юбки, всегда хотела за них платить, хотя мы старались ей шить даром (Б).

И еще:

> Она любила путешествовать. В 1924 г., до рождения Мура, я помню один весенний день — был ветер, она вдруг сказала: «Я еду в деревню — лежать на холме и смотреть на небо!» Но жизнь страшно все это уродовала. Города она не любила. И моря не любила. К морю она ездила не часто. А вот Савойю и горы очень любила. (Марк Львович Слоним.)

Из всех этих рассказов выходит, что к Франции Марина Цветаева относилась более внимательно, чем к любимой Чехословакии: живя в Праге, она знала все кафе и все улицы своих прогулок, но ни одного музея. В этом, несомненно, играли большую роль воспитание и знание французской культуры с юности.

Глава 6. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отношение М.Ц. к детям. А.И. Цветаева о семье. Воспитание Али и Мура. Жизнь Али и Мура. Мур. «Романы» М.Ц. Герои М.Ц. Князь Д. Святополк-Мирский. Князь С.М. Волконский. И. Гронский. А.С. Штейгер. А.В. Бахрах. М.Л. Слоним. М.Ц. и любовь. «Сафизм» М.Ц. Две группы друзей. Отношение М.Ц. к людям. Друзья-женщины. Трудный характер М.Ц. Поведение М.Ц. Эфрон в Праге. Эфрон в Париже. Евразийство. Эфрон в Понтайяке.

Одной из тем воспоминаний о Марине Цветаевой, часто вызывающей недоумение или возмущение многих, было ее отношение к детям. Правда, ставшие известными письма Цветаевой к Звягинцевой по-новому осветили некоторые события ее жизни и, в частности, смерть дочери Ирины. Приведу рассказ одной знакомой, не питавшей к Цветаевой особой симпатии:

> О Марине я говорю с раздражением, потому что она всегда меня раздражала. Но один раз она меня тронула. Она рассказала мне, что когда ее дочь умерла, она две недели об этом никому не говорила. Ей казалось, что если никому об этом не говорить, это будет неправда. У нее всегда было так, что вся правда в словах. И когда она мне это рассказала, тут мне стало ее по-настоящему жалко! (Ц)

Многие удивлялись тому, что Маринины дети нигде регулярно не учились. Ариадна Сергеевна сама мне говорила:

> Никакого образования я не получила. Кабы я училась, мама не писала бы стихов. Надо было от нее отстранить быт /.../ Обучение ведь было платное , надо было и жить, и питаться этим конским мясом. А я отлично умела покупать все самое дешевое, готовить и хозяйничать.

Мария Сергеевна Булгакова вспоминает:

> Когда родился Мур, Але было уже 13 лет. Материнская любовь у Марины была только к Муру. Но главное были стихи... Алю и Мура никогда ничему не учили. Воспитывались они странно. Мур никогда регулярно не ходил в школу. А Аля интересовалась прикладным искусством и училась одно время в институте искусства и рекламы (Art et Publicité), она также посещала занятия парижской школы искусств при Луврском музее.

Своего брата Ариадна Сергеевна описывала с большой любовью:

> Мур был одаренный, незаурядный мальчик. Он мог писать о литературе. У него был критический и аналитический ум. Он отлично знал французскую литературу и язык и был до некоторой степени маминым повторением (в мужском варианте) /.../ Всю жизнь он был довольно печальным мальчиком, но верил в будущее. Был прост и искренен, так же, как мама. Мама ведь была искренняя и открытая, и он не лукавил и не был дипломатом. То, что он делал плохого, он всегда рассказывал, ему так нужно было, потому что правда была в его душе.

Вернувшись из ссылки, сестра Марины Цветаевой, Анастасия Ивановна, тоже старалась узнать побольше подробностей об истории семьи. Делать это было нелегко, отчасти потому, что она с сестрой потеряла связь гораздо раньше, чем Ариадна Сергеевна. Она рассказывала, что из неизданных воспоминаний их сводной сестры Валерии ясно, что мать обеих девочек, Мария Александровна Мейн, приняла непосильную жертву, отказавшись от любимого человека и выйдя замуж за профессора Ивана Владимировича Цветаева, и не была ему верна. На этот факт намекает и сама Анастасия Ивановна в своих книгах. Она это рассказывает, чтобы объяснить, что у нее с Мариной была тяжелая наследственность. Она говорила мне: «Я воспитывала сына в понятиях добра и зла. Марину же интересовали только ум и талант, и она пожала плоды, воспитав сына, который только себя признавал, и дочь, которая всеми интересами своими пошла в отца /.../ Марина не

воспитывала детей в понятии добра и зла. Она нарушала пятую заповедь. Она растила идолов!»

Будучи подчас очень ласковой и доброй к чужим детям, Марина Цветаева была страстна в своих отношениях к Але и Муру. Вот один медонский рассказ:

> Марина хорошо относилась к моему сыну, к гучковской няне они ходили вместе. Аля бывала у нас постоянно. У нее были с Лелем общие интересы, несмотря на разницу лет. Знакомство наше произошло через детей. Катя Еленева мне сказала о том, что тут рядом живет Цветаева. Я тогда сказала: «Ну и пусть живет!» А Лель, мой сын, познакомился с Алей. Цветаева познакомилась с ним позднее. Она держалась в стороне, тогда как дети были очень дружны, Аля и Лель вместе ходили в кино /.../
>
> Марина относилась к Лелю очень хорошо. Я была с ним тогда очень строга, он всегда смотрел на часы, чтобы не опоздать домой. Я одна воспитывала мальчика и очень боялась его распустить. Однажды даже Аля, чтобы он не ушел, переставила часы назад и потом мне в этом созналась. Она меня очень любила (Е).

К более раннему периоду относится одна значительная фраза из частного письма Ариадны Сергеевны в Париж, в 1969 г.: «Вяжу нечто вроде того, что Вы с мамой вязали — шали. Мама тогда ждала Мура, а Вы растили Леля; а я — *сама* росла» (выделено мною.— В. Л.).

Несомненно, рождение Мура, когда Але шел тринадцатый год, произвело в ее душе большой переворот, о котором она со мной никогда не говорила. Но на трудные отношения с матерью Ариадна Сергеевна все же намекала:

> Меня она то любила, то разлюбляла... Никогда не было простых отношений: мать — дочь... Материнство ее всегда выливалось преувеличенно, на кого-нибудь другого /.../ Когда я была маленькой, я была вундеркиндом. Когда я стала взрослой, она продолжала относиться ко мне, как к маленькой /.../ В моем воспитании возникли трудности, когда я подросла. У нее всегда было

так, что я и поддерживала, и работала, и вела хозяйство, чтобы она могла писать. И было всегда не просто мама и дочка, а все в иных плоскостях.

О трудных отношениях между матерью и дочерью помнят все, кто к семье был более или менее близок. Например, Саломея Николаевна Гальперн: «Вероятно, конфликт Али с матерью был нормальный, обычный конфликт такого возраста /.../ Мне Марина на Алю никогда не жаловалась, но в письмах Цветаевой к Буниной есть против Али тяжелые обвинения». Медонская знакомая: «С Алей были трудные отношения: Марина ее раздавливала. А у Али был огромный талант, и Лелю она очень много дала» (Е). И дальше: «Воспитанием детей она не занималась. Она была большой поэт. Поэт — все в ней заволокло. Мура она обожала и баловала, а к Але была сурова. Мур нигде не учился. Аля училась рисованию. Домашняя работа ее душила» (Е). И еще: «С дочерью Алей у нее была вечная война, но теперь, когда я вспоминаю все, что Аля выстрадала, делается страшно. Она ведь Марье Сергеевне сказала про самоубийство матери: «Так лучше. По крайней мере маме не пришлось терпеть все то, что я вытерпела» (Б). Но другим друзьям Ариадна Сергеевна жаловалась, что Марина была «плохой матерью»: «У нее к детям было не материнское отношение. На Ирину не хватало сил. Ко мне она относилась, как к себе равной, а к Муру — как мать-фанатик. Вообще же она любила молодых мужчин, и в ее страсти к Муру было что-то нездоровое — фрейдистское».

«Во Франции Аля уходила из дому, один раз на целый год — к знакомым. Одно время у нее была работа секретаря-ассистентки у одного богатого зубного врача. В поэме «Красный бычок» описана смерть ребенка. Возможно, она тогда Ирину вспомнила. Вообще она Ирину помнила и всех обвиняла в ее смерти» (М).

Смерть Ирины несомненно наложила трагический отпечаток на отношения Марины к детям (выше описывалось, как в голодные годы гражданской войны Марина Цветаева неистово выхаживала дочь).

Позднее Аля смотрела за своим младшим братом и несла на своих плечах все хозяйство:

Аля дома была перегружена, как настоящая домработница. Как я ее помню, она открывает

дверь, всегда в переднике, всегда вытирает руки, потому что мыла посуду или стирала белье. Я за то Марину не любила, что она — плохая мать. Аля и готовила, и мыла посуду, и стирала пеленки, а потом белье. Все определялось тем, что Марина создает ПОЭЗИЮ (Ц).

Когда она приходила, обычно Аля занималась Муром, а она разговаривала. Дети — не ее дело. Она даже говорила: «Я есть, а Аля — еще неизвестно, будет она или не будет, поэтому ничего Але, все мне!» В другой раз она пришла одна с Муром, Али не было, и мой муж стал присматривать за Муром, пока мы разговаривала. Что-то он сделал не так, и она стала его грубо отчитывать /.../ Дети были в обхождении с окружающими — сами по себе. Грубые, строптивые. Это все Маринина гордость. (Мария Сергеевна Булгакова.)

С Алей она говорила обо всем. Рассказывала ей про любовников и про всю свою жизнь. Но ее критиковать нельзя было. Какая выспренность отношений! Высказывания, стихи в 7 лет и так далее... У Марины по-настоящему не было острого материнского чувства ни к сыну, ни к дочери. Она искала и хотела создать *ту* душу, которая ее поймет и разделит ее чувства до конца. Не нашла она этого в дочери: она дочерью владела до 11—12 лет, потом Аля стала созревать и послала ее к черту, а до этого Аля была ее подругой (В).

Жизнь Али была ужасной. Жизнь с матерью, которая не мать. Бесконечные истории. Мур родился от К. Б. Бедная Аля! /.../ Они жили очень убого. Сергей Яковлевич ничего не умел делать. Аля гуляла с Муром. Он был живой и чудный ребенок. А Аля была на всех прислугой, таскалась по всему Медону с Муром, все делала на всех (М).

Рассказывают, что Аля иногда уезжала из дому к друзьям, то ее приглашали подруги, то Сергей Яковлевич ее увозил. Так, она гостила у Хенкиных, у Зайцевых и еще у других:

Елена Алексеевна Хенкина была к Але очень добра. К ней в Медон Аля уезжала иногда. Это была чудесная и добрая мама. Она и взяла к себе Алю на время. Потом она стала обнаруживать, что у нее исчезают вещи. Выяснилось, что Аля стала у нее красть. Когда она ей сказала: «Аля, что же это такое?», Аля ей ответила: «Вы не понимаете, что я не выношу доброту!» (Ц).

Вот как описывает шестнадцатилетнюю Алю и трехлетнего Мура знакомый Цветаевой по Понтайяку:

Меня при этом не было, но знаю, что с Мариной у родителей никакого контакта не установилось, а ее дочь Аля — несуразно скроенный подросток (то, что называется «бакфиш»), просто произвела очень скверное впечатление на мою мать, когда вошла в комнату, глядя куда-то поверх голов, никого не замечая и отвечая на вопросы взрослых лаконично и саркастично. Зато трехлетний Мур, хотя тоже как-то чудовищно крупный для своего возраста, всех очень позабавил своей взрослой, независимой речью и особенно полюбился бабушке. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Позже это первое впечатление слегка изменилось:

Дочь Аля (Ариадна) оказалась при ближайшем знакомстве гораздо симпатичнее и добродушнее, чем показалась при их первом визите,— все, что могу сказать о ней.

Сын Мур забавлял нас разными словесными вымыслами, к которым у него была явная склонность. Меня он почему-то звал «Ходасевиц» («ч» у него выходило как «ц»). А Петру Петровичу Сувчинскому в ответ на вопрос, как зовут Мурову резиновую свинушку, выпалил: «Свин Петровиц», это очень подходило к великолепной наружности этого (как мы его между собой называли) «дионисического борова» (каких, наверное, пестовал в «Одиссее» Евмей, «свинопас богоравный»). Как-то Мур спросил у матери: «бывает ли чистая лужа?» и в ответ на ее замешательство подсказал ей: «море». А отец рассказал о нем следующее: раз он, играя, стал заниматься наугад своего рода

«словотворчеством» и сказал что-то (чего Эфрон нам не повторил), на что родители сделали ему внушение никогда больше этого не повторять. Мур, должно быть, «намотал это себе на ус», и, когда случилось побывать у них Серафиме Павловне Ремизовой и, странным образом, спросить мальчугана — кого она ему напоминает, он употребил это запретное слово и, видя общее смущение, вышел из комнаты и повторил его два раза, обернувшись с порога. (Там же.)

Мура крестили в Праге на Духов день 1925 г. Его крестил отец Сергий Булгаков, но кто его крестная мать, не совсем ясно. Согласно одним свидетельствам — Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, к которой потом и приехала Марина Цветаева в Париж, согласно другим — Александра Захаровна Туржанская, с которой она жила одно время в одном доме в Медоне.

О Муре свидетельства довольно противоречивые:

Мне казалось, что он родился от К. Б. Но, говорят, еще от кого-то другого. Это был какой-то херувимчик, круглый, красивый, с золотыми кудрями. Самоуверенный. У него тоже были какие-то свои изречения. Например, один раз мы пришли к Туржанским, и перед нами Мур видел, как две дамы поднялись на лифте. Он тогда сказал: «Тетя Саша села в шкаф и улетела на небо!» У него были необыкновенные глаза, но что-то искусственное /.../ Как и на Але, на нем был отпечаток Марины (В).

Он на Сережу совсем был не похож, а был похож на мать и, конечно, на К. Б. Аля была очень похожа на отца: большие голубые глаза, сильный еврейский тип, поэтому сходства с матерью не было, а у Мура было, на отца своего он не был похож, и поэтому можно было искать сходства с К. Б. Я этого мальчика знала до 12 лет, и я никогда не видела, чтобы он улыбнулся. В нем было что-то странное. Но про ребенка, который до 12 лет никогда не улыбался, нельзя сказать, что у него было счастливое детство! А Марина его совершенно обожала (Ц).

У него были большие таланты. Однажды, я помню, он у нас сидел, и мой первый муж, чтобы занять его, предложил ему нарисовать несколько портретов. И он, в 14 лет, нарисовал несколько карикатур в стиле Дюффи. А вообще он был молчаливый, толстый, неразбитной. Но потом, судя по фотографиям, он развился, стал красивее. (Мария Сергеевна Булгакова.)

А Марк Львович говорил о Муре:

В нем не было ничего ненормального, просто это был неприятный мальчик и юноша. Марина Цветаева его обожала и часто на меня обижалась за то, что я его недостаточно любил /.../ а с Алей были большие трения, как обыкновенно бывает между матерью и дочерью, когда дочь превратилась в обыкновенную девочку. Марина была к дочери несправедлива и перенесла всю свою любовь на Мура.

В. Андреева тоже вспоминает Мура в летнее время, на море:

/.../ рядом, поджав по-турецки ноги, сидел шестилетний, страшно толстый сын Марины Цветаевой — Мур. Стыдно сказать, но я, тогда семнадцатилетняя взрослая девушка, робела перед этим ребенком. Впрочем, Мур только по возрасту был ребенком, мне он казался чуть ли не стариком — он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых, употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова: «рентабельно», «я констатировал», «декаденты». Мне он напоминал одного из императоров времени упадка Римской империи — кажется, Каракаллу. У него было жирное, надменно-равнодушное лицо, золотые кудри падали на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро глядели на окружающих. Марина Ивановна страстно обожала сына. (Из неизданных воспоминаний.)

Не трудно понять, что возрастные трения, «нормальные» в обычной семье, могли принимать чудовищные пропорции в отнюдь не обычной семье Марины

Цветаевой. Когда я ближе узнала Ариадну Сергеевну, мне стало довольно ясно, что она была матерью не только восхищена, она была ею и задавлена. У нее было почти трепетное отношение к творчеству матери, но, с другой стороны, она свои собственные таланты в себе затаила. О них можно судить только по ее переписке, по великолепным переводам, рисунков ее я не видела. Она несомненно сочла своим долгом все это отстранить, дабы оставить место для гения матери. Например, комментируя свой очерк «Самофракийская победа», она пишет в частном письме: «Я стараюсь писать возможно точнее; это лучший заменитель таланта» (14/12/1967).

По словам многих свидетелей, Сергей Яковлевич Эфрон был не особенно привязан к Муру и предпочитал Алю:

> У него несомненно были свои, хорошие отношения с дочерью, а у Марины Цветаевой были «романы», и она с дочерью делилась. А это подрывало отношения дочери с отцом. Она стояла между отцом и матерью. Но, как говорила Аля, «она гений, она, как Бетховен, имеет право на все». Не знаю, почему сравнение именно с Бетховеном?! (Б).

Известно, что Марина Цветаева посвящала дочь в тайны своей личной жизни, но Аля была на стороне отца, сочувствовала его скорби, входила в его жизнь; она никогда впоследствии не позволяла себе слова осуждения в адрес матери, но это еще усугубляло трагизм ее нелегкой жизни.

Вокруг семьи было много сплетен относительно интимной жизни Марины Цветаевой. Можно было бы о них забыть, но,ввиду того, что в стихах Цветаевой отражены многие ее увлечения с самых ранних лет, очевидно, следует собрать рассказы современников о так называемых «романах» Цветаевой в надежде на то, что, не принимая преувеличенных пропорций, эти рассказы, как бы войдя в историю, смогут восприниматься как «мелочи жизни» или биографический контекст, служащий для вводного, иногда важного объяснения разных пластов ее творчества.

О том, как Цветаева относилась к мужчинам, рас-

сказывают по-разному, но все воспоминания свидетельствуют о ее увлекающейся и богатой натуре.

Разумеется, говоря со мной об этом, Ариадна Сергеевна не входила ни в какие подробности — это была одна из «запретных» тем. Анастасия Ивановна же, вспоминая свою и Маринину юность, говорила: «amour bleu (голубая любовь) — так Марина называла платоническую любовь в юности. Потом это превратилось в любовь земную». А другой человек говорит об отношениях между Цветаевой и Мандельштамом: «Это была прелестная связь молодости, без настоящей любви. О ней впоследствии мне Надежда Яковлевна говорила: «Il fallait bien que quelqu' un lui apprenne ă faire l'amour» (Надо же было, чтобы кто-нибудь научил его любить)» (М).

Судя по опубликованным воспоминаниям Анастасии Ивановны Цветаевой, и она сама, и Марина вели в юности свободный образ жизни, который несомненно соответствовал желанию поэта идти против общественных установленных правил. Другие друзья семьи Цветаевых говорят о том, что это была «страшная семья» (С), с постоянными историями, и что, когда Марина вернулась в Москву в 1939 г., Валерия не захотела с ней встретиться не по политическим причинам, а потому, что испугалась бурного темперамента своей сводной сестры.

Раннюю юность и увлечения вспоминает одна коктебельская подруга Цветаевой, которая говорит: «Я влюблялась часто и быстро, особенно в поэтов /.../, и Марина часто влюблялась во всех, и в мужчин, и в женщин» (Ч).

Мария Сергеевна Булгакова, которая в этом вопросе не может быть беспристрастным свидетелем, мне говорила: «Марина и мужчины — это что-то страшное и патологическое. У нее были не просто романы, а бесконечные истории. Она на мужчин просто набрасывалась. У художников, у поэтов это вообще бывает, но у нее это было как болезнь».

Другой пражский знакомый вспоминает в том же тоне:

> Влюблялась она часто и конкретно. У нее были бесчисленные романы /.../ Она относилась к любви совсем как мужчина. Выбирала, например, себе в любовники какого-нибудь ничтожного

человека и превозносила его. В ней было это мужское начало: «Я тебя люблю и этим тебя создаю»... От такого отношения к любви — исключительно доминирующего — впечатление было какое-то противоестественное (В).

Другой свидетель высказывается на эту тему с большей симпатией:

В 1926 г. у нее было вроде «coup de foudre» (молниеносная любовь, с первого взгляда) ко мне. Мы подружились и стали переписываться. Она мне писала больше, чем я ей. (У меня от нее осталось около 20 писем. Только они очень личные.) Я часто ходил к ней в Медон... Я помню, как я подымался к ней в Медон и издалека видел ее окно. Она была несчастная и безумно талантливая, и умная. У меня есть ее «Поэма конца» с надписью: «На память о зеленом фартуке». Почему-то я как-то к ней пришел, и она в фартуке стирала белье в ванной. Она читала мне стихи. Отношения у нас были дружеские. Я очень любил ее стихи, и «style heurté» (стиль толчками)... А первые ее стихи были более плавными. Тогда стихи иногда бывали плохие, и, помнится, кто-то написал на них очень злую пародию. О своих стихах она говорила «фонетически». В ней поэзия грохотала, и иногда получалось неудачно. Она соскальзывала с какой-то высоты, тогда было «ridicule» (смешно, нелепо). Она нанизывала слова. Слово — вот ее поэтический стимул (Г).

Согласно другому мнению, «у Цветаевой не было бесконечных романов. Просто все перед ней преклонялись, а потом отходили. А она хотела, чтобы к ней относились, как к простой женщине» (Б).

Один знакомый вспоминает об отношениях между Цветаевой и К. Б.: «Он к ней относился со стыдом и насмешкой. Она была старше него, а это для мужчины было очень стыдно... Мне она тогда казалась очень старой. Я был молод и считал, что ей — старой — романы уже не к лицу... А в «Поэме конца» совершенно неженское унижение... «Поэма конца» нецеломудренна!» (Ю).

От многочисленных увлечений Цветаевой, кроме

«Поэмы горы» и «Поэмы конца», остались: обширная переписка, большое количество стихотворных циклов, поэмы и отдельные стихотворения, не говоря о прозаических произведениях. Для каждого из них существовал в какой-то момент определенный прототип, который со временем терял свои конкретные очертания и обречен был исчезнуть. Но этот человек, помимо своей собственной жизни, сыграл роль в жизни поэта и дал толчок ее творческому воображению. Люди, помнящие страдающую, строптивую и бурную натуру Марины Цветаевой, перечисляют имена ее мнимых или предполагаемых «любовников» (кроме К. Б., о котором все единодушно говорят, что он был ее настоящей, нескрываемой и вполне конкретной любовью): М. Волошин, Е. Ланн, О. Мандельштам, Б. Пастернак, С. М. Волконский, А. В. Бахрах, Д. С. Мирский, М. Л. Слоним, Райнер Мария Рильке, Н. П. Гронский, А. С. Штейгер, П. Сувчинский, А. Тарковский.

Достаточно этого перечня, чтобы понять, насколько трудно отделить миф от реальности, и можно только воспроизвести то, что об этих лицах разные люди в свое время говорили. Остальное пребудет тайной личной жизни каждого. Стихи же стали общим достоянием.

Согласно одному из свидетельств Мирский отзывался весьма насмешливо о своем романе с Мариной Цветаевой (Ц). Вершиной их отношений была поездка Цветаевой в Лондон весной 1926 г.: «У нее была история с Мирским. Она ездила в Лондон к нему. У меня есть от нее письмо из Лондона 15 марта 1926 г. Мирский ей устроил знакомство с Саломеей Гальперн» (Г). Сам Мирский, после своей известной формулы о Цветаевой («распущенная москвичка»), посвятил ей немало интересных критических статей и материально помогал ей до 1931 г. Один знакомый говорит: «Мирский в нее влюбился, но определить основную тему ее жизни не сумел» (В).

А в рассказе другого:

> До личного знакомства Мирский ругал ее. Потом они познакомились. Он ей хотел что-то устроить. Говорили, что у них был роман, но ведь Мирский женщин не особенно ценил: он был скорее других наклонностей. Она считала его умным, но говорила, что «он — дефективный, как и все

князья». Был такой случай, они вместе обедали в ресторане — сидели друг против друга за столиком. Она ему что-то обидное сказала, и он повернул свой стул и сел против нее спиной. Она часто нам показывала, как он сел, она рассказывала нам этот анекдот и со смехом, и с раздражением (Б).

Другой человек вспоминает:

В Волконского, старика, она влюбилась, я сам это видел. В этой любви был лейтмотив самосожжения и костра... Странная любовь! Ведь он же предпочитал мальчиков (В).

И еще: «Ее увлечение С. Волконским было до смешного неподходящим» (М). «У нее были странные отношения с князем Сергеем Михайловичем Волконским. Ей импонировал тот факт, что он — князь... У него было много знакомых» (Г). «Марина ему служила верно, как собака, а он был педерастом», — говорила Анастасия Ивановна.

Г. В. Адамович рассказывал мне:

На собраниях «Кочевья» Цветаева влюбилась в князя Волконского, директора императорских театров. Он писал свои воспоминания. Она какому-то поэту рекомендовала читать Пушкина, Блока и... Волконского. О нем и о его языке я говорил «средне-княжеская грамотность». И Цветаева сказала: «Это мое третье несогласие с вами!»

О Н. Гронском я все же спросила Ариадну Сергеевну:

Я его терпеть не могла. Это был позирующий мальчик. Мама с ним страшно возилась за его стихи. Он ей очень быстро осточертел своей молодостью, неглупостью, подражательством.

У него появилась какая-то невеста, не от души, а от рассудка. Неглупая. Она его очень любила и слушала. Он много говорил и думал. Гронский для мамы тогда перестал существовать. А потом он взял да и умер. И когда он погиб, вдруг — бурный взрыв стихов. Это было гораздо позднее их знакомства. Она вдруг ощутила большое горе.

Была надежда на встречу настоящую, какого-то иного качества. И появился вдруг настоящий *реквием* по всему им не прожитому и не состоявшемуся, как памятник, желание прошедшую жизнь скорее задержать. Я думала: «Ну вот, когда он был тут, можно было его видеть, оценить, а она умеет осознать только призрак». В этом сила поэтического воображения, претворение жизни и быта обыкновенных отношений в лирику.

Гронский был ею увлечен. Он ей тоже нравился. Ей нравился его "esprit chevaleresque" (рыцарский дух).

Гронский приезжал в Медон к Цветаевой в апреле 1928 года, а умер в ноябре 1934 г. В январе 1935 г. Цветаева пишет посвященные Гронскому «Стихи сироте». Один знакомый об этом говорит: «Ее история с Гронским показывает ее ужасную неразборчивость в людях. Это же просто профанация. Она была ужасно какая-то "antihygiénique" (антигигиеничная). В ней чувствовался постоянный надрыв» (Г). А Мария Сергеевна Булгакова мне говорила: «Гронский был ее любовником. Конечно. Она же вообще была страшная Мессалина. Ему посвящено замечательное ее стихотворение о ветках».

К. Б. вспоминал: «Ее дружба с Гронским — ерунда, заполнение пустоты, желание связи. Она терзалась». А в другой момент сказал: «В Париже жизнь Цветаевой была менее радостная и счастливая. У нее была связь с молодым Гронским. Но это был болезненный юноша. Он не был человеком, который мог быть спутником и сотрудником Марины. Это была воображаемая любовь».

Переписка Цветаевой со Штейгером относится к лету 1936 г., и о нем Ариадна Сергеевна говорила тоже с некоторым раздражением:

Это тоже была связь через духовность. Виделись они ведь только один раз. Это был хилый, туберкулезный выкормыш. Она отчаянно хотела в него вдохнуть жизнь.

Ее охватила материнская волна. А в нем был ужас перед им вызванным демоном, лавиной. На-

стоящая трагедия! Так она и жила писаными трагедиями.

Ей хотелось его как-то поднять и спасти, отношение к нему было вроде ее отношения к герцогу Рейштадтскому.

Вообще к обоим — и к Гронскому, и к Штейгеру — отношение самого настоящего творческого воображения.

Мария Сергеевна Булгакова говорила:

Мне рассказывали, что это был совершенно выдуманный роман. Она не могла жить без романа. Говорят, она даже поехала в Швейцарию. Я этому не верю. Ведь мы жили бок о бок 14 лет. Как же она могла уехать в Швейцарию, и чтобы я об этом не узнала? Да и на какие деньги? Словом, она якобы поехала в Швейцарию, и там Штейгер, увидев ее, испугался и от нее отшатнулся, и никакого романа не вышло...

Один знакомый тех лет вспоминает: «Штейгер был чахоточный поэт. К нему у нее вдруг пробудилось материнское чувство. Конечно, она, как женщина, где-то, в чем-то себя обрезала и вдруг, через него, стала искать материнства» (Б).

О предполагаемом «романе» с Пастернаком М. С. Булгакова говорила: «Мне рассказывали, что Марина еще мечтала о сыне от Пастернака, хотела назвать его Борисом и дать ему имя — Басик. А они никогда не виделись! Чушь какая-то!»

По поводу последнего рассказа следует напомнить, что Пастернак и Цветаева действительно виделись на Западе только один раз, в 1935 г. в Париже. Тем не менее в творчестве Цветаевой осталось большое количество стихов и писем, несколько прозаических вещей, свидетельствующих о силе ее чувств к разным людям и о размерах ее дарования. Цветаевой не нужны были встречи и конкретные отношения, они, может быть, даже мешали. Например, в пору переписки Цветаевой с А. В. Бахрахом они тоже никогда не виделись и встретились только потом в Париже, а стихотворение «Письмо» было написано до встречи.

Описывая характер и поведение Марины Цветаевой, одна ее знакомая вспомнила встречу поэта с Бахрахом:

> Она охотно на людях разговаривала. У нее были удачные и острые реплики. Она была остроумная, меткая и едкая. Она была не скромная, а уверенная в себе, говорила веско, резко, иногда и надменно и умела обижать людей. Например, была большая обида с Бахрахом. Его критика на ее стихи ей очень понравилась. Но позднее, когда он пришел к нам, вместо того чтобы вести с ним интересную беседу, она стала едко над ним издеваться. Помню, она все говорила о каком-то "boudin" (кровяная свиная колбаса).— Вот купим "boudin", будем есть "boudin". А он ожидал от нее умных разговоров о поэзии. Так она дала ему понять, что больше его ни в грош не ставит. Помню, она просто говорила: «Я сама беру их из грязи, из ничтожества их выбираю, поднимаю их до себя, а потом возвращаю в грязь». У нас в семье такое отношение считалось недопустимым, даже у поэта! (Б).

Ходили еще слухи о том, что у Марины Цветаевой был роман с Марком Львовичем Слонимом: «Это было серьезнее. Он был интеллигентный, культурный, они вместе жили» (В). Разумеется, расспрашивать самого Марка Львовича об этом я не решилась, но разговор коснулся этой темы в момент публикации писем Цветаевой к Тесковой, так как в книге есть несколько неласковых слов Цветаевой в его адрес. В письме от 15 января 1927 г., по поводу доклада, который Марк Львович должен был о ней читать, Марина Цветаева пишет: «Ведь это нечто вроде эпилога, нет — некролога целой долгой дружбы. Мне хочется знать, хорошо ли он знает — что потерял?» (с. 48). Однако отношения и дружба между ними продолжалась вплоть до отъезда Цветаевой в Москву. Упоминая книги Марка Львовича, Марина Цветаева пишет об одной, что она «поверхностна» (с. 70), а о другой («По золотой тропе»), что она «легкомысленная» (с. 164). Вот эти два эпитета из переписки Цветаевой с Тесковой и побудили Марка Львовича, немного против собственной воли, разъяснить мне свои отношения с поэтом:

По поводу писем к Тесковой и статей о них в «Русской мысли» (1969, 1980, № 2747—2750, 2752—2754, 2763, 2779.— В. Л.):

Там есть обо мне неприятные фразы, я не хотел об этом с вами говорить, но поскольку это всплывает, надо уж теперь мне подробно вам объяснить.

1) 1938 г.— дата странная, по-моему, это не так. Ее злые слова ко мне относятся к ее мифотворчеству по поводу своих друзей. Она вокруг них создавала ореол, создавала нечеловеческий образ и очень обижалась, когда реальность не соответствовала романтическому ее изображению.

В начале нашей дружбы были неприятные моменты. Период, описанный в книге 1928 г. «Золотая тропа». Дружба наша началась в конце ее романа с К. Б. Ей было 32 года. Она видела во мне носителя какой-то нечеловеческой духовности. Я же был просто молод. Кроме того, меня оставила моя первая жена, увезла от меня сына. И когда Цветаева узнала о моих многочисленных романах, она как-то не могла мне этого простить. В ней было это чувство: «как вы можете заниматься какой-то женщиной, когда тут я!» А я уходил от разговоров с ней на какое-нибудь любовное свидание.

А во мне не было влечения к ней как к женщине. Она не была для меня желанной женщиной, она была другом. «Попытка ревности» ведь относится ко мне так же, как к К. Б. А я ее не любил. На самом деле, я ей был гораздо более верен, это была настоящая дружба.

2) В 1931 г. мы ведь видались часто, а не один раз. Ее слова Тесковой «разговор равнодушный» — да, но 1931 г. был для меня очень тяжелым — это был год закрытия «Воли России».

С Тесковой тогда развились очень тесные отношения. Тескова была очень хорошим человеком, но старой девой, немножко prude (недотрога). Марину она обожала, Марина тоже ее обожала. И очень странно: чем дальше она удалялась от Праги, тем выше был пьедестал А. А. Тесковой. Сама Тескова очень этому удивлялась.

В письмах Цветаевой — монолог, излияние

себя какому-то мифическому адресату. То же самое ведь было в ее отношении к Пастернаку.

В другой раз Марк Львович сказал: «Женщины не знают о том, как она мстила мужчинам за отвергнутую любовь».

Дотошность объяснений, а также общая атмосфера этой беседы и тон Марка Львовича вызвали во мне тогда уверенность в том, что он говорит абсолютно откровенно. (См. также Приложение 2.)

Вспоминая увлечения Цветаевой, некоторые ее друзья приходили к выводу, что помимо «историй» или сплетен, Цветаева в любви никогда не была счастлива, и пытались в этом разобраться:

> Марина Цветаева не понимает любовь, не знает, что такое настоящая творческая любовь... В любви она не видела самого главного, она не видела в посредственности жизни, в «быту» — красоты и глубины, ей это было не дано (В).

Другое свидетельство:

> Надо было тогда понять, догадаться, что она была глубоко несчастным человеком. А меня раздражали ее романы, неуменье сопоставить то, что было, с тем, к чему она стремилась (Ю).

Тут можно вспомнить и слова Ариадны Сергеевны:

> У нее всегда было все от себя. Она себя вставляла в другого, щедро наделяла других собой. Видимо, она только в переписке и была счастлива. Она в действительной жизни, с человеческими слабостями, сосуществовать не могла.

И дальше, относительно быта:

> Пастернак, например, умел очень гармонично справляться с бытом. У него было на него чутье партнера, а она себя целиком вкладывала в другого; потом этот вклад рассасывался, и тогда оставался голый человек. Пастернак этого оставше-

гося голого человека как партнера принимал, а она — нет. Она была сложный человек.

А Марк Львович на эту тему сказал:

> Ее «бурная» жизнь страшно преувеличена. В Берлине я никого не знал, кроме К. Б., с кем у нее был настоящий и очень трудный роман. Остальное — это были разные "amitiés" (дружеские отношения) или 'amitiés amoureuses" (любовь-дружба) или мифы... Штейгер, например,— это чепуха. Его сестра говорила о брате своем, что романа не было. Они ведь виделись всего раза три.
>
> У нее было так: получит письмо, почувствует родственную душу и — уже миф. В этом смысле письма ее — это дневник /.../ А репутация женщины с бурной жизнью — это все бабские разговоры. Это неверно и фактически, и психологически. И особенно много выдумывали, конечно, женщины /.../ Все стихи ее с 1922 до 1928 г. о К. Б. Тогда мы с ней и подружились, я ей помогал во многом, и в этом. Этого романа она и не скрывала.

Тут уместно вспомнить и Саломею Николаевну, которая мне говорила, что «Марина не была склонна к романам».

В письмах Марины Цветаевой, так же как и в творчестве, отражены особые ее отношения с несколькими женщинами. Поэтому мне приходилось задавать вопросы и о ее «сафизме». На эту тему со мной говорили не часто и с большой категоричностью. Мне трудно сказать, вспоминали ли друзья быль, или просто передавали свое впечатление от чтения «Повести о Сонечке» или раннего цикла стихов «Подруга».

Мария Сергеевна Булгакова, например, когда я ее об этом спросила, мне ответила: «Не знаю... Нет. Я об этом никогда не слышала. Скорее наоборот — она на женщин нападала и обижала их».

Другая подруга: «Она к нам относилась скорее безразлично. Мы ей были чужие /.../ Она была к нам снисходительна, но не ценила нас. Женщины были бабье. Она больше ценила мужчин» (Е). И еще: «Была ли она лесбиянкой? Конкретно нет, конечно. В ней было жела-

ние покорить. А физически она не была лесбиянкой. Просто ненасытная баба /.../ Она не видела, что в любви есть нечто важнее жизни, смерти, тела и т. д. «Неподвижно пить солнце любви», как пишет Соловьев — вот, что ей было нужно...» (В).

Помимо свидетельства подруги ранней юности, которое цитировалось выше, есть другое воспоминание, относящееся к тому же периоду:

> Первое мое воспоминание о ней относится к 14-му или 16-му году приблизительно. Я в Москве издавал журнал, который назывался «Музыкальный современник», с Римским-Корсаковым. Его жену звали Юлия Лазаревна Вайсберг. Два раза я был приглашен к ним на такие очень странные сеансы. Марина Цветаева тогда считалась лесбиянкой, и там, на этих сеансах, я два раза ее видел. Она приходила с поэтом Софьей Парнок. Обе сидели в обнимку и вдвоем, по очереди, курили одну папиросу. Для меня она была тогда "une lesbienne classique" (классическая лесбиянка). Кто из них доминировал? Что писала Софья Парнок? Не знаю (Г).

Очевидно, в этой музыкальной среде в те годы гомосексуальная любовь была очень распространена. Кое-кто из современников вспоминает, что «сафизм» был характерен для друзей, приходивших к Марине Цветаевой в Борисоглебский переулок (М).

Относительно более позднего периода сведения не так точны. Но самый факт постановки этого вопроса показывает, сколь неутолимой была в Цветаевой жажда любви: она искала в общении с человеком родственной души, будь она женская или мужская, подходящая или нет. Никто ее удовлетворить не мог, ни одно живое существо не соответствовало ее ожиданию, и разочарование с болью и силой выливалось в творчество, по замечательно меткому наблюдению Пушкина: «Прошла любовь, явилась муза...»

Изо всех цитируемых выше высказываний становится ясно, что большинство знакомых и друзей Цветаевой довольно четко распадалось на две категории: первые — почитатели таланта Цветаевой, ценившие ее стихи,— часто игнорировали при жизни или, во всяком

случае, старались поскорее забыть обиды, сплетни и неприятные черты ее личности. Вторые — дружившие с Сергеем Яковлевичем, иной раз забывали, что Цветаева — поэт, или считали, что даже если человек — поэт, это не значит, что от него надо все терпеть.

Когда до парижских друзей дошла весть о трагической кончине Цветаевой, многие испытали естественное чувство личной вины: некоторые считали себя ответственными за то, что не сумели ее отговорить от отъезда, вовремя и более существенно помочь и окружить ее теплом и любовью. Другие близкие ее друзья анализировали разные этапы ее жизни, пытались установить различие между более или менее счастливыми периодами. Но смерть Цветаевой продолжает ощущаться многими как личная трагедия: они винят в ней не только себя, но и парижскую литературную среду, и эмигрантскую беспомощность, и всю Россию, с ее ужасающими политическими обстоятельствами, не сумевшую вовремя отдать дань таланту Цветаевой и справедливым признанием защитить от последнего и рокового приступа отчаяния.

Ариадна Сергеевна больше других, естественно, испытывала горечь по этому поводу и очень критически отзывалась о «ложных» или «мнимых» друзьях, появившихся и рыскавших вокруг ее архива и стихов только тогда, когда началась столь раздражавшая ее «цветаевская мода». Она постоянно подчеркивала одиночество матери, отсутствие около нее настоящих, самоотверженных и верных друзей, умевших закрывать глаза на ее человеческие слабости, чтобы ценить только ее подлинную поэтическую суть.

В связи с этим можно вспомнить, как по-разному относилась Марина Цветаева к разным людям, мужчинам и женщинам. Об этом говорят и некоторые процитированные выше свидетельства. Согласно одним Цветаева игнорировала женщин, не замечала их и только лишь пользовалась их услугами. Тем не менее с несколькими женщинами у нее было подлинное общение, в тех случаях, когда она чувствовала либо личное, иногда мимолетное, влечение, либо то «родство душ», к которому она постоянно стремилась. Относительно мужчин происходило то же самое. Были люди, которыми Цветаева увлекалась и которых одно время превозносила, но затем, разочаровавшись в них, со свойствен-

ной ей надменностью, от них отворачивалась и их отбрасывала. Но были и избранные собеседники, которым Цветаева открывала глубину своей души и широту своего творческого ума. Несомненно, Марк Львович Слоним принадлежал к последней категории избранников. Поэтому и приходится так часто в данной работе приводить его высказывания.

Относительно женщин, которых Марина Цветаева «ни в грош не ставила», «не замечала» или «третировала», можно сказать, что у них осталась к Цветаевой как человеку враждебность и желание поскорее все прошлое забыть; но есть удивительные по скромности и незлопамятности воспоминания, которые их авторам несомненно делают честь.

Например:

> К нам Марина Цветаева относилась безразлично, мы были ей чужие /.../ Я перед ней пасовала совсем. Перед ней я себя чувствовала ничем, но слушать ее было замечательно. У нее был большой ум, и это был огромный вклад в мою жизнь /.../ Спросишь ее о Художественном театре или о Брюсове, о Волошине, и она начинала рассказывать. Дашь ей тему, и она говорила... Или просто рассказывала что-нибудь. Даже о нужде своей говорила, но без злобы. О себе она вообще говорила неохотно, кроме как о детстве, о Тарусе. В своей компании она была остроумной, веселой. Или наоборот, то озабоченная, то сердитая... С ней я чувствовала себя очень связанной, но она была особая... (Е)

До нас дошла интересная переписка Марины Цветаевой с А. А. Тесковой, а об этой переписке Ариадна Сергеевна мне говорила, что это «роман в письмах», каких у ее матери было много, и что в действительности между обеими женщинами не было большой дружбы; останься Марина Цветаева в Чехословакии, ее чувства к Тесковой не выдержали бы прозы будничных отношений — в чем она несомненно была права. Другие друзья отмечают большое различие между письмами Цветаевой и той реальностью, которая в них отражается и которая им была хорошо знакома. Марк Львович Слоним тоже это подчеркивал:

Разница тона между письмами и действительностью, конечно, есть. Это правда. Ведь быт был очень живой: ужин, вечер у кого-нибудь, для нее это был праздник, она веселилась и любила это. А в письмах выступал яснее трагизм ее быта. Потом вспомните ее способность воспламеняться чем угодно и кем угодно!

Ариадна Сергеевна в своих объяснениях идет дальше:

Какие у нас были друзья за границей? Сколько надо было терпения, чтобы быть другом такого человека! А когда мы были рядом, она ныла и шпыняла. Уехали, исчезли, умерли... и стала скорбеть. Все она своих друзей оплакивает. И вообще все, что она пишет,—реквием. Но где она была, когда они были при ней? Она всех оплакала и увековечила /.../ Человек она была организованный, настойчивый, деловой и энергичный. Оттого-то ей так мало помогали. У нее была способность справляться со всем, она все могла. Но тогда ведь мужчины и женщины были другие. У нее было какое-то разминовение со временем. Это теперь, когда женщины стали мужчинами, она бы, со своей мужской силой и энергией, могла бы устроиться.

В первые годы на Западе всем русским эмигрантам жилось трудно. Впоследствии же, когда у каждого жизнь постепенно налаживалась, для Цветаевой все обернулось по-другому, и к концу тридцатых годов ее материальное положение стало действительно невыносимым. К неумению устроить быт прибавлялось еще одно обстоятельство, усугубляющее тягостность ее жизни: Марине Цветаевой помогать было трудно. Многие друзья семьи предпочитали общаться с Сергеем Яковлевичем, человеком обходительным, воспитанным и тонким, «с чистой душой», идеалистом. Марина была «жесткая», и многие понимали, как, должно быть, трудно живется мужчине, оказавшемуся в положении мужа гениального поэта.

Марк Львович Слоним вместе с другими подчеркивает ее гордость, надменность, неумение благодарить. Ее требовательность к друзьям была безмерна, как и все в ее характере. Ведь сказал же он ей однажды, что

она «одна голая душа. Даже страшно». (Цветаева цитирует эту его фразу в письме к Тесковой). О неблагодарности Цветаевой можно продолжать собирать анекдоты. Сама она свои взгляды на эту тему изложила в своей прозе и, хоть и косвенно, в одном стихотворении — «Хвала богатым» (с которым можно не соглашаться).

О пренебрежении к правилам «светского поведения» приведу еще один рассказ из «дачной жизни»:

> /.../ В Понтайяке очутился Максим Ковалевский и провел там недели две или три, сняв где-то поблизости от нас комнату, приходя к нам на все харчи и вообще проводя у нас весь день и наполняя дом ковалевско-лошадиным смехомржаньем. Все это было гениально и удовлетворяло всех, кажется, вплоть до хозяйки дома, моей матери. Через несколько дней после этого водворения как-то появились в садике перед нашей дачей, в котором я находился один, супруги Эфроны и остановились у входной двери. И тут жена нетерпеливо-резко отчеканила мужу: «Меня здесь интересует только Максимчик» — и, заложивши руки за спину и сутулясь, стала по-стервиному ходить взад и вперед перед домом. А он покорно и несколько смущенно пошел в наше обиталище вызволять оттуда «Максимчика». Вся эта демонстрация, сделанная в моем присутствии, показалась мне очень неделикатной по отношению к моей семье, отнесенной по меньшей мере в разряд "quantité négligeable" (незначительный элемент) в своем же доме, не говоря уже о Сергее Яковлевиче, которого положение и роль в своей же родной семье стали мне представляться не очень завидными. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

В связи с этим приведу свидетельства современников о Сергее Яковлевиче, тоже чрезвычайно разные и подчас противоречивые.

Ариадна Сергеевна, например, во всех сложных ситуациях была всецело на стороне отца. Это видно из всех ее высказываний. При мне она неизменно защищала его память (возможно, по «конъюнктурно-политическим» причинам). Но ее личная привязанность

и самоотверженно-любовное отношение выражалось и в рассказах другим лицам. Собирая семейные фотографии, она пишет в 1960 году парижским друзьям:

> Папина сестра Елизавета, которой уже за 70, его очень напоминает. Она так же добра и нетерпима, как папа был, и кротка и неукротима, и обладает тем же чувством юмора и тем же глубоким настоящим интересом к людям и явлениям.

В другом письме в Париж она рассказывает, что собирает воспоминания современников о своих родителях:

> Важно, чтобы и папа остался — его несказанная душа, ум, доброта, несгибаемость, благородство. Глаза, руки, его прелестный юмор и его грусть. Как он мне много дал! (письмо 1965 г.)

И в другом письме: «Мама меня учила многому, и это не привилось, а привилось многое из отцовского, который никогда не учил» (письмо 1966 г.).

Мне Ариадна Сергеевна говорила, что в воспоминаниях, которые написал о ее родителях В. Ф. Булгаков, последний секретарь Толстого, он говорил о Сергее Яковлевиче: «Это был поджарый худой мужчина, типичный русский интеллигент».

Из пражских впечатлений:

> Сергей Яковлевич был мягкий русский интеллигент. Он ничего не делал. У него была страшная способность увлекаться. Например, в Праге, в кондаковском институте, он хотел уйти в монахи. Потом он увлекся евразийцами (Мирским, Сувчинским), они на него оказали большое влияние. Они шли от православия к коммунизму... Он был слабый... Это был человек прекрасной души, но такой безответственный! Он любил хорошую жизнь... у него несомненно был надрыв в отношениях с женой (Б).

Мария Сергеевна Булгакова, вспоминая К. Б., говорила:

6— 1244

Сергей Яковлевич тоже, в общем, слабый человек, из категории "maquereaux" (альфонсов). Болезнь его — миф. Я знала их 14 лет. Никогда он болен не был. Просто они уезжали вместе с моим первым мужем в горы, в пансион (Шато д'Арсин) отдохнуть от жен, от быта, заводить флирты и так далее.

Марк Львович Слоним говорил более спокойно:

Да, Сергей Яковлевич был туберкулезным. Но он вылечился. Это был человек атлетического сложения. Красивый по-мужски и по-настоящему. Бездельник? Не знаю. Я вообще знал его очень мало и бывал у них редко.

Однажды мы с Прокофьевым поехали к Марине Ивановне. Сергей Яковлевич разглагольствовал о России, и Прокофьев взъелся. Он был так сердит, что на обратном пути вместе с машиной врезался в столб на бульваре.

А Марина Ивановна мужа очень любила. Любовь эта была сложной. Это была любовь женщины к долголетнему спутнику жизни. У нее было также некое материнское покровительство, чувство, что она должна работать за него и для него. Он был человек вежливый, мягкий. Они были «на вы», конечно.

Саломея Николаевна Сергея Яковлевича знала мало и говорила:

Он был романтиком и чрезвычайно глупым. Наивность и доверчивость крайние. Часто говорил лишнее, мне, например. Вероятно, он как-то оказался замешан в историю, сам не зная того, что делает.

Другая знакомая вспоминает:

Познакомилась я с Цветаевой еще в Москве и полюбила ее за стихи /.../ Она вышла замуж за белогвардейца. В Белой армии это был человек храбрый /.../ Я его знала долгие годы. Это был милейший человек и абсолютный идеалист.

А здесь в Париже на концерте Красной армии он подошел ко мне и сказал: «Вы скоро узнаете, что я стал нерукопожатный». Какой ужас! (М)

Более близкая знакомая вспоминала его так:

Он был прелесть! Дитя! Она его тоже за ребенка считала. Он был для нее идеалом. Они были «на вы», и в их отношениях был принят высокий тон, но Марине с ним было трудно. Он был болен. Он участвовал в Евразийстве. Вообще он всегда был занят. Он был ей не поддержка, хотя очень ее ценил (Е).

Другая оценка: «Он, конечно, был слабым человеком, и это была драма в семье, хотя у него была прекрасная душа!» (Б) И: «Сергей Яковлевич — светлая личность в семье!» (М). Один человек рассказывает:

Это был необыкновенно привлекательный человек: "laideur distinguée" (благородно некрасивый), настоящий интеллигент, не очень образованный, приветливый, вежливый. В нем была притягивающая духовность и на почве этой духовности близость с дочерью. Но поразительно, что такой замечательный человек попал в "engrenage" (ловушку), которая вынудила его стать наемным убийцей. Он выполнял задания советской разведки. Был, вместе с Кондратьевым, прямо замешан в деле Порецкого. Был он и "recruteur" (вербовщиком) и "participant" (участником) (И).

Один давний знакомый семьи, примкнувший к Евразийству в Праге, описывает Сергея Яковлевича году в 31-м:

Это был абсолютно порядочный человек. И вообще это один из десяти лучших людей, с которыми мне в жизни довелось встретиться. Марина Ивановна меня терпеть не могла. Она не могла мне простить, что я бросил писать стихи. К ней меня привел Сергей Яковлевич. Это был очаровательный и благороднейший человек. Его жизнь с Мариной была просто адом. Она же и Алю в свою бурную жизнь посвящала! /.../ Что вообще

Сергей Яковлевич пережил! Мне сам Корде говорил, что Мур его сын. Я перед Сергеем Яковлевичем млел /.../ Когда я с ним познакомился, он был уже не такой красивый, как в молодости, он уже тогда много пережил. Он всю жизнь себя вел так, как будто он живет в самой счастливой семье. Они были «на вы», без внешней нежности. Но никогда и намека не было на возражения по поводу жизни Марины, никакой резкости. Были совершенно гладкие отношения. Но жизнь была мукой /.../ Сергей Яковлевич был мягкий, добрый человек, абсолютный товарищ /.../ У него был очень душевный тон и стиль. Говорил тихо, не повышая голоса. Несмотря на разницу возраста (он был старше меня на 11 лет), он говорил со мной, как с равным. Несмотря на жалобы в письмах Волошину, он никогда не жаловался вслух ни на Марину, ни на хаос в доме: товарищеские отношения с женой и со всеми, ровный тон, деликатность (Ю).

Отношения Сергея Яковлевича с евразийцами начались еще в Праге. А в момент переезда семьи в Париж из Берлина туда также переехали Бердяевы и Карсавины. Тогда парижское Евразийство стало отдаляться от пражского. В этом контексте один из деятелей этого движения вспоминает Сергея Яковлевича:

У меня с ним были очень хорошие отношения. Я с ним был «на ты». Он меня очень любил, и я его тоже. Он был евразийцем и работал со мной в евразийском издательстве в Кламаре. Он был в общем "un pauvre homme" (несчастный человек), между женой и дочерью. Просто страшно было! "On a fait beaucoup de bêtises" (мы наделали много глупостей), но было много хорошего и настоящего. Это был период последнего, неудачного и наивного, но хорошего движения: желания понять Россию как Евразию — и принять революцию, "J'ai fondé et j'ai défait le mouvement" (Я основал это движение, и я с ним покончил). В Кламаре были евразийские собрания. Основателями были Савицкий, Трубецкой и я. Потом произошло сильное полевение движения и, наконец, раскол (Г).

П. Ковалевский считает, что разрыв в Евразийстве произошел в 1920 г. Затем в 1931 г. состоялся съезд евразийцев, и «движение из группы научных работников превратилось в политическую организацию, что ее и погубило впоследствии» («Русская мысль», Париж, 6/9/1973)[10].

А в рассказе свидетеля:

> Я считаю, что Евразийство началось еще в Болгарии в 1921 г. и кончилось оно около 1929 г. Полевения движения Трубецкой не хотел.
>
> Были левые и правые. Были белогвардейские офицеры, а затем стали появляться какие-то странные посланцы из России — провокаторы. Это создавало вражеские отношения внутри движения. Мирский тогда тоже полевел (Г).

К. Б. тоже вспомнил о Евразийстве:

> Евразийство было периодом интересных и плодотворных исканий в области политики. Мы тогда все рвались что-нибудь делать, но были неустроенными, наивными, по-настоящему не умели разобраться в сложной ситуации.
>
> В Евразийстве произошел раскол из-за проповеди Мирского и Эфрона. Им современная Россия как-то импонировала (Г).

А вот свидетельство со стороны: «Евразия сначала была политико-философским движением, потом оно было целиком инфильтрировано красными. Тогда говорили: Евразия — безобразие!» (Ш)

Еще один свидетель рассказывает:

> Расцвет Сережин наступил в компании Мирского, Сувчинского, Марины, которая тоже на какое-то время вошла в Евразийство /.../ Литературным деятелем он был, очевидно, невеликим, его рассказ, который восхищал Марину, по-моему, посредственный. В «Верстах» он был редактором скорее административным, очевидно (Ю).

Ариадна Сергеевна про это время мне рассказывала очень кратко:

Во Франции были случайные заработки отца при разных эмигрантских затеях. Работал он то статистом в кино, то еще чем-то и постоянно болел. Тогда издавались «Версты», о которых говорили, что они видны «в перспективе»: первая книга толстая, вторая тоньше, а третья (и последняя) — совсем тоненькая. О Евразийстве я ничего не знала, да и не знаю толком. Это была левая и православная группа с газетой «Евразия», которую тянули из последних сил. Люди работали кто водителем, кто на стройке, кто официантом, чтобы ее выпускать.

Во время летнего пребывания семьи Цветаевой в Понтайяке в 1928 г. Сергея Яковлевича дачники очень оценили, так как он всех «баловал» интересными рассказами:

Мы даже как-то все сложились, чтобы поднести ему за них огромную порцию мороженого с непременным требованием, чтобы он тут же, на пляже, съел ее, ни с кем не делясь, как ему, по-видимому, хотелось бы /.../ Раз, на одной вечерней, и для его семьи прощальной, предотъездной прогулке он оттянул моего брата в сторону для конфиденциального разговора. Темой его было приглашение вступить в общество евразийцев и, наверное, стать сотрудником тогда основавшейся еженедельной (или скорее ежемесячной) газеты «Евразия». Ото всего этого брат отказался /.../ «Кухней» газетки занимался наш знакомый Шура Адлер /.../, тогда ушедший по горло в Евразийство. На заглавии газеты кирилическое «И» выглядело похожим на «Н», и потому некоторые люди /.../ саркастически называли ее «Евразня». (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Сергей Яковлевич, по словам и этого свидетеля, был абсолютно бескорыстен и щедр, даже с мало знакомыми людьми.

Но жизнь складывалась трудно. Несомненно, «случайность» заработков, о которых рассказывала Ариадна Сергеевна, «эмигрантские затеи» (издательства и другие) не похожи были на то «творческое», о чем раньше мечтал Сергей Яковлевич, рядом с юной Мари-

ной. Семейная жизнь, видимо, тоже приносила мало радости. О средствах, на которые в те годы жила семья, было сказано выше.

Печаталась Марина Цветаева меньше и горько жаловалась на опечатки, на «цензуру», на неохотность, с которой ее принимали разные «толстые» парижские журналы. Было еще известное приветствие Маяковского. О нем Мария Сергеевна Булгакова вспомнила: «Приезжал в Париж Маяковский и выступал, мы с Мариной на этом вечере были вместе». После этого «приветствия» Марина Цветаева стала считаться более «левой», чем она была на самом деле, было и заметное полевение Сергея Яковлевича. А главное, иссяк основной источник средств — «Воля России» перестала существовать в 1932 г., с прекращением чешского пособия. Тогда начинается для Марины Цветаевой новая полоса — семь лет нищеты и материального разорения,— окончившаяся и личным одиночеством.

Глава 7. ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ (1932—1939)

Адреса М.Ц. Бедность. Письмо А.С. Эфрон М.С. Булгаковой. Комментарии к письму М.С. Булгаковой. Сообщение М.С. Булгаковой «М.Ц. в быту». Ответы на вопросы студентов. «Кочевье». Ла Фавьер, 1935 г. Деятельность С. Я. Работа С.Я. Испанская война. С.Я. в семейной жизни. Дело Рейса. Отъезд С.Я. Эфрона из Франции. Знала ли М.Ц.? Отношение М.Ц. к политике. Одиночество М.Ц. во Франции. Хлопоты перед отъездом. Литературные дела. Нерешимость М.Ц. перед отъездом. Последние дни М.Ц. в Париже.

В апреле 1932 г. Марина Цветаева с семьей переехала из Медона в другое предместье — Кламар. Там она прожила два с половиной года, после чего сняла квартиру в близком пригороде Ванв [11]. Из этой квартиры ее дочь уехала в Москву 15 марта 1937 г., а затем и ее муж — ранней осенью того же года. Марина Цветаева с Муром оставались в этой квартире до переезда в гостиницу «Иннова» в центре Парижа, на бульваре Пастера (сентябрь 1938 г.).

Летом 1934 г. она провела месяц в деревне, август, на ферме около Эланкура, а лето 1935 г.— на берегу Средиземного моря, в городке Ла Фавьер. Короткая поездка в Бельгию состоялась в мае 1936 г., и в том же году Цветаева провела часть лета в деревне, в средней полосе (Море сюр Луэн), а август и половину сентября — в известном Шато д'Арсин. Это был замок около города Бонвиль, в Савойе, хозяином которого был русский адмирал, Петр Петрович Фантон де Верайон. Так как согласно рассказам друзей Сергей Яковлевич был человеком приятным и общительным, его ценили и часто приглашали погостить с семьей в этом замке. Однако я не нашла следов прибывания Марины Цветаевой в этом замке, кроме писем 1936 г., в которых дан адрес — «Сен Пьер де Рюмийи — Шато д'Арсин». Очевидно, в другие годы она снимала жилье неподалеку от замка. Например, в письме к Тесковой от 20 сентября 1930 г. в начале письма стоит адрес замка, но дальше приписка: «— мне. Это Сережин адрес, но у нас своего нету» («Письма к Тесковой», с. 83).

О пребывании Цветаевой в Савойе один современ-

ник говорит: «Она тогда жила совсем не так бедно, в маленьком пансионе, рядом с замком» (В).

В год отъезда части семьи в СССР Цветаева проводит все лето в деревне на реке Жиронде, а весну следующего года на море.

Несмотря на возрастающую бедность и неуютные условия жизни, ее тянет к природе, и она постоянно уезжает из своих ужасных предместных квартир, чтобы провести часть года в деревне (исключение составляют несколько летних месяцев, когда ей не удалось вырваться из города, о чем она писала в письмах и стихотворениях 1932—1933 гг.). Условия деревенской жизни тоже были трудными — о дачном комфорте она и не мечтала, его не было ни у кого, но были лес, ветер, иногда пляж и всегда — прогулки.

Ариадна Сергеевна, например, рассказывает:

> В городе я видела только то, что можно видеть глазами. В кино ходили редко, в театр, в концерт — никогда. Зато почти каждый год куда-нибудь уезжали на природу. Если нельзя было уехать, то были Медон и лес. Отец часто болел, поэтому его все время куда-нибудь устраивали подышать воздухом. Так его устроили в замечательный замок д'Арсин, около Сен Пьер де Рюмийи, и мы ездили к нему в деревушку рядом. Там были написаны «Стихи сироте». Так как мой отец был очень приятный человек, его в Шато д'Арсин полюбили и постоянно приглашали.

К этому времени средств на существование становится значительно меньше, поэтические вечера устраиваются с трудом, и, как известно, Цветаевой приходится самой хлопотать о приглашении людей и о распродаже билетов.

Марк Львович Слоним описывал материальное положение Марины Цветаевой в Париже, припоминая ее собственные слова:

> У Марины Цветаевой не было ни гроша за душой. Она переехала в нетопленную квартиру, писала стихи на кухонном столе и говорила: «Я вся в мыльной посудной пене, из нее не выхожу с 17-го года и за нее всех сужу и всем грожу». Например, она должна была пойти на обед к Федотовым. Она не пришла потому, что, когда она вышла на

улицу, разорвалась ее единственная пара туфель. Одно стихотворение этой поры очень знаменательно:

За этот ад, за этот бред
Пошли мне сад на старость лет.

Другое стихотворение Марины Цветаевой типично для того времени; хотя оно написано раньше, оно отражает все то, чем она жила. Всем известна легенда о Роланде, звавшем звуком рога своего короля на помощь, когда на него напали сарацины. Она в этом стихотворении себя, поэта, уподобляет Роланду[12].

Фраза о «мыльной посудной пене» — пересказ известного письма Цветаевой Ю. П. Иваску, в котором она сравнивает свое положение с нищетой героини Достоевского («Русский литературный архив», 1956, с. 216).

Однако разные люди свидетельствуют о том, что в эти годы были более существенные доходы, но сведения довольно расплывчатые, они в основном относятся к помощи, приносимой тогда в семью Сергеем Яковлевичем:

Нужда была огромная, материальная помощь приходила через Сережу, с Мариной также познакомилась Леля Базилевская, которая ей в Париже помогала, вместе с нами (Е).

А К. Б. в беседе со мной неоднократно повторял, что в Париже в 30-е годы семья была обеспечена (!). Правда, он тогда уже с Мариной Цветаевой виделся редко, дома у нее не бывал, а встречался только с Сергеем Яковлевичем. Он говорил:

К концу жизни в Париже они не были бедными. Сережа Марине помогал. Он ведь вел заграничную работу большевиков, за которую он получал регулярный заработок /.../ В Париже Марина вовсе не была в безвыходном положении. Она уже получала пенсию и была обеспечена.

Эти сведения противоречат общему впечатлению всех других знакомых Цветаевой о ее быте того времени. И все подчеркивают не только нищету семьи, но

также неумение Цветаевой при скудных средствах создать уютную или просто сносную обстановку в доме.

> Она к себе приглашала мужчин, в свой беспорядок, с некоей гордостью, с таким видом, что мол, "Je n'ai rien ă cacher" (мне нечего скрывать). Однажды, выиграв пари у одного господина, она попросила его подарить ей передник. Она очень любила их, они с мамой часто передниками обменивались /.../ А нищета была, конечно, но у всех во Франции было одинаковое положение! (Б)

В 1968 г. в Парижском университете студенты моего семинара изучали жизнь и творчество Цветаевой, и я на него пригласила Марию Сергеевну Булгакову выступить с докладом «Марина Цветаева в быту». Мария Сергеевна тогда написала Ариадне Сергеевне в Москву с просьбой ей помочь. Ариадне Сергеевне, конечно, не понравилась вся эта затея, о которой она в письме знакомой написала: «дурацкие лекции», но тем не менее на просьбу откликнулась длинным письмом, которое я привожу целиком:

> Относительно подготовляемого тобой сообщения о «Марине в быту» — тебе действительно, должно быть, нелегко собрать материал. Его можно было собрать раньше, пока были живы многие ее современницы из числа часто общавшихся с ней; сейчас почти никого не осталось в живых, и это — не слова /.../ Мама предпочитала общаться с друзьями и приятельницами вне дома, чтобы встряхнуться, переменить обстановку, чтобы общение это было менее будничным. Также и Шуранька, наш такой долголетний друг, почти никогда не бывала у нас, а мы все, оптом и в розницу, часто бывали у нее; из всех маминых друзей-женщи̇н ее в быту знали, пожалуй, только два человека: Анна Ильинична Андреева, вдова Леонида, и М. Н. Лебедева — обеих нет в живых.
>
> То, что мама «третировала» Катю, Шурика, тебя и других, преданных ей, не совсем верно *по существу*, хотя, возможно, «по форме» и верно. Дело в том, что она, будучи человеком исключительно глубокой, высокой, интенсивной и постоянно обновляющейся духовной внутренней

жизни, быстро доходила до *потолка* отношений, выше которого собеседнику не прыгнуть. Для нее, с ее безмерностью в мире мер, каждый собеседник был заключен в определенные пределы, за которые она быстро вышагивала; не забудем, что она была *поэтом* с большой буквы, а мы все, все, все (за исключением моего отца, во многом равного ей в смысле *духа*, хоть и совсем другого, иного по существу) были в лучшем случае лишь читателями, т. е. потребителями, а не творцами. Ей быстро наскучивала наша обыденность, мы были ей не по росту, сами того не понимая в те времена, ибо даже тогдашнее наше восприятие этого явления, т. е. явления *настоящего* поэта, было не по нашим тогдашним силам и возможностям. За всю жизнь по росту ей были два человека: мой отец и Пастернак... Как бы там ни были мы все милы, хороши и пр., мы все — люди иного масштаба, чем была она, и таковыми остались — хотя поумнели и углубились в отведенных нам пределах. Само собой разумеется, при любых обстоятельствах «третировать» людей нехорошо, ну, что поделаешь! Люди ей это прощали, а если не прощали, значит, были не люди, а так, недоросли.

Что сказать о быте? Чехию ты, верно, сама помнишь, крайние хибарки на краю деревни, веселая, по молодости лет, нищета; жили на Сережину стипендию, на редкие и тощие гонорары и вспомоществования. Во Франции первые года два — пока широко печатали и был в расцвете эфемерный интерес к творчеству — жили не так плохо, а дальше (материально) все хуже и хуже. Только теперь, живя в приличных, хотя и не во всем легких условиях, вижу, какая это была *нищéта*. Другого слова не подберешь, да и зачем? Что было, то было.

За чисто внешней необихоженностью нашего быта стояла железная мамина дисциплина и организованность. Все были сыты, одеты, обуты — что маме стоило больших усилий, при почти полном отсутствии средств — ведь жилье стоило дорого, на «терм» * уходила львиная доля средств —

* Терм — плата за квартиру.

заработанных, «пожертвованных», взятых в долг. Ели — из мяса — только конину; на базаре брали только самую мелкую картошку, самое дешевое из остатков зелени и т. д. Яйца бывали только на Пасху; сливочное масло — только для папы (ТБЦ) * и Мура (маленький). Сладкого не бывало вообще. Вещи были с чужого плеча, обувь — с чужих ног. За всю мою жизнь во Франции, за все годы у меня было два новых платья: первое мне сшили Наташа и Оля Черновы, в год нашего приезда (первое время жили у них, 8 rue Rouvet 18e), второе сшито подругой в 1937, в год моего возвращения в СССР, а было мне 24 года! Маме, правда, что-то перешивалось и иногда шилось — ей ведь приходилось выступать на вечерах, надо было «прилично выглядеть». Мама вставала рано; что бы ни было, как бы ни мешала жизнь — *садилась за стол и работала в утренние часы; шла к столу ежедневно, ежеутренне, как рабочий к станку*. Утром ничего не ела, только пила кружку черного кофе. Немудрящий завтрак готовила я (маленькому Муру что-то варилось отдельно). За покупками обычно ходила я, это была часть Муриной прогулки. Потом шли с Муром догуливать, мама ставила варить суп (в нем же варилась картошка на второе), обычно еще бывали бессменные конские котлеты — много хлеба, мало мяса, но все сыты,— и продолжала работать. Обедали вместе — мама ела очень мало. Еду старались готовить на 2—3 дня, иногда с вечера. Во 2-й половине дня мама любила гулять с нами, детьми, ходила в Медонский лес, в Бельвю, делали большие пешие прогулки по banlieue, доходили до Севра, Сены; иногда ездили на электричке куда-н[ибудь] и там бродили; изредка ездили на целый день в Версаль. Ходьба, природа были маме необходимы; у нее было стремление одолевать пространство, больше всего любила горы, холмы, не гладкую местность. Общение с природой никогда не разочаровывало, она всегда обновляется, и у нее нет «потолка», не то что у нас, людей! Юг предпочитала северу, сушу — морю, любила камни, вереск, хвою, сушь. В ходьбе, как и в труде,

* ТБЦ — туберкулез.

была неутомима и неутолима. Любила и одинокие прогулки, и с людьми. Каждое лето старались куда-н[ибудь] выезжать на волю, первые годы на море (океан) с папой, в последующие — без него, он был погружен в работу, а когда болел — устраивали его отдельно, чтобы был уход. Жили «на воле» в самых жалких условиях (бытовых), часто основой питания были грибы, ягоды, хлеб и нам, детям,— овсянка. Деньги на поездку ведь брались из основного «бюджета». Жили в глуши, зато — воля, природа, незатоптанные места. Тогда и Фавьер был диким поселком, за продуктами ходили пешком в ближ[айший] городок неск[олько] километров — возвращались с рюкзаками: запас хлеба, крупы, сахара, кофе на неделю. И «на воле» мама работала по утрам. Два лета жили в Савойе, совсем одни на заброшенной ферме под горой. В деревушке в 3 километрах от фермы продавали и выпекали хлеб раз в неделю, была сыроварня — и больше ничего. До ближ[айшего] городка — километров 8, 10, и никакого транспорта. Тут уж грибы и ягоды выручали как никогда! Но зато красота, дичь, свобода...

Мама не любила хозяйства, так как оно прожорливо — пожирает время, не оставляя ничего взамен, ничего существенного, тем более — вечного: еда съедается и требуется новая; чистая посуда вновь требует мытья; белье — стирки, чулки — штопки и т. д. Но умела делать мама все необходимое, и это необходимое делала, всегда преодолевая внутреннее сопротивление этой трате времени. Она топила наши poêle-godin *, готовила еду (примус — вечный спутник наших поездок), стирала. Я ей помогала во всем, но, как теперь вижу, была и неумела в хозяйстве и *не заинтересована* в нем — без всяких к тому оснований, ибо я-то уж талантом не была! Но еще и возраст мой: ни детство, ни юность не любят хозяйства!

В одном из стихотворений цикла «Стол» мама говорит о том, что «счетом ложек Создателю — не воздашь», и таково было ее глубокое внутреннее отношение к быту — *библейское* отношение! Ибо в Евангельской притче говорится о том, что

* poêle-godin — маленькая печка.

талант в землю зарывать нельзя. И она всегда знала, что с *нее* Создатель спросит не «счет ложек», а главное: что она сделала с ей данным, с ей заданным. А к заданному тот же Создатель навесил нищету, трудный быт и вообще *всегда* трудную долю: замужней женщины, матери.

Чем дальше шла жизнь, тем меньше становилось у мамы друзей; «друг есть — *действие*», — говорила и писала она. *Действующих* друзей почти не оставалось, ибо ничто так быстро не наскучивает «друзьям», как действовать. Цветаева всегда нуждалась в помощи; как человек громадного, *единственного* таланта, она была на нее вправе: но где же те люди, которые всегда, ежедневно готовы помогать в самом трудном, в самом неприметном, в самом скучном? «Друзья» выдыхались один за другим; в лучшем случае они любили (по мере своего интеллекта) — стихи; но не творца этих стихов. Творец знал себе цену, был угловат характером, требователен, иногда и высокомерен. Высокомерны миллионеры, высокомерны и нищие. Миллионер духа и нищая в жизни, мама бывала высокомерна вдвойне. Кто бы мыл полы и стирал белье этому высокомерию? Таких охотников не находилось. Народились и подросли они только теперь — внуки ее по возрасту, которые по-настоящему узнали ей цену.

В письме /.../ и тысячной части не напишешь. Что добавлю? Мама была мужественна в невзгодах и беспомощна в мелочах. Щедра. Все в ней было в меру. Внешне и внутренне — подтянута, ненавидела расплывчатость, *рыхлость*, вялость, приблизительность. Всякое дело доводила до конца. В своей стихотворной работе была *точна*: видимая сложность многих ее вещей лишь от предельной *точности* выражения. Была человеком долга. Действительно любила собак и кошек. И действительно не любила моря, о чем не раз писала. Была человеком бескомпромиссным и благородным, никогда ничего никому в главном не уступившая ни на йоту. Курила.

Письмо это, написанное 18 февраля 1968 г., требует многих комментариев. Во-первых, неизбежны пов-

торения с уже опубликованным материалом: первое издание воспоминаний А.С. Эфрон о матери появилось только пять лет спустя, но Ариадна Сергеевна, так же как и ее мать, пользовалась своими письмами для собственного творчества. Тем не менее мне кажется, что это письмо представляет интерес первоисточника для будущей биографии Марины Цветаевой. Кроме того, многое несказанное угадывается между строк. Письмо это, по-моему, является яркой иллюстрацией того, что было сказано выше о сложности отношений между Ариадной Сергеевной и матерью. Влияние Марины Цветаевой на дочь было несомненно подавляющим. Следы этого влияния проступают в преувеличенной скромности Ариадны Сергеевны и в ее постоянном желании уйти на задний план.

Нельзя не заметить, что Ариадна Сергеевна обожает отца и всячески старается обелить его память.

В письме видна та же односторонность, которая свойственна и всем советским публикациям о Цветаевой. Ариадна Сергеевна хочет показать, что отъезд Цветаевой из России в 1922 г. был роковым шагом, который она попыталась исправить, вернувшись назад в 1939-м, а ее жизнь в эмиграции — сплошным провалом, потому что вдали от родины счастье невозможно.

Кроме того, в тоне письма Ариадны Сергеевны угадывается глубокое чувство вины, трудно сказать — осознанное или нет. Но в любом случае следует помнить, что, когда человек кончает жизнь самоубийством, все его близкие испытывают чувство непоправимой вины перед ним. И Ариадна Сергеевна, помогавшая матери с самого детства, шедшая с ней рядом почти всю жизнь, несомненно чувствовала себя ответственной перед ней: за то, что она из Франции уехала; за то, что оставила мать с ежедневными заботами, которые та ненавидела; за то, наконец, что не оказалась с ней рядом в минуту конечного и непреоборимого отчаяния.

Следует ли напоминать здесь, сколь трагична была судьба самой Ариадны Сергеевны?

Вернувшись в Москву после 17 лет тюрем, лагерей и ссылок, она затеяла новую борьбу — искупление за прошлое:

С матерью были безумно трудные отношения. Нечто вроде любви-ненависти. Когда родился

Мур, мать на него перенесла все внимание, остальных всех отстранила. Аля от этого очень страдала. Она была человеком огромного таланта. В ней потом произошел совершеннейший переворот. Она многое выстрадала... Это был человек большой глубины и духовности (И).

Ариадна Сергеевна стала добиваться публикации творчества Цветаевой, строчку за строчкой собирала огромную мозаику произведений матери в более чем сложных политических обстоятельствах.

На докладе в Сорбонне Мария Сергеевна Булгакова не читала письмо Ариадны Сергеевны студентам. Взяв из него основные данные и опираясь на личные воспоминания, она составила свое сообщение, которое я тоже выборочно процитирую:

Знакомство наше, с лета 1923 г. до июня 1939 г. длилось всего 16 лет. Но я не была ни ее другом, ни ее поверенным. Марина Цветаева была блестящей собеседницей, скорее, она одна говорила, а остальные слушали — и говорила блестяще. Это был настоящий поэт большой духовности и богатства и большой человек. Свой талант она сама ощущала и считала, что его нельзя зарывать — она осознавала себя поэтом.

Для нее характерны в жизни и неутомимость, и неутолимость, одновременно с беспомощностью в быту. Эту беспомощность она преодолевала и все свои житейские обязанности исполняла добросовестно. Бытовую работу она накладывала на дочь, Алю, говорила: «У меня талант, и я должна писать, а чем будет Аля — неизвестно».

Она часто была резка и высокомерна. В дружеской атмосфере выступала ее оригинальность. Но у нее бывали резкие выходки и поэтому было много врагов. К близким любовь ее была эгоистична. Она была несправедлива в своей неприязни, ее эгоизм проявлялся и в отношении к Але, и к Муру, и все ее за это осуждали /.../

Жила она всегда не в городах, а в пригородах, поэтому неверно говорить, что она горожанка. (На предыдущем занятии один студент читал доклад «О городском пейзаже в лирике Цветаевой» — В. Л.)

Она очень любила природу и гуляла каждый день. Она была худая, сухая. Она очень любила животных, собак, кошек, но собственных животных у нее никогда не было.

Материальные трудности были большие. Было легче два-три года в 1927—1929 годах, в евразийский период. Эфрон тогда сотрудничал в журналах «Евразия», «Версты». Движение субсидировалось из Англии и привлекло всеобщее внимание. Тогда старались понять Россию, а не только проклинать ее. Сергей Яковлевич Эфрон никогда не работал. Аля ссылается на его болезненность, на туберкулез. Но я об этом никогда не слышала во время нашего знакомства, а слышала: «химерические Сережины дела».

Раз в год устраивались поэтические вечера. Билеты продавались знакомым. На вечерах слушатели были все больше друзья, ходившие из филантропических побуждений. Поэты, кроме двух, не ходили /.../

Примитивность условий их жизни поражала всех, хотя эмиграция вся тогда жила бедно /.../, помогали меценаты, одежда всегда была чужая.

По поводу собраний евразийцев Мария Сергеевна вспомнила, что на одном из них возник спор между Мариной Цветаевой и Карсавиным о Германии, и Марина Цветаева расплакалась, потому что защищала Германию, а Карсавин был против. Другие люди мне говорили, что Карсавин был единственный человек, с которым Цветаевой не удавалось оставаться высокомерной. А Мария Сергеевна Булгакова считала, что евразийцы над Мариной Цветаевой подсмеивались, больше из-за ее резкости и антиконформизма, чем по поводу защищаемых ею позиций. «Евразийцы были левые. Муж Марины был евразийцем, а Марина тогда писала поэму о царской семье и о Перекопе. Она увлекалась страстно. И вот за такие противоречия евразийцы над ней издевались».

Продолжая свое сообщение в Сорбонне, Мария Сергеевна отвечала на вопросы студентов. Один их них касался средств, на которые издавались стихи Цветаевой:

«На издание поэмы «Крысолов» собирали деньги, но поэму так и не удалось издать отдельно».

Другой вопрос относился к «трудности» цветаевских стихов:

Я помню ее стихотворение «Так плыли голова и лира». Я его тогда не поняла. Это миф об Орфее. Когда она мне объяснила, я спросила ее, почему она к стихотворению не сделала примечания. Она ответила: «Пусть читатель догадывается». Ее сказку «Молодец» трудно понять, там слово «новик» означает «новый месяц», и «Переулочки» — вещь сложная, в которой смысл вылавливать нелегко.

Вопрос о чтении и культуре:

Читала она много: Гете, Ростана, Рильке, знала в совершенстве немецкий и французский /.../ Много помнила наизусть, особенно стихи, и читала их по памяти. Слушать ее было одно наслаждение.

О музыке:

Были музыкальные вечера у жены писателя Андреева. Там бывали Прокофьев, Стравинский, Сувчинский, но Марина Цветаева на концертах не бывала, она, видимо, музыку не ценила.

Ответ на вопрос о том, кто были ее друзья:

В Кламаре у нас были друзья — художники и другие. Один из них, Артемов, рисовал портрет Мура. Марина Цветаева приходила с детьми, и эти сеансы часто кончались ссорами, так как этот художник был крайне правый, она же считалась левой. Хотя она, в евразийский период, печатала в левом журнале стихи о царской семье.

Еще был вопрос о ее детских воспоминаниях:

Марина любила говорить о своем детстве, но, по-моему, много выдумывала. Например, ее история с Пушкиным, которого она оценила в три года, по-моему, чистая выдумка.

Любопытно, в связи с этим вопросом, вспомнить мнение, которое мне высказала Анастасия Ивановна много лет спустя:

> Марина мне не посылала свои воспоминания детства, потому что я бы ей сказала: «Зачем ты пишешь то, чего не было?» /.../ Марина создавала свою быль, а то, что было на самом деле, ее не интересовало. Например, ее «Жених» — ни дурак, ни мой и ничей жених, а Виноградов, наркоман, который умер в 1945 году (выстрелил сначала в жену, потом в сына, потом сам застрелился).
>
> Я написала Марине о смерти Коврайской, которую убили на улице. Шло следствие, а она в «Доме у старого Пимена» выдумала Бог знает что!

В тридцатые годы Марина Цветаева продолжает еще принимать участие в парижской литературной жизни. В частности, ее присутствие записано в протоколах «Кочевья». Как мне рассказывал Марк Львович Слоним,

> ...общество «Кочевье» было основано в 1932 г. и просуществовало до 1935-го. Я был его председателем. Это было общество литераторов. Собирались мы в кафе на Монпарнасе, внизу (в Taverne Dumesnil), три раза в месяц. Происходили литературные чтения и критика. Приходило много народу, тогда мы вводили Пастернака и советскую литературу, мы считались «левыми». Марина Цветаева тут не читала стихов, а слушала, разговаривала. Денег это общество не приносило, скорее наоборот.

К 1935 г. относятся фавьерские воспоминания знакомых дочери Цветаевой:

> Впоследствии мы встречались с Алей в 1934—1935 гг. и очень подружились. Вокруг Цветаевой был целый круг друзей и почитателей, но она всетаки всегда была одинокая. А Аля была в доме как прислуга, с матерью были страшные ссоры. Но у нас она о своей семье никогда не рассказывала, да и мы не расспрашивали, зная, что ей труд-

но. Она у нас жила нашей жизнью, отводила душу и свою семью не описывала и не вспоминала...

Я помню лето в Ла Фавьере. Это было в 1935-м или в 36-м году, там были Унбегауны, Марина с сыном и другие люди. Мария Сергеевна Булгакова приехала позднее. Мур тогда был круглым мальчиком, но я его совсем не помню. Была масса знакомых, все вместе купались, гуляли, хотя она держалась несколько в стороне, с нами не купалась. Был там и Покровский, у него был какой-то невзрачный пансион, по-моему, она у него и снимала комнату.

Однажды днем была жара, у Унбегаунов устроили чтение: она читала свою прозу о Волошине. Было очень много народу, и это чтение было великолепно, очень интересно! Унбегаун тогда острил про нашу общую дачную жизнь: «Тут все «виллами» по воде писано». У него всегда были всякие острые словечки, они с Цветаевой были друзьями (Ь).

То, что Марина Цветаева могла назвать однажды «химерическим» в деятельности Сергея Яковлевича, стало постепенно принимать более ясное очертание.

С полевением евразийцев группы друзей и недругов постепенно стали делиться на про- и антисоветских людей. Известно, что Сергей Яковлевич подал прошение о советском паспорте в 1933 или даже 1931 г. Сама Марина Цветаева получила советский паспорт только летом 39-го года, вернувшись в Москву. В середине 30-х годов был образован Союз русских эмигрантов, симпатизирующих СССР. Многим было тогда ясно, что в случае войны необходим отказ от борьбы с советской властью. Это была довольно распространенная идеологическая установка. Сначала был образован «Союз друзей советской родины», преобразовавшийся потом в «Союз возвращения на родину», целиком инфильтрированный агентами. Был также «Союз оборонцев» с газетой «Голос отечества». С 1936 года существовал такой же союз в Праге.

В те годы Париж стал также одним из важных пунктов, где встречались и работали агенты ГПУ (с 1934 г. НКВД), из разных стран и с разных «объектов» отправлявшиеся снова в Советский Союз. ГПУ вербовало мно-

гих агентов в эмигрантских кругах. Как объясняла мне Ариадна Сергеевна, отец ее еще в Праге понял, что Добровольчество было ошибкой, и впоследствии он решительно встает на сторону своей советской родины. Таким образом Сергей Яковлевич Эфрон оказывается на пути, ведущем к убийству Игнатия Рейса и к бегству из Франции при весьма драматических обстоятельствах.

В убийстве Рейса, оказывается, было замешано не менее двадцати лиц. Участие Сергея Яковлевича теперь уже не подлежит сомнению, даже если он лично на Рейса не поднял руку. Теперь речь идет не о подозрениях или клевете, а о достоверных и доказанных фактах [13].

Работа Сергея Яковлевича описывается очевидцами по-разному: одни просто оспаривают факт, что Сергей Яковлевич получал деньги от НКВД:

> Был «Союз советских студентов» во Франции. Я в нем состояла. Напротив, в том же доме на 12 рю де Бюси, был «Союз возвращения на Родину». Тогда они все, бедные, жалкие, рвались в Россию. Была у всех ужасная нищета. Сергей Яковлевич не получал денег от НКВД. Это нарочитая ложь (М).

Другой парижский знакомый рассказывает:

> Он стал получать зарплату от НКВД довольно поздно. А Д. Клепинин сказал мне, что сам начал работать там с 1934 г. Но Сереже нельзя было предложить деньги. Не такой он был человек. Приходилось настаивать: «Это вам дает родина». Вероятно, он начал получать деньги в конце 1934 или весной 1935 г. Тогда ставка была приблизительно 1500 или 2000 франков в месяц. А у него, может быть, чуть больше из-за семьи... Сережа долго скрывал от Марины, откуда он получал деньги /.../ Надо понимать, что это был за человек. Он был от природы верным. Сын народовольцев, которые умерли в эмиграции. Народовольцы ведь в Белую армию не шли. Но Сережа был юнкером военного училища. Когда все рухнуло, он увидел, что наша революция это великое хамство — весь город заплеван семечками.
>
> Конечно, Сережа поверил Февралю, как и все,

и, как все, обрадовался, это была все равно Россия... Сережа прошел весь Ледяной поход, в который пошло 7000, а вышло и дошло живых только 1000. Это были сильные и умные люди, но, кроме офицеров, разброд /.../

Когда Сережа постарел, он остался красивым, необыкновенным, ласковым и дружественным в обращении с людьми: «Разве мы можем быть против своего народа?» Так думали многие и пересматривали свои позиции /.../ Надо искать причины... Путь к марксизму... В разведку попадали как овцы, легко... (Ю)

Когда в 1936 г. разыгралась война в Испании, русские эмигранты потянулись бороться против фашизма вместе с французскими коммунистами. Одним из организаторов интернациональной бригады был Сергей Яковлевич Эфрон.

Да никакого специального русского батальона не было. Я был против Гитлера и против фашизма. А в 1936 г. во Франции образовались батальоны, которые ехали воевать в Испанию против фашистов. Набирали на каждом углу. Когда я туда пошел, мне сразу сказали: «Вы член партии?» — «Нет».— «Тогда вот вам билет, вступайте».— «Да я не хочу».— «Тогда убирайтесь!» Но сказали, куда обратиться — *по секрету*. Потом, *по секрету*, мне уже Эфрон указал, куда поехать, с кем в Перпиньяне встретиться, чтобы получить фальшивые документы и пробраться в Испанию /.../ Фактически путь Эфрона был совершенно естественным: от евразийства к «Союзу возвращения на родину» и к разведке /.../ А когда в Испании произошел провал, советские бежали в Москву, оставляя все свои бумаги разбросанными, самые секретные документы. Я так в одном месте кучу бумаг сжег. А русские тогда просто дезертировали...

Не было в Испании русской армии, было русское оружие, танки и... НКВД. Это, в сущности, испанская трагедия, никто Испании не помог. Русские помогали, но за деньги, конечно, весь испанский государственный банк тогда переехал в Москву.

А безответственность наша была в то время

удивительная: интеллигенция, идеалы, разговоры, а на что жить? (Х)

И другой рассказ:

Мы послали в Испанию около 150 человек, никто не вернулся, не выжил... Сережа стал работать на НКВД и старался меня привлечь /.../ В Испанию сначала из «Союза возвращения» никого не пускали. Пустили только одного подполковника. Контора «Союза возвращения» находилась на рю де Бюси, там, где теперь книжный магазин. Тогда уже на НКВД работали многие мои знакомые: они считали, что это правильно. Корде мне говорил про Сережу: «Я его не вербовал — считал, что он слишком болтлив и откровенен, но я с ним работал». Потом из «Союза возвращения» поехало человек 10, а потом стали пускать всех желающих. Всего из «Союза возвращения» попало в Испанию около 300 человек и вернулось только 150, остальные были убиты. Причиной их участия был, конечно, идеализм. Корде командовал батальоном в 100 человек. Тогда консульство пустило слух о разрешении вернуться в СССР раненым и храбрым, в виде награды (!), шла «торговля паспортами»; из них кое-кто неважно работал... (Ю)

В связи с организацией русской помощи испанским республиканцам остается до сих пор для меня невыясненным вопрос, был ли Сергей Яковлевич в Испании или нет. Есть свидетели, которые утверждают, что, исчезнув из Франции после «дела Рейса» в сентябре 1937 г., Сергей Яковлевич пробыл в Испании до марта 1938 г. (М), а потом жил в Крыму. Другие же говорят, что слух о том, что он воевал в Испании, родился в Москве после его смерти.

В Испании Сергей Яковлевич не был. Если бы он там был, он попал бы в батальон Корде и я бы об этом знал /.../ В июле 1937 г. я встретил Сережу на улице, и он много расспрашивал меня про Испанию. Там были энкаведисты мелкого пошиба, и их потом в Москве всех расстреляли. Кроме Корде, в Испанию никого не пустили (Ю).

А вот что пишет К. Б. в частном письме 1979 г.:

> 1. Приехав за границу в качестве белого офицера (он воевал в Добровольческой армии), Сергей Яковлевич вскоре открыто отказался от своих прежних политических позиций и стал горячим сторонником — не вступал, но придерживался — «левых» убеждений.
>
> 2. Во французскую компартию *не* вступал.
>
> 3. В Испании *не был* в силу личных, «семейных», обстоятельств, хотя полностью сочувствовал борьбе интернациональных бригад.

Мне К. Б. тоже говорил, что Сергей Яковлевич в Испании не был. А один парижский друг утверждает, что Сергей Яковлевич воевал в Испании в батальоне Корде (З), и другое свидетельство:

> Весной или ранним летом 1938 г. (я уехал из Испании в июле 1938-го) я как-то лежал на пляже вместе с одним другом. Было это в Барселоне или Валенсии. Нас было несколько человек. И вдруг я вижу издали идет Сергей Эфрон в трусах. Он подошел к нам, но, увидев меня, сразу убежал (Х).

Вот как описывается «дело Эфрона» с «советской» стороны:

> Ходили слухи о связи Эфрона с Испанией. Арестовали Михаила Кольцова. Это был журналист, очеркист, талантливый. Глава газетного объединения. Он в Испании играл какую-то роль. Может быть, Сергей Эфрон был с ним связан?
>
> Марина Цветаева здесь ни слова об этом не говорила. Произошла эволюция у Сергея Яковлевича от пламенного белогвардейства к евразийству, затем к «Союзу возвращенцев», потом он стал нашим агентом. А когда другой агент, Рейс, отказался возвращаться назад, информация о его ликвидации просочилась в эмигрантскую прессу. Эфрона забрали сюда, и Марина оказалась в ужасном положении.
>
> Марина Цветаева и по своему поэтическому

строю была в изоляции. А тут еще это! Другого выхода у нее не было, как вернуться сюда (О).

Наконец Ариадна Сергеевна обо всем этом сама со мной заговорила:

> О политической деятельности отца я ничего не знаю. Здесь его считают белым офицером, который портит репутацию жены. Это очень секретный материал. Но отец своей нищетой доказал свою чистоту. Будь он в чем-нибудь замешан, что-что, а карьеру бы уж он сделал, как это делали все.
>
> Кроме того, он никогда ничего не делал против Франции, которую очень любил. Шла тогда борьба с фашизмом, ожидалась война. Испанским республиканцам он действительно помогал, как и многие, но в Испании не был.

Тут мне Ариадна Сергеевна показала «летнюю» фотографию, относящуюся к этому периоду. На ней Аля, взрослая, очень веселая, рядом с ней задумчивый Сергей Яковлевич, видно, что между ними глубокая привязанность и нежность. По поводу этого снимка Ариадна Сергеевна заметила, что, вероятно, много фотографий хранится также в архиве Буниных.

О смерти Седова (старшего сына Троцкого) 16 февраля 1938 г. Ариадна Сергеевна сказала:

> Никакого убийства не было. Он привез архив своего отца, чтобы сдать его в сейф Французского национального банка, но заболел аппендицитом, а пока искали троцкистского врача, хирурга, из страха покушения, аппендицит перешел в перитонит, и он умер.

Скорее всего, сведения о пребывании Сергея Яковлевича в Испании противоречивы просто потому, что разные люди имеют в виду две разные вещи. Очевидно, те, кто говорит, что Сергей Яковлевич в Испании не был, хотят сказать, что он не был в интернациональных бригадах и в Испании не воевал. А те, кто говорит, что он там был, просто видели его в Испании в месяцы после дела Рейса. Но об этом речь впереди.

Другие свидетельства, совсем категорические, отно-

сятся к тому, что, будучи на службе НКВД, Сергей Яковлевич вербовал людей на работу. Как говорил один горячий и убежденный рассказчик: «Он вербовал, конечно, как же иначе? Он на них работал, значит, должен был вербовать» (Ц).

И другое: «Для каждого вербующего отказ был минусом в работе. Вербовать надо было только в случае уверенности в согласии» (Ю). Есть еще рассказ, уже процитированный выше, относящийся только к предложению вступить в «Союз возвращения на родину» (Ж), и еще один — о том, что Эфрон считал необходимым вступить в «Союз» и возвратиться на родину (М). Наконец, более позднее воспоминание касается предложения «работать для родины», «помогать родине», «вообще быть доносчиком»:

> Мы его тогда любезно выпроводили. С тех пор он у нас уже больше не бывал. Мы не хотели с ним просто порвать, так как у нас были хорошие отношения с Алей /.../ Аля же была Россией увлечена. Тогда была установка такая, что родина хочет вернуть к себе культурных людей, иметь их у себя /.../ И у Сергея Яковлевича был тогда такой подход, что Советская власть нуждается в культурных людях /.../ Он сам производил неприятное впечатление, доверия он не вызывал. Сразу. Как человек (П).

Перед тем как перейти к «темному делу» убийства Рейса, нужно поднять еще один спорный вопрос, имеющий отношение и к деятельности С. Я. Эфрона, и к его семейной жизни.

Ввиду того, что, как отмечалось выше, у Цветаевой жизнь была наполнена поэзией, увлечениями и мифами, а Сергей Яковлевич занимался «своими делами», ясно, что пути их в описываемый период уже разошлись. Я несколько раз задавала разным людям вопрос, жили ли супруги какое-нибудь время врозь. Мнения были противоречивы, и из ответов составить ясного представления мне не удалось. Сам по себе вопрос этот не столь важен, однако связан с более серьезным: знала ли М. Цветаева о деятельности мужа? Но об этом — ниже.

Одни люди говорят определенно, что Марина и Сергей ко времени дела Рейса давно жили врозь, другие

так же категорически утверждают, что, хотя у каждого уже давно была своя жизнь, они все же продолжали жить под одной крышей.

Известно письмо А. А. Тесковой к А. Л. Бему по поводу смерти Цветаевой, в котором она пишет: «Что муж покинул, не считаю губящим ударом для нее, ей это давно не было новым» («Русская мысль», 4.IX.1969, № 2754). Несомненно, А. А. Тескова об этом могла знать из писем самой Цветаевой, они ведь опубликованы со значительными пропусками (об этом см. также в прим. 14).

На эту тему парижские воспоминания других свидетелей противоречивы: «Сергей Яковлевич в семье появлялся только изредка. Я помню его как какую-то тень /.../ Иногда Аля говорила, когда гостила у нас, что он должен приехать повидаться с ней» (Ь).

Одна знакомая вспоминает: «Они постоянно жили врозь /.../ В конце жизни в Париже они уже совсем не жили вместе /.../ Сергей Яковлевич жил с какой-то дамой. Но Марину он, конечно, боготворил» (Б).

Другая: «Марина Цветаева и Сергей Эфрон очень часто жили врозь. У Сергея были другие женщины, но никто в сущности не знал точно — кто» (Ш).

Еще один человек вспоминает: «Они жили как-то отдельно друг от друга. У Сергея Яковлевича была своя жизнь, у Марины — своя» (Х).

Но вот другое мнение: «Я не помню, чтобы они жили врозь. Она приезжала на море с детьми, потом приезжал Сережа, и на море они жили вместе. Мы тоже» /.../ (Ь).

О деле Рейса Ариадна Сергеевна, естественно, со мной говорить не хотела:

> О деле Рейса я тоже ничего не знаю и убеждена, что никакого такого дела не было. Все равно это не нужно для изучения творчества Цветаевой. А об отъезде отца из Франции писать нельзя. Дело еще не разобрано и ничего не известно, так как все засекречено. Никогда не было нигде сказано, куда он девался. Просто Марина уехала за ним, а *когда* он уехал — говорить не надо. Дата его смерти 1941 г.

Убеждения свидетелей и их отношение к этому

«темному делу» определяли их отношение и к самому Сергею Яковлевичу, его деятельности и его личности в целом:

Я приехала в Париж в начале сентября 1937 г. Он был тут. Я его видела буквально в день моего приезда, я хорошо это помню, так как должна была вот-вот родить. Я его тогда спросила, что это за дело Рейса. Он сказал, что это какая-то «чепуха». Он абсолютно не казался взволнованным. Да он и не был способен на убийство, это был тонкий, изысканный, деликатный, красивый человек, идеалист. И 20 сентября он сам меня отвез в родильный дом. Тогда он был влюблен в какую-то девицу лет 26. Он очень мучился и говорил: «Как я могу бросить Марину?» А я говорила: «Раз ты любишь, это такое счастье, бросай Марину и женись». А через два дня после моих родов он пришел ко мне и сказал: «Я пришел прощаться, меня впутала одна стерва» /.../ Конечно, он вербовал. Как говорил о нем один его друг,—«идеалист, влюбленный в пятилетку». Он был милый, но глупый /.../

В его отношениях с Мариной не было никакой зависти. Просто он чувствовал, что Марина — это его долг /.../

Сережа был советским патриотом, но на убийство он не был способен (Ц).

Другой человек вспоминает:

Сергей Яковлевич был «un type louche» (подозрительный субъект) для всего Парижа. Все же когда выяснилось дело Рейса, для нас это был большой шок. Одно дело — подозрительный человек, а тут ведь было убийство /.../ Когда Сергей Яковлевич предложил мне с ним работать, Аля об этом узнала, но с ней мы об этом не говорили никогда (П).

Еще один свидетель говорит о Сергее Яковлевиче с очень смешанными чувствами:

У Марины Цветаевой отношение к мужу было неблагодарным. Он был у нее на побегушках,

и она, например, даже не позвала его послушать письма Пастернака к Рильке /.../ Аля была раба матери. Она и в Союз уехала от матери /.../ А Сергей Яковлевич был превосходным актером. Поначалу я его любил, но потом от него отвернулся. Он себя экзальтировал, настраивал на то, что он виноват перед Россией и русским народом, и считал, что эту вину надо искупить. Вот он и искупал ее честно. Но он заблуждался /.../ Был он «двуликим Янусом». Был ли другой Сергей Яковлевич, то есть «добрый»? Я к концу жизни «доброго» не видел /.../ Он ходил тихо, как кошка. Однажды он ко мне пришел на работу. Он обязательно хотел познакомиться с сыном Троцкого /.../ Он мне говорил: «Просто хочется на него посмотреть». Пришел. Я ему его показал. И тут Сергей Яковлевич подошел к нему чуть не вплотную, под предлогом интервью, которое он якобы хотел взять для какой-то газеты. Тот его выгнал. На самом деле он приходил, чтобы запомнить его лицо, он его опознавал /.../

Сергею Яковлевичу удалось похитить Миллера, и Плевицкая получила 25 лет, но его не выдала.

У него было три жертвы: Рейс, который выдал всю сеть шпионажа, Миллер, который был расстрелян в Москве, и Седов, который был потом убит в Париже.

Аля ничего не знала. Когда ее потом в Москве пытали, она ничего не могла рассказать /.../

А Цветаева не верила в Париже всем слухам о Сергее Яковлевиче. Врозь они не жили никогда. Только в Москве жили врозь, конечно /.../ Сергей Яковлевич был красивый, занимательный, вдумчивый. Он производил сильное впечатление и на мужчин, и на женщин. И в добрейшем человеке таилось столько злобы! Как это понять? Марина говорила потом очень близкому другу, что Сергей Яковлевич очень страшный человек /.../

А в Испании он никогда не был, хотя занимался испанскими делами, набирал для Испании добровольцев по заданию Москвы. Марина Цветаева ничего не знала о биографии мужа, читала обо всем в газете, но не верила, считала, что это клевета. Узнала она обо всем только в России (3).

Вот еще рассказ:

> Сережа основал парижский журнал «Евразия». Пастернак его получал, и я часто его у него видела. Сережа хотел сближения эмигрантов с большевиками. А так как советские ему не доверяли, потому что он бывший белый, они ему говорили: докажи, что ты «наш» /.../ Об убийстве одного гепеушника я узнала из швейцарской газеты. А через месяц, может быть больше,— я жила в Монтрё — я купила «Русскую мысль», и первая статья, которую я увидела, была о Сереже Эфроне, который убил Рейса. Я не могла себе представить, что он на такое способен, но два человека, две моих родственницы, хорошо его знавшие, говорили мне, что вполне способен. И я думаю, что от ревности, от злости любой человек способен на что угодно... Он был идеалистом... У него была мужская сильная воля. Женщины не такие... И вот он убил. А потом его расстреляли...
>
> Меня Сережа никогда не интересовал — ни как мужчина, ни как человек (Ч).

Есть также свидетельства, непосредственно относящиеся к убийству:

> Фактически тогда уже все знали, что Сергей Яковлевич работает на НКВД /.../ Сергей Яковлевич был начальником штаба шоферов... Порецкий * был бабник, а Рената ** хорошенькая, и он хотел ее подцепить...
>
> Убивали Рейса два «монегаска», приехавшие из Союза. Совершив убийство, они скрылись и переоделись в гостинице. Костюмы им шил один парижский портной, которого было очень легко отыскать. Кроме того, они оставили в банке сто тысяч швейцарских франков. Рената Штейнер сидела в кафе, ждала свидания с Рейсом, потом она пошла в тот гараж, где ее «братья» взяли напрокат машину. Так ее и взяли, а те двое бежали в Москву.

---

* Порецкий — Игнатий Рейс.

** Рената Штейнер — одна из участниц слежки за Седовым и дела Рейса.

Сережа только косвенно был в это убийство замешан. Там были также Шпигельгласс и Слуцкий, которых расстреляли (Ю).

Последние свидетельства относятся к исчезновению Сергея Эфрона из Франции после убийства Рейса, осенью 1937 г. Помимо рассказов о том, что Сергей Яковлевич бежал в Москву через Испанию, или что он уехал в Гавр, где его взял на борт советский теплоход и повез в Союз, есть менее подробный, но тем не менее точный рассказ почти очевидца, Марии Сергеевны Булгаковой:

Я ручаюсь за точность этих сведений, так как я сама при этом была. Только потом вышла глупая история из-за каких-то 1000 франков... но с ней всегда такие истории получались /.../ Мой муж был шофером такси, и он их повез. В машине сидели Марина, Мур и Сережа. Поехали на север. И где-то, не доезжая Руана, он выскочил из машины и скрылся. Даже не простился. Он быстро выскочил, чтобы не знали, в какую сторону он побежал. Говорят, что в Гавре его уже ждали на советском теплоходе /.../ В Гавре или в Антверпене, я уже не помню /.../ Он воспользовался тем, что машина замедлила ход, чтобы из нее выскочить, и исчез где-то в кустах. Он не хотел, чтобы знали точно, даже Марина и мы, кто и в каком месте должен его встретить /.../ Муж, Сережа, уехал раньше из-за участия в деле убийства Рейса, а Аля уехала еще раньше. Марина в эмиграции была в ужасном положении: из-за своих стихов о царской семье она была правая, а по мужу — левая /.../ После отъезда Сережи она еще два года оставалась одна в Париже с Муром. Она ехать в Россию не хотела. У меня есть ею присланная открытка из Гавра в июне 1939 г. /.../ Так мы с ней и не простились, после стольких лет дружбы!

Другой свидетель рассказывает:

Сергей бежал из Франции так же, как и мы, — через Брюссель. Тогда Брюссель был гораздо больше plaque tournante (пересадочный пункт), чем Париж. Я помню, что мы в Бельгии видели фотографию Сергея Яковлевича в газете. Его тогда

разыскивали. Мы ехали в Россию из Бельгии через Германию на поезде, а он через Антверпен пароходом (И).

Одна знакомая Марины Цветаевой и Марии Сергеевны Булгаковой подтверждает все эти рассказы и говорит, что Сергей Яковлевич выскочил из машины где-то недалеко от Руана или Гавра. Она же вспоминает:

> Марина была с «Муной» очень жесткой, тогда как та до конца жизни сохранила к ней дружественные чувства. Моя семья вообще не поддавалась чувствам и напору Марины Цветаевой. А ей противостоять было очень трудно (Б).

Эта знакомая говорила мне, что «перед отъездом Марина Цветаева пришла к ним прощаться и сказала: «Я уверена /.../, что Сережа не виноват» и даже по этому поводу упомянула «Процесс» Кафки. Видимо, о деятельности мужа она ничего не знала» (Б).

Вопрос о том, знала ли Марина Цветаева о деятельности Сергея Яковлевича, конечно, очень существенный, и ответы, которые удалось собрать, тоже противоречивы. Трудно разобраться и в том, насколько точно осведомлены люди, говорившие мне об этом. К тому же часто рассказывают не прямые свидетели, которых уже нет, или которые уехали, или которые предпочитают умалчивать о многом, ссылаясь на давность событий и на собственную забывчивость, а люди, «стоявшие около», по слухам. Но слухи того времени тоже теперь невосстановимы, поэтому мне кажется полезным их цитировать, *учитывая, что это слухи* и что они свидетельствуют не столько о самих фактах, сколько об общей атмосфере того времени.

Вот говорит человек, семья которого была тесно связана с Сергеем Яковлевичем:

> Существует такое распространенное мнение, что Цветаева ничего не знала о деятельности мужа. Но это неверно. Ведь она бывала в тех же кругах, что и он, ходила к тем же людям в гости, хотя бы к нам. А что он служил в разведке, было известно всем. C'était un fait de notoriété publique! (Это был общеизвестный факт). Кроме того, на

7—1244

какие деньги они жили? Ведь получал же Сергей Яковлевич деньги от Советской власти /.../ Аля же, конечно, знала о деятельности своего отца. Вся эмиграция о ней знала. А между Алей и Сережей была тесная духовная связь /.../ Надо понимать, и это трудно, как такие люди попадались из идеализма, из чувства верности родине и кончали тем, что делали ужасные вещи. (Теперь ведь то же самое: «Ты говоришь, что любишь родину, так докажи это на деле».) Так Сергей Яковлевич и оказался вовлечен в это ужасное дело. «Il y a quelque chose d'infâmant dans de genre d'affaires Il faut en comprendre le contexte". (Есть что-то позорное в такого рода делах. Надо понимать данный контекст.) (И).

Другой свидетель тоже говорит о том, что Цветаева «о деятельности мужа не могла не знать. О ней знал весь Париж».

И еще: «Во всяком случае дочь их не только обо всем знала, но сама была замешана в дела отца, поэтому ей и пришлось в какой-то момент уехать обратно» (М).

Приехав в СССР, Марина Цветаева вспоминала о драматических для нее событиях 1937 г. и якобы рассказывала даже, что у нее был обыск. Об этом, как мне говорили, она написала А. А. Тесковой, хотя в опубликованных письмах обыск не упоминается. Других точных сведений у меня нет; о допросе Марины Цветаевой во французской полиции я тоже не знаю: в архиве полиции в Париже сохранился только длинный заключительный протокол о деле Рейса, составленный 31 января 1938 г., включающий описание следствия и сведения обо всех участниках. Запись отдельных допросов, бесед, обысков и так далее, очевидно, не сохранилась. Как мне объяснили, эти записи сохраняются только для крупных исторических дел, вроде дела Дрейфуса, и тогда они (через тридцать лет) переходят в Музей полицейских протоколов. В других случаях они за ненадобностью уничтожаются. Единственное точное сведение, данное в «заключительном протоколе»,—это дата обыска в Союзе друзей советской родины, находящемся на рю де Бюси, 12; обыск имел место 22 октября 1937 г. и позволил арестовать и опросить многих лиц,

замешанных в деле Рейса. Однако Эфрона не допрашивали, так как он тогда сразу исчез из Франции [14].

Поэтому о допросе Марины Цветаевой во французской полиции мы знаем только по рассказам самой Цветаевой своим друзьям. Формулировка того, что она ответила следователю, кажется чуть точнее со слов Марка Львовича Слонима: «Sa bonne foi a pu être abusée, la mienne en lui reste entière» (Его доверие могло быть обманутым, мое к нему остается неизменным), чем в той версии, которая дана в книге Карлинского (с. 96), хотя там З. А. Шаховская тоже приводит собственные слова Цветаевой. Но ведь Марина Цветаева могла сама передать эту фразу двум лицам не совсем одинаково!

Вообще Марк Львович Слоним считал, что дело Рейса следует оставить в стороне:

> Все равно Марину Ивановну это не особенно касается. Она сама об этом ничего не знала /.../. Говорят, что Цветаева на отъезд из Франции получила деньги от советского посольства, но это не известно точно /.../ Несмотря на свою уверенность в честности мужа и на ее доверие к нему, для нее эта политическая история была большим шоком.

Согласно другому свидетельству, Цветаева о работе Сергея Эфрона в НКВД не знала, а узнав, очень плакала. Но тот же свидетель рассказывает:

> Я тогда жил в квартире их близких знакомых, вместе с Н. Н. Она туда приходила и уходила «по делам». А деньги из посольства передавались Цветаевой через этого Н. Н. (Ю).

К. Б. был уверен, что Цветаева знала обо всем:

> О работе Сережи Марина, конечно, знала, но тогда они уже были друг другу чужие. Когда я встретился с Мариной, у нее уже не было с Сережей никаких отношений. Она его только опекала. А потом ей стало материально очень тяжело. Да и Сережа запутался /.../

А более поздний свидетель говорит:

> О работе Сергея Яковлевича Цветаева знала. Вернувшись в Россию, она, естественно, узнала больше /.../ Цветаева, конечно, антиконформистка, политику она считала низкой страстью. А Анастасия была, видимо, во все это посвящена. Она всем рассказывала о кротости, о доброте, о чистоте Сергея Яковлевича. А когда ей передали вести о нем, она ответила: «Значит, это уже известно?!» /.../ Был такой человек, историк, в Москве. Он рассказывал одному сослуживцу, что вербовал Сергея Яковлевича, человека очень холодного, храброго и способного на «мокрые дела» (С).

А парижская знакомая говорит:

> Относительно деятельности Эфрона, я думаю, Цветаева *не* знала. Ведь они жили отдельно, каждый своей жизнью. Эфрон был в Евразийстве, получал деньги от советского правительства, а Цветаева деньгами не интересовалась. Обо всем этом хорошо знает Сувчинский, но он рассказывать не хочет (Ш).

Вопрос этот тесно связан с так называемыми политическими «противоречиями» Цветаевой. В своем лозанском сообщении З. А. Шаховская говорила:

> Всей своей сущностью Цветаева была вне политики, ни крылом, ни пером ее не касалась. Исторические события воспринимала эмоционально, не знала, к каким направлениям принадлежали журналы, где она печаталась. (Лозанна, 1982.)

О «слепом» или «непонятливом» отношении Цветаевой к политике говорят многие, подчеркивая либо ее наивность, либо ее отрешенность и антиконформизм.

Как было уже сказано выше, Мария Сергеевна Булгакова считала ее позиции противоречивыми: с одной стороны, ее «правые» стихи, с другой — ее «левый» муж. А медонская знакомая настаивает на «аполитичности» поэта. Вспоминая обстоятельства отъезда семьи, она рассказывала:

Сергей Яковлевич уехал сначала. Он часто к нам ходил, а потом пришел, чтобы сказать, что больше не может, но все-таки еще приходил. Я однажды в концерте его встретила, и он тут же со мной простился. Он уже к нам никогда больше не ходил.

Аля уехала из желания самостоятельности. Она, кажется, написала прошение Сталину. Это, по-моему, не было ни влияние отца или матери, ни политические искания, а просто тянуло на родину. В Марине Цветаевой аполитичность была абсолютная.

Когда Сергей Яковлевич и Аля уехали, Марина осталась одна с Муром. Одиночество было страшное (Е).

Другой анализ этого вопроса более полный:

В ней произошел определенный взрыв против «комильфотности», против штампа, но она не была профессиональной революционеркой и не искала конкретного преобразования общества... Она ведь не могла ужиться ни с белыми, ни с красными. Она была неукротимая. И умереть она могла ни за что, если решила, что стоит. Люди думали: «Она белая!» Она просто была против красных — там! А в эмиграции — красная сама! В ней было и удовлетворение и желание трагической судьбы, вместе с Пушкиным и со всеми поэтами... И часто, в общем, плевать на все! (В).

Один из приверженцев евразийства вспоминает «аполитичность» Цветаевой с дружелюбной снисходительностью:

У нее никакой политической позиции не было. Отъезд произошел как-то секретно, они все уехали, не простившись со мной /.../ В евразийстве раскол произошел от проповеди Мирского и Сергея Яковлевича. Им современная Россия как-то импонировала... /.../ В ней же не было никакого пафоса революции /.../ А потом еще в Париж приехал Пастернак! (Г).

Саломея Николаевна Гальперн тоже над этим вопросом задумывалась:

> Личное отношение к России и к левым у нее было особое. Для нее была важна близость к языку. У нее было критическое отношение к партии, но не к революции. Никогда у нее со мной не было никаких идеологических разговоров. Мы всегда говорили о частных случаях.

А Марк Львович Слоним мне объяснил:

> В области политики более непонятливого человека я никогда не видел, несмотря на то, что это была умнейшая женщина и блестящая в разговоре. О большевизме Сергея Яковлевича она ничего не знала. Для нее это был ее белогвардейский благородный рыцарь, и она не видела, что он стал переходить на сторону большевиков, чтобы искупить свою принадлежность к белой армии. Об этом она ничего не знала. Когда ее вызвали в полицию на допрос, она стала читать свой перевод «Молодца» по-французски. Ее отпустили, сказав, что это просто сумасшедшая. Она ничего не могла сказать, потому что ничего не знала. Деятельность Сергея Яковлевича была вне ее поля зрения.

Итак, ввиду противоречивых рассказов о том, знала ли Цветаева или нет о работе мужа, невозможно сделать определенного вывода. Очевидно, одно дело — работа «для России», такая, какой она представлялась поэту. Наивность в области политики, о которой говорят все, не позволяла ей осознать, что́, собственно, означала работа в НКВД. Если средства и начали появляться у Сергея Яковлевича, то, вероятно, небольшие. К тому же она ведь деньгами действительно не интересовалась, их все равно никогда не хватало. А помощь Сергея Яковлевича она могла вполне воспринимать как нормальную и даже проявлять в этом обычную и многим известную неблагодарность. Она могла понимать увлечение Сергея Яковлевича Советским Союзом как наивность или непрозорливость и, не вступая с ним в спор о судьбах России, предоставлять ему свободу в этой области так же, как предоставляла свободу в остальном.

Другое дело — убийство Рейса. Цветаева не могла даже предположить, что работа мужа может быть конкретно связана с убийством, будь оно «политическим» или «идеологическим» — об этой стороне его деятельности, об этом его «долге перед родиной» она несомненно не знала. Поэтому «дело Рейса» было для нее шоком, поэтому французская полиция отпустила ее, уверившись в ее неведении и непричастности ко всему делу. Я думаю, правы свидетели, которые полагают, что для Цветаевой непостижимо было, чтобы какая бы то ни было идеология могла вовлечь мужа в «мокрое дело».

Однако участие Сергея Эфрона в убийстве советского агента и аполитичность Цветаевой роковым образом связываются с назревающим решением поэта покинуть Францию и уехать в Советский Союз. Остается еще вопросом причастность Ариадны Сергеевны ко всему «делу» или ее возможная осведомленность о «работе» отца. Один говорит: «Конечно, знала. Вся эмиграция об этом знала. А между Алей и отцом была большая духовная близость» (И). И другой:

> «Я ее не любил. У нас было мало общего, она мне казалась каким-то чудовищем. Я думаю лично, что она тоже была агентом. Во всяком случае, она помогала Эфрону. И уехала она из-за того, что стало многое известно. О том, что она агент, говорили все. Очень несимпатичная особа. Но у нее была большая дружба с отцом» (Г).

Согласно некоторым свидетельствам, Аля уехала в Москву, чтобы освободиться от материнского гнета. Ей было уже почти 25 лет, и своей жизни у нее не было. Есть люди, которые рассказывают, что Аля совсем стихов матери не любила, не читала ее книг, что у нее было к матери враждебное отношение, как вообще было у всех: «недружная семья» (С).

Несомненно, уезжая из семьи, Ариадна Сергеевна отвоевывала свою независимость. Помимо возможных, но невыясненных и невыяснимых политических причин, должна была быть и личная тяга «домой» из бездомной Франции. Мне рассказывали следующий случай из ее жизни на Западе:

> Когда начался первый процесс — Зиновьева и других,— я помню, что однажды мы припер-

ли Алю к стене, стали ее расспрашивать. Тогда с ней сделалась истерика. Но это был единственный раз. Она тогда уже взяла советский паспорт (Ь).

Расспрашивать Ариадну Сергеевну о ее политических взглядах того времени я, естественно, не решилась. Достаточно вспомнить ее фразу: «Вы не понимаете, что я не выношу доброту!», сказанную однажды знакомой, очень ее любившей, чтобы вообразить, сколько этот человек выстрадал! Мучаясь «вечной войной» с матерью и будучи всецело на стороне отца, она могла с радостью броситься ему помогать, но прямых доказательств того, что она тоже работала на советской службе, у меня нет. Наоборот, из рассказов Ариадны Сергеевны московским друзьям о своих арестах выходит, что она на допросах не могла следователю ничего рассказать, потому что сама ни о чем не знала.

Отношения Ариадны Сергеевны с матерью были по меньшей мере противоречивы. Один очень к ней привязанный человек мне рассказывал:

Однажды она мне говорила о какой-то своей шведской подруге, которая устроила свою немощную мать в дом для престарелых. Она тогда сказала: «Ну что же, это правильно, так и надо поступать!» А в другой раз у нее вырвалось: «Ах! Если бы мама была жива! Пусть старая, пусть в колясочке, пусть слепая и разбитая параличом, но живая!.. Я бы для нее сделала все!» (М).

Эти противоречия понятны, когда человек прожил такую тяжелую жизнь и вдобавок ко всем своим испытаниям пережил самоубийство собственной матери. Чувство неискупимой вины из-за такого события очень сильно.

У Ариадны Сергеевны было много горьких ремарок по поводу одиночества матери, и в подтексте многих ее рассказов проступало сознание, что тогда, 15 марта 1937 г., она в первый раз ее бросила. Она часто повторяла мне, что, как ей казалось, окажись она с матерью и в 41-м году, ей бы удалось мать уберечь.

Горечь была заметна и при упоминании друзей и,

конечно, недругов, окружавших Цветаеву после распада семьи во Франции: «Она была тогда как заклейменная, все от нее отшатнулись, и она осталась одна!» Это восклицание понятно, но вопрос этот тоже спорный, так как многие теперь вспоминают, что помогали Цветаевой и Муру до самого отъезда. Можно назвать Лебедевых, которых и Ариадна Сергеевна упоминала, но не следует забывать и семью Черновых. Были еще другие люди, не оставлявшие ее, помогавшие ей и присутствовавшие при последних и мучительных ее колебаниях перед отъездом. Дружбе своей с Мариной Цветаевой Мария Сергеевна Булгакова («Муна») осталась верна до отъезда поэта из Парижа, несмотря на злополучную «историю с тысячей франков», о которой Мария Сергеевна очень сокрушалась и которая помешала подругам проститься. Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова ходила по редакциям, хлопотала по делам Цветаевой, «ссорилась из-за ее стихов, выпрашивала обещанные и неприсланные гонорары за напечатанные вещи. Но все-таки ее продолжали печатать». Помогала еще одна знакомая, бывшая для Цветаевой чем-то вроде мецената, она устраивала поэтические вечера и знакомила Цветаеву с «полезными» людьми: «На одном вечере Марина Цветаева выступала в платье, которое я ей на этот вечер дала. У меня осталось письмо, в котором она пишет: «Вы должны радоваться тому, что это платье останется у меня!» (М).

Около Цветаевой остались еще Александра Захаровна Туржанская и, конечно, Марк Львович Слоним, подробно описавший ее терзания в последние месяцы жизни в Париже.

Некоторые члены семьи, которая была связана с Сергеем Яковлевичем и его работой, считают, что в этот период Марина Цветаева жила с Муром на средства НКВД. Известно, что она из последней квартиры, в Ванв, переехала в сентябре 1938 г. в гостиницу «Иннова», находящуюся в самом центре Парижа, на бульваре Пастера. Вполне вероятно, что переезд этот был связан с решением уезжать и что она тогда ждала разрешения, а средства на оплату гостиницы получала из посольства: зная, что ее комната в отеле была отнюдь не роскошная, все равно в то время платить частному хозяину за квартиру в каком-нибудь предместье было дешевле, чем снимать номер, даже во второсортной гостинице в самом центре Парижа.

Перед отъездом у Цветаевой было много хлопот, литературных и бытовых. Относительно бытовых дел человек, через которого якобы передавались деньги из посольства, мне говорил, что знал Цветаеву мало, об этих деньгах, конечно, не сказал ни слова и ограничился следующим рассказом:

> Я мало помню Цветаеву, помню два-три ее выступления в Париже. Она читала стихи о Пушкине. Помню ее еще одно лето в Фавьере. Потом в 1939 г. меня призвали в армию, и на Рождество я приехал в Париж в отпуск. Тогда и была новая встреча. Марина Цветаева уезжала в Россию, Эфрон тогда уже бежал. Я приехал в дом в Исси[15], там была жена Покровского — Клепинина. Она у них жила. Цветаева получила бумаги, чтобы уезжать, и я ей помогал укладываться. Мужчин в доме не было. Грузили вещи на такси. Муж Муны Булгаковой действительно тогда работал шофером такси, но о бегстве Сергея Эфрона я ничего не знаю. А она отправилась через Бельгию и Германию в Россию... Хоть она и решилась ехать в Россию, но сделала это исключительно из любви к мужу, так как сама она была антисоветской. Я ее тогда мало знал, просто так случилось, что меня попросили помочь.
>
> Клепинин и Эйснер были в республиканской армии, воюющей в Испании против Франко /.../ Было около миллиона республиканских испанцев, которые бежали. Из них около ста тысяч бежали в Россию (М).

А что касается литературных дел, то Цветаевой нужно было привести в порядок свой архив, то есть изданные и неизданные произведения, письма, черновики, записные книжки, и решить — это было самое трудное, — что брать с собой и чего не брать. Тогда она и передала профессору Малер тот архив, который теперь называется «Базельским фондом». Этот архив был подробно описан профессором Кембаллом на цветаевском симпозиуме в Лозанне летом 1982 г.[16] Другой свидетель мне рассказывал об этой операции:

> Вероятно, когда перед своим отъездом Цветаева готовила свой архив, чтобы передать его

в базельскую библиотеку, она в Швейцарию приехать не могла. Ведь у нее был Нансеновский паспорт, и въезд в Швейцарию без визы был запрещен. Очевидно, она где-нибудь на границе встретила Елизавету Ивановну Малер и ей вручила свой архив (Ш).

О личной встрече с Цветаевой и о передаче архива из рук в руки сама Елизавета Ивановна Малер потом рассказывала профессору Кембаллу. Другой свидетель, писатель Л. Зуров, рассказывал мне:

> Перед отъездом в СССР Марина Цветаева очень беспокоилась по поводу своего архива. Она говорила: «А вдруг мне захочется писать о сирени, о дворянских усадьбах... А вдруг мне захочется писать о царской семье?» Она, конечно, тогда думала о своей поэме.

Относительно работы над собственными произведениями, которую Цветаева проделала перед отъездом, Ариадна Сергеевна мне говорила:

> В издании 1965 г. под названием «Рукопись 1939 г.», или «Авторская правка 1938—39 гг.», имеются в виду те чистовики, которые она переписывала набело перед отъездом в Россию. Это поздняя правка. Кроме того, она и в беловиках иногда оставляла пропуски, даже когда было совсем оконченное стихотворение, с мыслью, что потом вернется к этому, чтобы доработать. А потом, издавая, мы по черновикам вставляли тексты в эти пропущенные места.

Ариадна Сергеевна также рассказывала мне историю парижского архива:

> Он хранился у Лебедевых на рю Данфер-Рошеро, 18-бис, и все действительно пропало. Это были мамины ближайшие друзья. Там было 30—40 тетрадей, черновики, часть поэмы «Егорушка». Потом была эвакуация. Владимир Иванович Лебедев хотел жену и дочь переправить в Америку, и маму тоже. А вышло так, что он уехал, а жена и дочь Ирина эвакуировались одни. Дочь теперь

живет в Мехико. Какой-то француз помогал жене и дочери Лебедева собираться, архив запихали в сундук и убрали в подвал. А потом было наводнение, и подвал затопило, все пропало, как — точно неизвестно. А проследить теперь уже невозможно /.../ Можно считать, что в том или ином журнале, в книгах и сборниках опубликовано почти все, если включать журналы, газеты и так далее. Несколько важных или менее важных вещей («Чародей») осталось. Кроме того, утеряна «Поэма о царской семье».

Как известно, Марина Цветаева выехала из французского порта Гавр 16 июня 1939 г. и прибыла в СССР 18 июня. О ее маршруте пока ничего другого точно не известно. Но о том, что она до последнего момента, то есть до самого дня отъезда, сомневалась, ехать или не ехать, рассказывают все, кто ее помнит, подчеркивая, что она сознавала всю безвыходность своего положения: ехать в СССР она не хотела, так как представляла себе, хотя и смутно, что ничего хорошего там ее не ждет, а оставаться уже не было никакой возможности. В нерешимости Марины Цветаевой играли роль и чувства сына, четырнадцатилетнего Мура,— многие друзья вспоминают, что он был очень просоветски настроен и считал, что во Франции у него нет никакого будущего. Известно, что в школе товарищей у Мура было мало, уж очень он был необычным мальчиком. А Марк Львович Слоним вспоминал, как Мур заявил матери, что пойдет волонтером в Красную армию — это было для нее «оглушительным ударом». Эти месяцы Ариадна Сергеевна потом восстанавливала по рассказам друзей, и, несмотря на предвзятое мнение относительно жизни матери в эмиграции и в России, она говорила о возвращении Цветаевой на родину тонко и вдумчиво:

Тут противоречия совсем нормальны. В последние годы мы с ней об этом говорили. Я уехала с мыслью, что так надо.

Маму же привлекало в России наличие собратьев по перу и настоящей литературной аудитории. Она сама говорила, что ей осточертело сидение в консервной банке. Но она себе очень хорошо представляла сталинскую эру. Поэтому и было,

с одной стороны, влечение, а с другой — она ведь революцию пережила сама. К тому же тяжело было терять навсегда друзей и свободу своего одиночества.

Для Мура она страшно боялась стандартизации и лозунгов. Она хотела, чтобы вышел вдумчивый, самостоятельный человек. И на самом деле он здесь нашел гораздо больше дружбы, глубоких учителей и друзей, чем там, на Западе, где он в школе был очень одинок и из ряду вон по способностям и происхождению.

Так что колебания были, но, даже если бы обстоятельства не поторопили, она бы все равно поехала. Не в пустую же Америку ехать!

Эмиграция ведь ее выпихивала, выталкивала! Вместе с тем она за эти годы одичала, и ее пугал коллектив. Она думала, что, приехав, должна будет сразу клясться и клясться, и недоумевала.

Поэтому не следует преувеличивать ее симпатии и здесь, и там. Они были и не были на советской стороне.

Интересно вспомнить, что, перечитывая в это время свой рассказ «Октябрь в вагоне», где Цветаева пишет, что, если муж останется жив, она будет «ходить за ним как собака», она 17 июня 1938 г. вставляет на полях приписку: «Вот и пойду как собака» [17]. В беседе с З. А. Шаховской она тоже высказывала предчувствие надвигающейся гибели [18]. Но вот что рассказывает об этих днях мучительной нерешимости один из ее друзей:

Если бы она была как-нибудь устроена, она бы, конечно, не уехала. Адамович, я считаю, сыграл ужасную роль в ее жизни. Он ведь ее всячески старался уничтожить. А он сам — недостойное ничтожество /.../ Цветаева была литературная ремесленница... Вот и Прокофьев, например, его ведь тоже третировали. Он сидел без денег и тоже уехал. Почему? Это вопрос самолюбия. Она была insortable (невозможная) и ни в какую среду не входила, но в ней не было никакого пафоса революции /.../

Потом приехал в Париж Пастернак и, как он пишет, не знал, что ей посоветовать! Появился и Эйзенштейн. И возник такой appel d'air (повеяло

новым)... Сергей Яковлевич уехал /.../ Я тоже подал прошение о визе. Странно, в один день с Мирским: он в Лондоне, я в Париже — о возвращении в Россию. Ему дали, а мне отказали. Это ведь был настоящий белогвардеец, он был начальником штаба дивизии, которая шла на Харьков. Социально мы были одинаковы. И вот ему дали, а мне отказали.

Я часто встречал Горького в России, а потом в Сорренто. Мирский однажды попросил меня поехать с ним, и мы провели Рождество у Горького. Был такой поэт Магаретти, он нам устроил визу, и мы поехали. За нами следили все время. Горький уговаривал нас ехать в Россию: «Я вас устрою», и он убедил Мирского и меня.

У Цветаевой же никакой политической позиции не было, она уехала от одиночества. Я считаю, что Саломея в тот момент ее бросила. Если бы ей гарантировали средства жизни, она бы не уехала. А так она страдала и от одиночества, и от унижения (Г).

Саломея Николаевна Гальперн в свое время говорила мне:

После отъезда Сергея Аля одно время работала со мной в журнале «Жарден де мод», Марина Ивановна в письме мне написала, что Сережа зовет ее в Россию, но что она там не выживет. Она это чувствовала.

(Тут небольшая ошибка памяти Саломеи Николаевны, так как Ариадна Сергеевна уехала раньше Сергея Яковлевича. Она поехала в Москву 15 марта 1937 года, а Сергей Яковлевич исчез осенью того же года. Поэтому когда она работала вместе с Саломеей Николаевной в журнале, вся семья была еще во Франции. А в момент, когда было написано упомянутое письмо, Марина Цветаева была уже одна с сыном в Париже.)

Другой человек, очень Марине Цветаевой преданный, рассказывал мне:

После их отъезда Соломка ей помогала. Однажды Марина спросила меня: «Ехать мне или оставаться? Мне остаться — это смерть. Я не могу не

> ехать!» Так было ее жалко! В это время она уже не жила в Медоне. Она переехала в Исси /.../ Она уехала от тоски. Кроме того, и муж и дочь были уже там (Е).

По поводу встречи Цветаевой с Пастернаком в Париже я расспрашивала людей, близких к Пастернаку, об известной фразе Бориса Леонидовича «Я не знал, что ей посоветовать». Они мне ответили, что в его мыслях это и значило, что он *не* советовал, но, естественно, Цветаевой в 1935 г. в Париже, да еще при довольно большом неведении о том, что делалось тогда в России, этот эзоповский язык был непонятен.

Сам он об этом потом вспоминал:

> Марина Ивановна много говорила о том, что хочет вернуться в Россию. Это было настойчивое желание ее мужа и дочери, они постоянно толкали ее к этому. Я ей ответил, что считаю это глупостью, решительно отговаривал. Я спрашивал: ну зачем тебе это, что это тебе даст? Она отвечала, что у поэта должен быть резонанс. Но, помилуй, какой у нас резонанс? Но она была очень упрямой. (Ы. Из неизданных воспоминаний о Пастернаке.)

Мария Сергеевна Булгакова тоже вспоминала приезд в Париж советских писателей:

> С Пастернаком у Цветаевой была переписка, и они встречались. Затем приехала группа писателей и поэтов, и вместе с ними Тихонов и Пастернак. Марина жаловалась на то, что Пастернак очень замкнут.

И Ариадна Сергеевна говорила мне о встрече с Пастернаком в Париже:

> В 1935 г. на конгрессе защиты культуры от фашизма они виделись, но это была не настоящая встреча. Пастернак был тогда очень растерян, он невольно отбил жену Нейгауза, своего друга, и очень путался в своих любовных и семейных делах. Мы все ходили к нему в гостиницу, в районе рю де Бюси. Он очень мучился, так как любил

> и первую жену, и вторую. Встреча с Цветаевой была после заседаний съезда, на людях, и разговор настоящий не состоялся — он ведь весь ушел в свои переживания. Она была очень огорчена: он был слаб — психологически, и это видно в письме, которое она написала ему по поводу поездки к его родителям. Эта психологическая слабость при его большой духовной красоте и гармонии ее очень разочаровала. Она увидела, что за его гармоничностью и обаянием скрывается та слабость, которую он проявил и в дальнейшем.

Вот как описывал мне парижскую обстановку 30-х годов писатель Л. Зуров:

> В Париже ее не признавали. Почему? Царил тогда Георгий Иванов со своими декадентскими темами, был Ходасевич. А все, кто приезжал из провинции, то есть из Праги («Скит поэтов»), или из Бельгии, или еще откуда-нибудь, должны были пройти два года «подготовительных классов»... Печатали ее ужасно. Сколько рукописей лежало в «Последних новостях», ожидая печатания. Сколько писем она писала, требуя печатания, гонорара...

Другой знакомый вспоминает самые последние дни парижского периода:

> Цветаеву я один раз видел в гостинице на бульваре Пастера. Была у нее страшная нерешимость — ехать или не ехать. А Мур был просоветский, до невероятного. Ужасная растерянность (З).

Мария Сергеевна Булгакова тоже говорила: «Она не хотела уезжать, но пришлось. Тут ее сторонились. А муж ее должен был уехать».

Саломея Николаевна Гальперн: «Я прощалась с ней в 1938 г. или в начале 39-го. Я ее видела и раньше в кафе на Сен Жермен. Отъезд уже был решен, и прощание наше состоялось в Париже».

Другие друзья рассказывают: «Перед отъездом Марина Цветаева пришла к нам прощаться, она ехать ужасно не хотела и очень мучилась» (Б).

Зуров вспоминает:

Я хорошо помню наше прощание в Париже, когда Марина Цветаева уезжала. Было это летом 1939 г. (Вероятно, не летом, а весной, может быть поздней. Иногда в Париже в апреле бывает уже совсем тепло.— В. Л.) Она пригласила нас на Монпарнас, в большое кафе, и пришла с Муром. Она пригласила Аллу Сергеевну Головину, были и Саша Гингер и А. Присманова. Была она весела на редкость. Ее смуглые руки были в кольцах и браслетах. Она, как всегда, перекармливала Мура. Нам всем было очень хорошо и весело, играла цыганская музыка.

Когда мы вышли из кафе, был проливной дождь. А. Присманова попросила у Марины Цветаевой разрешение взять у нее прядь волос. Марина Цветаева сказала: «А как же? Ведь нужны ножницы!», и Присманова ответила, что у нее в сумочке есть. Я помню, Марина Цветаева стояла на бульваре под фонарем, как рыцарь, и Присманова отрезала ей прядь волос. Это была наша последняя встреча.

Марк Львович Слоним, конечно, задумывался над отъездом Цветаевой в Россию. Вот что он мне рассказывал:

Отношение ее к этому было сложное. Было много причин, по которым ей хотелось и надо было ехать. Во-первых, во Франции уже делать было нечего. Во-вторых, муж через Испанию уехал в Россию, и ее тянуло к нему. В-третьих, и это главная причина,— стремление сына. Он с тринадцати лет мечтал о России. Ее стихи к сыну «Не быть тебе нулем» несомненно автобиографические.

Но с другой стороны, у нее были большие сомнения о том, что она будет делать там. Несмотря на всю свою политическую наивность, она хорошо сознавала трудность жизни в СССР. Ее, конечно, раздирало.

Я помню вечер за две недели до отъезда, у Лебедевых. Она тогда передала Лебедевым рукопись

о Николае Втором, которую она боялась брать с собой. Вообще она говорила, что многого нельзя брать, она понимала, что политическая история с мужем еще усугубляет трудности ее будущей жизни в Советском Союзе.

Но тут она страшно боялась войны. А угроза войны висела над Францией. Она боялась войны так же, как боялась автомобилей, когда переходила улицы. Боялась панически!

Так что у нее перед отъездом были очень противоречивые мысли и чувства.

Вставал и вопрос денег на дорогу. Когда она из Праги уезжала, денег тоже не было, но тогда деньги собрали или дала Тескова.

Я просила Марка Львовича уточнить отношения Присмановых к Цветаевой. Он объяснил:

> Саша Гингер был хорошим поэтом парижской школы. Кроме того, очень хорошим человеком. А Присманова — его жена. Они были не очень близки к Цветаевой, но они принадлежали к той группе молодежи, которая поддерживала «Кочевье». В ней участвовали Сосинский, Андреев, Гингер, Присманова. Это та группа, которая была *не* вокруг Адамовича. Честно говоря, она была вокруг меня с 1930—1932 гг. Больше всего нас интересовала поэзия Пастернака, Цветаевой, советская поэзия и формальные вопросы. Это были очень хорошие люди. Их отношение к Цветаевой было снизу вверх. Но они не так часто с ней общались.

В своем неопубликованном докладе о Марине Цветаевой в Женеве в 1967 г., то есть до печатания своих воспоминаний, Марк Львович еще говорил, что первым ударом для Цветаевой был отъезд дочери в Россию...

> ...а второй удар — муж, которому она доверяла, перешел к коммунистам в секретную службу за границей. Он принимал участие в убийстве двойного агента Рейса в Швейцарии. Бежал из Франции, ушел на войну в Испанию, уехал в Россию.

Марина осталась одна. Он ее зовет в Россию, пишет, что она должна ехать /.../ Она ехать не хотела и говорила: «Родина в нас, в каждом из нас» и еще: «Главное для поэта быть там, где ему дают дышать, жить» /.../ Она думала, что ей в России дадут возможность печататься и что она найдет там читателя, которого не нашла здесь. И в 1939 г. она уехала.

Глава 8. ПОЭТ

Восхищение друзей: «М. Ц.— поэт». Мнения и высказывания. Отношение к стихам М. Ц. А. С. Эфрон о творчестве М. Ц. Переводы. Комментарии А. С. Эфрон к отдельным произведениям М. Ц. Архивные материалы. Работа поэта. Муки слова.

Почти каждый, кого я расспрашивала о Цветаевой, после жалоб на нанесенные ею обиды и душевные раны неизменно переходил к восхищенным рассказам о цветаевском уме и непревзойденном искусстве беседы:

> /.../ Говорили как-то о процессе стихо- и прозосложения с примерами, взятыми из рукописей и даже корректурных листов таких мастеров, как Пушкин, Тургенев и Толстой (можно было бы прибавить и Бальзака), испещренных зачеркнутыми фразами, переставленными словами и вообще всякими поправками. На это она сказала (надеюсь, что не искажаю ее мысли), что именно путем многих переделок стихотворение приобретает характер целостности, как будто оно было создано d'un bloc (одним махом). Это французское выражение она произнесла (на мое тогдашнее ухо) особенно доброкачественно, с «о» fermé (с закрытым «о»), от которого мне стало ясно, насколько у нас, большинства русских, хромает французское произношение.
>
> Продолжая говорить о рукописях, она рассказала (без особенного видимого ехидства) о том, как присяжный литератор Евгений Чириков, увидев как-то ее измаранные и вроде как бы «вымученные» черновики, сказал ей со снисходительно гордым чувством, что он всю свою обширную прозу пишет прямо набело и без единой помарки. (Ж. Из неизданных воспоминаний.)

Другой человек, вспоминая неуютный цветаевский дом и ужасающий в нем беспорядок, прибавляет:

> Но, когда она заговорила, все забылось. Она говорила так же, как и писала /.../ Меня коробило в ней то, что я называл «ломаньем». Мы тогда говорили небрежно: «стишок», «романчик», а она затянется сигаретой, посмотрит в окно и скажет: «солнце». На самом деле она не ломалась, это не было манерностью, она была невыносимым поэтом, то есть она была *все время* поэтом. С самого детства /.../ Ко мне она относилась как к мебели (Ю).

То же самое говорила Мария Сергеевна Булгакова, которой, быть может, чаще других приходилось слышать горькие слова от Цветаевой: «Вероятно, у нее был такой тяжелый характер, потому что она была прежде всего поэтом».

Есть еще рассказ того же порядка:

> У нее был пафос страдания, но не отчаяния, а страдания, потому что она — поэт /.../ Она согласна страдать и умереть за правду, но определить эту правду невозможно. Отсюда постоянная тема самосожжения и лейтмотив костра /.../ Она была горда (пресловутая Маринина гордость), горда потому, что — поэт. Слово поэт для нее — все.
>
> Но она не говорила, что поэт от Бога или что поэт выше всего этого /.../ Она часто говорила, что поэт — обреченный, она чувствовала свою связь с большими поэтами: Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Маяковским, но сознавала, что судьба их трагична. Сама потом понесла такой же крест! /.../ Поэт должен гибнуть от общества, и от преследований общества она испытывала удовлетворение: «Меня грызут, но это нормально, ведь я же поэт, а поэтов ненавидят и преследуют». И эта непреклонность у нее осталась до конца /.../ В этой жажде самосожжения проявляется русская хлыстовская стихия. Подсознательное желание быть жертвой. Для чего? Этого она не открыла, но на это она положила свою жизнь (В).

И конкретный случай из жизни:

Я помню один ее спор с моим мужем о Пушкине. «Евгения Онегина» она не любила, говорила, что это быт, но в этом споре проступила большая острота ее ума /.../ Однажды она вошла в комнату, где лежала моя сестра, больная, и читала стихи. Она на нее посмотрела и сказала: «Нехорошо утром читать стихи. Утро должно быть посвящено активной творческой работе». Она часто употребляла слово «гнусно» или «гнусность». Это одно из ее любимых слов /.../ Но при этом она была надменна и считала, что самой ей все позволено, потому что она поэт. В этом наша семья была с ней не согласна (Б).

Есть и более раннее высказывание о литературных вкусах Цветаевой:

Она сама говорила: «Мне по плечу два человека: Пастернак и Рильке». Но был однажды разговор о том, что появилось лучшего в печати за последнее время. Сергей Яковлевич как раз тогда опубликовал в пражском журнале «Своими путями» неплохой рассказ «Тиф» — случай из гражданской войны. Цветаева сказала, что за это время было «одно хорошее произведение — рассказ моего мужа» (Б).

А Марк Львович Слоним вспоминает:

Ее любимая игра — словесный теннис. Скажешь: «Венеция», она отвечает: «Казанова». У нее была удивительная способность воспламеняться от слов /.../ В эту словесную игру нужно войти, она особенно ярко выражена в ее прозе.

Когда слушаешь рассказы современников о поэте Марине Цветаевой, когда вспоминаешь бесконечные записи бесед, анекдоты, подчас разочаровываешься: величие поэта, масштабы его кругозора улетучиваются в обыденном, глубина мельчает в злободневности и сплетнях. Однако именно те люди, которые рассказывают о прозе текущего дня, постоянно ощущают веяние подлинной поэзии. У меня со многими собеседниками было именно так.

Очень часто случалось, что я задавала конкретные

вопросы относительно того или иного непроверенного события, и, вместо того чтобы делать усилие и уточнять собственное воспоминание, современник или друг поэта отклонялся и углублялся в сложный анализ творчества или начинал цитировать стихи, порой со слезами в голосе. Больше чем кто-либо, люди, знакомые с Цветаевой, пытались вникнуть в ее внутренний мир, сформулировать ее «мировоззрение» и любыми способами передать мне музыку и вес ее стихов.

Сама Цветаева не раз в письмах, высказываниях и стихах подчеркивала свое одиночество. Некоторые ее друзья объясняли это ощущение ее неуживчивостью в чисто бытовом плане. Другие искали причины этому чувству в ее отверженности в литературных кругах ее эпохи, третьи же считали, что чувство одиночества неотделимо от ее сущности: поэт — человек необыкновенный, и ему свойственны необычные переживания.

Полная публикация переписки, дневников и черновиков, вероятно, по-новому осветит эту сторону жизни поэта. Но в ожидании раскрытия архивных хранилищ приходится ограничиваться рассказами и впечатлениями близ стоявших, и в первую очередь, конечно, дочери Цветаевой. Она могла и умела анализировать характер матери, она, кроме того, отлично знала ее творчество. Поэтому, даже если в ее мнениях отдается дань политической ситуации, даже если в ее суждениях присутствует эмоциональный момент, тем не менее оценки ее представляют, по-моему, именно для биографа особый интерес.

Когда я с Ариадной Сергеевной познакомилась, было ясно, что ее коробило от одной мысли, что кто-нибудь может писать о ее матери, анализировать ее творчество, в то время как она, самый близкий Цветаевой человек, лучше всех знавший ее творчество, чувствовала себя не в силах это сделать. Поэтому ее ответы на мои вопросы однажды и вылились в форму советов, как писать о Цветаевой, что говорить о ней, как ее понимать:

> Надо знать подтекст, а то ничего не поймешь. Каждое стихотворение тесно связано с жизнью, кровно. Ее стихи — сама жизнь, на ходу. Например, «Бредут слепцы Калужскою дорогой» в стихотворении «Над синевою подмосковных рощ» — это дорога в Тарусу. По ней шли калики-

перехожие, нищие и т. п. Самая выраженная в русской душе дорога — Владимирская, по ней арестантов уводили в Сибирь. Но для нее Калужская дорога — дорога в святые места — более конкретная. Это дорога, которую она хорошо знала /.../

Она считала, что есть три поэта: Пастернак, Маяковский и она сама, и что они равносильные, ни на кого не похожие и вперед смотрящие новаторы. Вообще же она была щедра и готова к помощи, возилась без конца с молодыми поэтами и питала настоящее уважение к людям одного с ней ремесла. Она никогда не обижалась, если ее не понимали. Тогда она терпеливо объясняла стихи (свои или вообще стихи) любому человеку. Она не любила, когда ее критиковали, не понимая, но когда просто не понимали, она была добра. Это даже не снисходительность, а доброта к людям. А судить, не понимая, нельзя. С судящими она говорила мягко, хвалила их, как и Пастернак /.../

Цветаева считала несчастье необходимым компонентом творчества: «Петь не могу — Это воспой». Этого вдохновения от беды она в Ахматовой не видела. Сама же Цветаева была очень богата, обильна и широка. Как раз до отъезда из России. И эта первая фаза ее творчества была как бы отрезана. В эмиграции произошел процесс самоуглубления — углубленность творчества. Если она раньше брала поэзию на поверхности жизни, теперь она стала брать ее в глубине.

Чтобы писать о творчестве Цветаевой, конечно, надо знать, что писать, и надо ограничиться. Но если взять ее темы и образы во всех временных видоизменениях, то тема сама ограничится. Что-то отпадет /.../

Ее «петь не могу» не значит какое-то сомнение в себе и в своем творчестве. Это значит трудность найти формулу. Это не поэзия в первичном понимании, когда все свободно. Она никогда не ждала какого-то вдохновения, а шла каждое утро к столу, как к станку, никогда не растренировывалась, не знала колебаний /.../ В сборнике «После России» — зашифрованность, трудность, но то, что

кажется зашифрованным и непонятным, это совершенство формулы, и чтобы понять, надо формулу развернуть, разбавить, все в нее вернуть и восполнить и тогда понимаешь /.../

Но есть вещи, которые ей не давались, например незавершенная поэма «Певица», герой ее — эмигрант, со всеми слабостями. Она поняла, что у нее вышли бы «Бедные люди», а их Достоевский уже написал. Поэтому она и бросила, так же как бросила поэму «Егорушка».

Я тогда поняла, что к этой поэме относится стихотворение «Дом» (1935), и попросила Ариадну Сергеевну дать мне дополнительные сведения о поэме. Она объяснила:

Это неперебеленная рукопись. Кроме этого отрывка, есть еще много вариантов: это была поэма о семье русских эмигрантов того периода, нищета, борьба с бытом. Потом она решила, что об этом писать не стоит /.../

В ее стихах всегда присутствует стихия «Время, остановись!». Умирающие ее друзья всегда были оплаканы, и все ее стихи всегда — живое о живом /.../ А Россия? Откуда у нее она? Ведь она же была вовсе не огромного образования, жила она в городе, в деревне не росла. Россия у нее от отца. Вся Европа от матери. Сказок, нянек вокруг нее не было. Была взвихренная Русь, но среда интеллигентная. А образование было незначительное. Ведь она только кончила семь классов /.../ Тем не менее в ее пьесах и трилогии полно народного языка, няни говорят как няни.

Возвращаясь к ранним стихам матери, Ариадна Сергеевна говорила:

Я считаю, что настоящая Цветаева начинается с третьей книги, с «Юношеских стихов». В ранних стихах ее чувствуется влияние Готье и Верлена и желание писать стихи легко читаемые. Они не начинены опытом, они дают только опыт детства. Но они тоже выполняют свою функцию. Позднее появится глубина, и стиль станет более dense (емкий).

Ариадна Сергеевна также анализировала то, что она называла пастернаковской волной в творчестве Цветаевой:

> Пастернак свел Цветаеву с Рильке как раз в тот период, когда у нее была эта «пастернаковская волна»; с Рильке тоже — роман в письмах. Эта волна продолжалась очень долго. Пастернаку посвящено очень много стихов. Кроме того, большая переписка, а также «Световой ливень». Это большой творческий поток, и если стихи не ему, то они очень близки. Например, стихи о родстве душ, о тождестве судеб — даже если стихи без посвящения ему, то они все равно часть этого потока.
>
> А Рильке вливается в пастернаковский поток. Например, есть определенная близость между поэмой «С моря», посвященной Пастернаку, и «Новогодним письмом Рильке». Я сама помню, как мама из Сен Жиля посылала в коробочках собранные на пляже эти красивые плоские камешки (галэ). Тем временем она писала Пастернаку свою поэму.
>
> Надо сличить поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» и «1905 год» с цветаевской «С моря». Там есть строчки: «Приедается все. Лишь тебе не дано примелькаться...» Мама считала, что это лучшее, что было написано о море. И ее поэма была ответом на слова Пастернака. В их переписке ведь шел большой творческий разговор. Пока Пастернак писал своего слюнявого героя, мама заставляла его переделывать и придавать ему мужественность.

По поводу разных моих планов переводов прозы Цветаевой Ариадна Сергеевна, которая, как известно, сама была блестящим переводчиком художественной литературы, говорила:

> Стихи ее переводить можно и нужно. Все можно переводить. Она сама очень удачно переводила /.../ Для переводов нужно стремиться к предельной сжатости языка. Мне, как читателю, не надо, чтобы было исключительно. Мне нужна только достоверность /.../ «Наталью Гончарову» переводить не нужно. Это слишком трудно. Кроме того, слишком близко к пушкинской Гончаро-

вой. Эта пушкинская подоплека будет неинтересной. Мысль такая, что кабы тому Пушкину, да эту Гончарову! Это пушкинская тема. Цветаева ведь была равнодушна к зрительным впечатлениям. Через живопись она поняла ту — пушкинскую — Гончарову. Прониклась живописью и потом отошла. И живопись играла малую роль в ее жизни. Гончарова же была человек не общительный, т. е. она не умела объяснять, говорить, она была очень замкнутая. Умела только показывать свое искусство и что-то неясное мычала и бормотала. А ведь научиться ценить живопись можно, это стихам научиться нельзя /.../

Вспомним, что Ариадна Сергеевна сама живописи училась и говорит здесь с полным знанием дела.

Чтобы переводить, надо начать с легкого и переходить к сложному. Поэтому стоит сохранить автобиографические очерки и строить книгу по нескольким разделам: автобиография, литературоведение и о творчестве. В стиле надо стараться сохранить лапидарность, заостренность.

Надо, например, перевести рассказы «Дом у старого Пимена», «Жених», «Мать и музыка», «Башня в плюще». У Цветаевой большая близость к прозе Рильке. Это не мемуары, а что-то другое. Если дать одно «литературоведение», то будет тяжело.

Книгу надо дать в развитии. Стоит перевести статьи о Пастернаке, и о Белом, и о Волошине.

Перевод очень полезен для работы. Он позволяет проникнуть в глубину текста и мысли. Надо строить книгу от легкого к трудному и брать самое трудное в конце. Например, у Цветаевой был такой очерк «Чудо с лошадьми», который почему-то сохранился здесь только во французском переводе. Когда Цветаева приехала сюда, этот очерк попал к Тарасенкову. Копия была и у Крученых. В этом тексте, в переводе, все убито, не только язык, но и сам сюжет. У Мопассана ужасный среднефранцузский язык, банальный, бойкий и безличный. Так нельзя переводить /.../ Каким образом сохранился только этот перевод, не знаю.

На один мой вопрос о связи между прозой и стихотворными циклами Ариадна Сергеевна объяснила, что

> ...это не всегда так. Надо проверять по датам написания и публикации. «Сонечка», например, несомненно. Часто одна волна идет, и одной волной написаны, например, стихи и проза о Гронском. Но стихи Мандельштаму относятся к 1916 г., а проза — полемическая, и написана гораздо позднее. Кроме того, есть целый ряд очерков и статей, в частности автобиографических, написанных почти по заказу, ради заработка. Они короткие и почти все по размеру умещаются в подвал «Последних новостей». «Отец и его музей» написан к случаю, т. е. к годовщине.

Ариадна Сергеевна также комментировала отдельные произведения матери:

О «Поэме конца»: «Поводом для обеих поэм был разрыв, а что свадьба была только в 1926 г., это не важно. Кроме того, как всегда у Цветаевой, все очень конкретно, достоверно и близко к фактам».

О «Поэме заставы»: «Там, где раньше кончался город, были ворота, шлагбаум; за заставой в конце XIX века город начал обрастать бедными, фабричными районами. Были, например, у Белорусского вокзала конюшни, бойни, две фабрики, и весь этот рабочий люд жил на заставе, а Белорусским вокзалом сам город кончался».

О «Земных приметах»: «Это ранние стихи. Сначала они входили в книгу, маленький сборничек, который потом не состоялся. «Вне цикла» — значит, что стихотворение находится внутри какого-нибудь цикла, но не пронумеровано, а стоит отдельно».

О «Верстах»: «Надо проверить хронологию. Нет книг «Версты 1» и «Версты 2». Есть только «Версты», вып. 1, Москва, 1922, и «Версты», изд-во Костры, Москва, 1922, — и это две разные книги. Это всегда в библиографиях путают. А «Версты 2» — такого нет. Но вообще она очень много готовила разных сборников и книг, которые потом не выходили. Например, стихи Марии Башкирцевой. Сначала она писала посвященные ей стихи, потом стала готовить целую книгу.

Это было одним из ее увлечений, а потом книжка не вышла, и она ничего в этой форме не напечатала».

В виде иллюстрации к беседам о творчестве матери Ариадна Сергеевна показывала мне ее тетради, и, так как архив Цветаевой теперь закрыт, я думаю, что интересно дать здесь краткое их описание со слов Ариадны Сергеевны, вместе с ее комментариями:

> 1. Вот рабочая тетрадь, тематическая, почти беловая. Это пьесы. В них план произведений; затем то, что сделано, и то, что не сделано; белые страницы, чтобы перерабатывать; поправки; беловые копии. Как видите, переплет прочный, видно уважение к бумаге. (Тетрадь эта была типа бухгалтерской, толстая, большая, с заглавием, датами и указанием количества страниц.— В. Л.)
>
> 2. Записная тетрадь 1919 г.— еще очень четкий почерк, но это переписанные черновики. Все идет подряд, без помарок: цитаты, стихи, записи об Але, о Муре (28-й год: «Молится Богу с матерью: «А давай помолимся о Боге»).
>
> 3. Записная книжка: она всегда носила в сумке записную книжку типа agenda (календарная записная книжка) и считала, что необходимо все записывать. Так и других учила, меня в том числе. Записывала сны, разговоры, реплики, мысли по поводу работы или какого-нибудь спора. Например, по поводу смерти Маяковского у нее записано: «Нету страшнее смерти, чем смерть от упадка».
>
> Совсем черные черновики она тоже сохраняла. Записи и отрывки она вписывала в маленькие книжечки (размером в половину школьной тетрадки), отредактированные и переписанные начисто. Кроме того, были еще беловые тетради.

К этому можно еще прибавить вскользь брошенную фразу Ариадны Сергеевны: «Я с детства ей без конца подыскивала огромное количество рифм. Она их записывала столбцами в тетрадки».

Но вот продолжение беседы об архивах Марины Цветаевой:

Об «Искусстве при свете совести»: «Надо проверить, как сказано в печати, но в американском издании

1953 г. много ошибок. Очерк, по-моему, так и называется: «Из книги „Искусство при свете совести“», а самой такой книги в архиве нет. Нет текста более полного, чем то, что было напечатано, в архиве только отрывки, наброски и вставные куски. У нее это бывало, что она задумает книгу, печатает отрывки, а сама книга не существует /.../»

О «Поэме о царской семье»: «От этой поэмы остался только отрывок «Сибирь», ее надо разыскать, так как черновиков тоже нет. Половина была оставлена в Париже у Лебедевых, половина тут, какая-то часть еще в Чехии /.../».

О «Пьесах»: «Сборник пьес должен был выйти в 1967 г. с предисловием Антокольского. «Конец Казановы» — это случайное издание последнего действия пьесы «Феникс»; «Приключение» — огромная и прелестная пьеса, написанная очень быстро, как писались многие другие стихи, между 12 декабря 1918 г. и 10 января 1919 г.; «Фортуна» — пьеса герцогу Лозену. Очень трудно было найти, по каким мемуарам Казановы она работала. Наконец я нашла и обнаружила, что в пьесе большая близость к подлиннику; «Метель» написана за 9 дней в 1918 г. Нашелся в перекупленной у одного коллекционера тетради черновик еще одной пьесы, «Колодец святого ангела», текст следует за пьесой о Лозене, видимо, тоже 1919 г.».

Ариадна Сергеевна показала мне одну страницу — рукопись «Тезея». Текст на левой части страницы занимал около двух третей листа. На правой части было написано много слов столбцами, свидетельствовавшими не о поисках рифм, а, скорее, о нанизывании синонимов, по возможности однокоренных и имеющих одинаковое количество слогов.

О письмах.«Писем мне — очень мало, письма Сергея Яковлевича потеряны».

Ариадна Сергеевна рассказывала мне о переписке Цветаевой с другими корреспондентами, но так как большинство этих писем с тех пор были (или в скором будущем должны быть) опубликованы, я не буду конспектировать эту часть наших бесед. Вот список некоторых цветаевских корреспондентов: Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова, Саломея Николаевна Гальперн, доктор Альтшуллер, О. А. Мочалова, В. А. Меркурьева, А. В. Сосинская и др.

По поводу писем и рукописей Ариадна Сергеевна дала еще следующие пояснения:

> Датировка писем и прозы верная и точная. Она всегда очень точно писала дату, причем месяц писала буквами, а не цифрами, поэтому даты советских изданий точны.
>
> Иногда она работала над вещью с разными датами, то есть в разное время. Тогда дана дата окончания стихотворения в книге, кроме случаев, когда она сама давала две даты. Она часто сама датировала свои произведения в тетрадях. А датировку прозы уточнять по тетрадям очень долго и трудно. Это издательская работа, которую мы пока проделали только для сборника. (Речь идет об издании 1965 г.— В. Л.) Поэтому для датировки произведений пока следует опираться на даты самой Цветаевой, а когда их нет, на дату первой публикации.

Я запомнила высказанное Ариадной Сергеевной мнение о переписке Цветаевой с Тесковой, которая тогда только что вышла:

> Умолчания в переписке с Тесковой очень неудачны. Сказано слишком много или недостаточно... Хотя лучше умолчать, чем лишиться *текста*. Лучше его пропихнуть, даже с пропусками, у нас. Все равно рано или поздно все это будет опубликовано.

«Молодец»: «Марина Цветаева перевела его на французский язык под названием «Le gars» (парень), вернее, первую половину она перевела белыми стихами, а вторую просто написала заново по-французски, эта работа относится к 1929-1930 годам».

Ариадна Сергеевна процитировала мне несколько отрывков. Я этого произведения по-французски тогда не видела; мое впечатление от чтения Ариадны Сергеевны с тех пор подтвердилось: строка короткая, со многими переносами, но ритм и ударения для французского уха слишком подчеркнуты, мешает также обилие конечных ударных «е», которые во французском языке часто безударны. Наконец, обычная у Цветаевой «без-

глагольность» здесь переходит в явный и поэтому не очень удачный прием.

Если бы можно было расспросить Цветаеву о работе поэта, о смысле ее творчества, о ее мировоззрении, быть может, она уточнила бы и выяснила многое. Но этого никто, кроме М. Л. Слонима, не сделал. К тому же, согласно многим воспоминаниям, она своих стихов не объясняла, а только перечитывала их по нескольку раз, пока смысл не становился ясен ее слушателю.

Но с несколькими избранными у нее состоялись беседы о творчестве, и среди них самое интересное свидетельство о Марине Цветаевой как о поэте — свидетельство Марка Львовича Слонима, может быть, потому, что он был литературно одаренным человеком, который умел понимать и слушать; может быть, именно он был тем идеально умным критиком, которого Цветаева описала в своей статье «Поэт о критике», противопоставляя его остальным, тем внимательным и чутким собеседником, свидетельство которого, дополненное его уже опубликованными работами, теперь незаменимо:

> Она была убеждена в своем ремесле и в своем долге поэта. Адамович ее не признавал, как и Мирский вначале: «распущенная москвичка» — его слова! Она никогда не была распущенной, наоборот, очень подобранной.
>
> Форма стихов оттачивалась ею долгим трудом. Она по десять раз обдумывала каждое выбранное слово. Например, она приходила ко мне и читала какое-нибудь стихотворение. Затем говорила: «Послушайте, вы ничего не слышите?» И долго настаивала. Наконец я что-то подмечал, и она говорила: «Ага!», а потом одно это слово подменяла — долго искала другое.
>
> Очень часто она приходила в «Волю России» работать, усаживалась... А в конце робко говорила: «Вот здесь вышло».
>
> Конечно, она была убеждена в том, что она миром помазанна. Поэт — помазанник Божий, высшее начало, высшее «святое» ремесло. В этом смысле все поэты родственны, это одно племя. Их читатели тоже. Остальные — чепуха.

Но она не гордилась. Она принимала свою судьбу со смирением.

Она работала и творила очень быстро, но это не значит, что работа эта проходила легко. Она упорно трудилась над стихом: сперва писала стихотворение, потом исправляла его, подбирая такие сочетания слов, чтобы дойти до корня. Например:

Горе началось с горы,
Та гора на мне — надгробием.

Тут прошел целый творческий процесс — от слова «горе» к слову «надгробье». Ее вело слово, несмотря на то, что она считается поэтом эмоциональным. Для нее поэт — это сила, страсть, поэзия есть при-страстие, а не бес-страстие, как у Пастернака.

Она из слова исходила. В этом отношении она очень современна. Она верила в слово. В логической мысли есть звенья, а у нее то, что мы тогда называли «перепрыги», т. е. пропуски некоторых звеньев, чтобы дать только конечное слово. Это есть и у символистов, но у нее не символ, а раскрытие смысла, через упраздненные промежуточные звенья /.../

Конечно, у нее были «муки слова». Она тогда ходила и что-то навязчиво бормотала. Она всегда хотела найти форму, а форма приходила не сразу. Но у нее не было чувства несоответствия того, что она чувствовала, со словом. Она выражала именно то, что хотела сказать.

В начале ее литературной деятельности были мифы и любови: была Белая мечта, затем миф Праги и Чехии. Были маски: Марина Мнишек, Орленок. Это были детские маски, но они все же выражали ее глубокое существо. Отсюда, конечно, и ее гордыня. Она никогда себя не отрицала. Она всегда себя чувствовала цельной и поэтому любила свои ранние стихи.

Меня, разумеется, интересовала работа поэта, ее творческая «лаборатория». К счастью, Марк Львович делал наблюдения в этой области:

Слова она искала письменно. Черновики ее все исчирканы, она подыскивала и рифмы, и слова, но

8—1244

так как строчки у нее короткие, то часто подыскивать внутри строки одно слово именно и значило менять рифму.

Самый последний вариант был для нее всегда лучшим. Но она собой особенно не гордилась. У нее было то, что я называю не самомнение, а правильное мнение.

Обсуждение своих стихов она всегда слушала очень внимательно, и критику принимала охотно, но то, что считала правильным, готова была отстаивать с пеной у рта.

Когда она приходила читать черновики, она меняла слова, но чаще всего перечитывала стихотворение вслух, настойчиво спрашивая, не слышу ли я шероховатости, чего-то неподходящего.

Я также расспрашивала Марка Львовича о роли мифологии в творчестве Цветаевой. Любопытно, что об этом со мной говорила и Анастасия Ивановна:

> Марина читала античную литературу. Интерес к ней появился у нее не только благодаря отцу. До ее десяти лет музея не было, мифами нас начиняла мать, и Марина мифологией очень интересовалась.

А Марк Львович уточнил:

> Ее всегда притягивало все то, что выходило за пределы, что вне мер, ее «безмерность в мире мер» — это же и есть тяга к мифу.

Марк Львович считал, что народная линия в творчестве Цветаевой обусловлена ее подходом к языку:

> Русский язык она знала очень хорошо и народный язык хорошо знала, как настоящая москвичка. Некоторые думают, что ее фольклор искусственный. Я не нахожу. Я этого «Молодца» хорошо знаю и не чувствую искусственности, хотя полагаю, что в ее поэзии это что-то побочное. Она очень русская, поэтому ее фольклор естественный. Для многих это второстепенно /.../
>
> «Царь-девица» и «Молодец» — ее единственные две народные поэмы, и я не чувствую их как

органическую и важную часть ее поэзии, хотя некоторые мотивы этих двух поэм принадлежат к основным ее образам. Все-таки это стилизация. Она сама эти вещи любила, и, вероятно, ей бы не понравилось, что я говорю о них как о стилизации.

Анализируя прозу Цветаевой, Марк Львович говорил:

Я понимаю,что эта проза может не нравиться, и вас она, возможно, отталкивает, потому что кажется ornée (разукрашенной). Но ведь Цветаева — представительница романтизма. Романтические свойства вам известны. Это индивидуализм и переход за... Люди, воспитанные на акмеизме, не могут принять Цветаеву. Она *не* лаконична. Отталкивание Адамовича от ее стиля понятно — у нее все недостатки романтизма.

В ее прозе два порога. Во-первых, это проза поэта. Это всегда в каком-то смысле «скверная» проза. Почитайте-ка прозу Пастернака или Мандельштама. Во-вторых, есть романтизм прозы. Это что-то вроде prose orale (устной прозы), то есть это проза *не* повествовательная, а всегда эмоциональная, это высокие эмоции и мифотворчество.

Нужно в эту прозу войти, нужно обязательно встретить автора, а не загородиться от него. В Цветаевой, и особенно в ее прозе, весь ее трагизм, бунт и страсть самосожжения. И вместе с тем она тянулась к людям. Вспомните ее мифотворчество. Это все надо хорошо понять и во все это вникнуть.

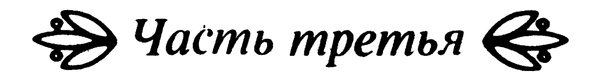
Мне думается, что в парижском литературном кругу конца 30-х годов Марк Львович Слоним, опережая эпоху и «цветаевскую моду», сумел до конца оценить поэтическое дарование Марины Цветаевой. Поэтому в заключение описания парижского периода ее жизни я процитирую конец его давней женевской беседы о Цветаевой:

Для нее назначение поэта было святое. У нее была мученическая жизнь, но жизнь праведная. Мало кто может сказать, умирая: «Я жил так, как

считал правильным». Она могла это сказать. Она — поэт, это ее долг, ее ремесло, ее обязанность, ее назначение, ее право.

Ее исповедь: сказать то, что она ощущала в мире и в себе, и сказать это самым лучшим образом. Она высказала это в той романтической форме, которая была формой полного презрения к ничтожеству, ко всему, что тщетно и временно, и утверждения всего того, что для нее было не только свято, но и правдиво, и что было безмерно, как вселенная, как Бог, как поэзия.

(Женева, 1967 г.)



Часть третья

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СССР

Глава 9. ЖИЗНЬ В МОСКВЕ (1939—1941)

Приезд в Москву. Арест семьи. Смерть С. Я. Эфрона. С. Гуревич. Болшево. Жизнь М. Ц. после ареста семьи. Версии А. С. Эфрон и А. И. Цветаевой. Голицыно. Мур. Друзья. Одиночество. Пастернак. Письмо Фадеева. Встречи с Ахматовой. Версии А. С. Эфрон и Н. И. Харджиева. А. Крученых. И. Эренбург. Помощь Цветаевой. Работа. Версия А. С. Эфрон. Положение М. Ц. Прогулка. Сборник 1940 г. и разные версии его истории. Внешность и поведение М. Ц. Увлечения.

Свидетельств о дальнейшей судьбе Марины Цветаевой уже не было смысла искать на Западе. Рассказы, услышанные мной в Париже, в большинстве своем повторяли слухи, которые ходили в Москве по окончании второй мировой войны, или то, что стало известно после смерти Сталина. Основным источником моей информации, следовательно, был в первую очередь подробный биографический отчет Ариадны Сергеевны. Он во многом противоречит тому, что мне стало известно позднее: Ариадна Сергеевна уже не была прямым свидетелем последних лет жизни матери. И рассказывала она только то, что ей самой удалось собрать после возвращения из ссылки. К тому же она, по уже изложенным психологическим и идеологическим причинам, для меня создавала свою определенную картину событий и *свой* образ матери: я же считаю своим долгом этот образ воспроизвести, даже если с тех пор появились другие свидетельства, коренным образом меняющие картину, тем более, что она продолжает меняться и что раскрытие всех засекреченных архивов могло бы с достоверностью восстановить полную биографию Цветаевой. А этого, быть может, никогда не произойдет.

Остальные свидетельства о Цветаевой также довольно туманны: многим мешало рассказывать естественное ко мне недоверие и вообще обстановка жизни в СССР, как в 70-е годы, так и позднее. Поэтому описания были неполными, с характерными для советской действительности умолчаниями, смещениями и недоговоренностью, делающими вполне ощутимым железный занавес, который отделяет нас от России. Так что мрак, обволакивающий трагическую жизнь Марины Цветаевой в Москве в последние два года, распространился и на свидетельства о ней.

Из других источников, дающих сведения об этом периоде, следует упомянуть воспоминания ее сестры, опубликованные в журнале «Москва» в 1981 г. и неизданную полемику, вызванную этой публикацией.

На воспоминания Анастасии Ивановны я ссылаться не буду, поскольку я в данной работе пользуюсь неизданными материалами, но опять сошлюсь на ее беседы со мной в Москве в 1971 и в 1981 гг., а также на рассказы других людей, которых называть не могу по понятным причинам. Есть также ценное свидетельство Л. К. Чуковской, теперь опубликованное в изд-ве «Руссика» (т. 3, 1982, с. 394—416), о поездке М. Цветаевой в Чистополь в августе 1941 г. И если отчаяние, охватившее Цветаеву в последние два с половиной года, видимо, в буквальном смысле слова не поддается описанию, то все же отдельные моменты этого последнего периода ее жизни описать можно и нужно.

По словам Ариадны Сергеевны,

> ...Никаких сообщений в прессе о приезде Цветаевой не было. Она ехала сюда не как Цветаева, а как жена папы. Он ведь вернулся особенным образом, она — за ним, и ее приезд оформлялся как объединение семьи. Вот о возвращении Куприна говорилось в печати.
>
> Сразу после ее приезда мы поехали на дачу в Болшево под Москвой. Оставались там до октября 1939 г. Жили мы все вместе неполных три месяца. Отец уехал в августе 1939 г., и тогда дачу отняли. Квартиры в Москве не было, я жила у теток. А когда жили в Болшеве, я еще оттуда ездила на работу в Москву, на электричке.

Относительно возвращения в Москву самой Ариадны Сергеевны, за два с лишним года до этого, мне рассказывали следующее:

> Когда Аля приехала, ее встречали на вокзале МИДовцы, люди в штатском, в серой машине. Я приехал ее встречать, а Пастернак не приехал. Они из ее рук приняли чемодан с почтой, она села с ними в машину, а я скрылся.
>
> Сергея Яковлевича два года не трогали. Тогда начальником НКВД был Берзин. Наши возвраща-

ли всех из-за границы. И что же с Сергеем Яковлевичем делать? Сохранить или ликвидировать? Берзин и обратился к Сталину, а через два года Сталин решил его ликвидировать.

Марина рассказывала, что после бегства Сергея Яковлевича из Франции к ней пришли четыре человека из французской полиции с обыском. Потом был допрос. Тогда увидели, что она ничего не знает. Она говорила: «Последнее, что я знаю,— он внезапно пришел домой, очень быстро уложился и сказал, что едет в Испанию». И через Испанию его переправили в Советский Союз (Т).

Мне не удалось выяснить, знала ли Марина Цветаева об аресте сестры еще в Париже или узнала об этом, только приехав в Москву. Анастасия Ивановна мне говорила:

О жизни в Москве до их ареста я ничего не знаю. А где работал Сергей Яковлевич, я бы не спросила, да и она бы не ответила. Они оба погрузились в политику, поэтому и погибли. Это естественно.

О приезде сестры:

Я писала Сереже, когда он хотел ехать сюда, о медведях и т. д., эзоповским языком, но он не послушался. С Мариной мы переписывались редко. На вокзале Марина спросила: «А где же Ася?» А Аля и Сережа ее завлекали: «Мы получили полдачи, будем жить среди природы...» Я ничего не знала о Сергее Яковлевиче и Але, и об их деятельности. Когда меня в 1937 г. арестовали, о нем в Бутырках говорили насмешливо... А Аля была в Бутырках полтора года, до 41-го, а потом — лагерь.

Другой человек мне говорил: «Марину Цветаеву звали сюда, не предупредив, что сестра ее с 1937 г. арестована» (У).

Теперь стало достоверно известно, что вся семья, вместе с Цветаевой, оказалась в сборе в Болшеве в 1939 г. Ариадна Сергеевна вспоминала это время как самое счастливое, вероятно, не только по личным причинам, но и потому, что это были последние недели общения

с матерью. Последующую хронологию уточнять нелегко.

Один человек, друживший с Цветаевой в эти годы, установил следующую последовательность адресов, которую и Анастасия Ивановна подтверждает:

> Жизнь в Болшеве, затем прямо в Голицыне, там полгода, с декабря 1939 до июня 1940-го. Потом проходная комната у Лили. После этого Цветаева получила комнату на Покровском бульваре, дом № 14/5, кв. 6, где и оставалась до самой эвакуации (О).

Если в целом все это кажется достоверным, то остается все же несколько неясностей как в отношении дат, как и в перечне адресов.

Так, например, в дневниковых записях Цветаевой за 5 сентября 1940 г. сказано об аресте Ариадны Сергеевны. («Неизданные письма», ИМКА, 1972, с. 629 и сл.) Первый вопрос касается самого дня ареста.

В самом начале нашего общения Ариадна Сергеевна предостерегала от трудностей, ожидавших меня в предстоящей работе над книгой о Цветаевой. Она тогда сказала: «Марина Цветаева — колдунья. Она и вас заколдует». И по этому поводу рассказала историю с браслетом жены Эренбурга, которую я перескажу ниже, а также один свой сон:

> У меня был сон, что я куда-то пошла по дороге и захотела повернуть и пойти по другой, а мама мне крикнула: «Нет, иди по этой, она только в начале трудная. Приду за тобой 28-го!» Я тогда и не думала об этом сне, хотя слышала и помнила, что в народе это считается плохой приметой. А 28-го меня арестовали, и я только потом вспомнила об этом сне.

Марина Цветаева пишет в своей записи: «27-го в ночь» — следовательно, дата точная, но год остается под вопросом: из дневника Цветаевой можно понять, что Ариадна Сергеевна была арестована в 1940 г. Однако сама она мне говорила, что в Болшеве семья провела чуть меньше трех месяцев вместе, до октября 1939 г. Марина Цветаева могла, конечно, записывая все события предыдущих месяцев, не уточнять, что арест Али

относится к 28 августа *предыдущего* года. Но, может быть, произошла ошибка в датировке всей записи? Бывает (это случалось и в переписке Цветаевой), что, записывая точно день и число, делаешь ошибку относительно года.

В той же записи Марина Цветаева пишет о своем дне рождения, и тут еще одна мелкая ошибка: «Сегодня, 26 сентября по старому стилю (Иоанн Богослов), мне 48 лет». Запись начата 5 сентября по новому стилю (по старому 23 августа), а 26 сентября по старому стилю приходилось бы на 9 октября. Ввиду этих неточностей, можно усомниться в верности датировки Цветаевой. Но можно предположить и другое: в тот день, когда Марина Цветаева возобновила свой дневник — 5 сентября 1940 г.,— она туда переписала подряд, вместе с датами, все события прошедших месяцев и свои краткие замечания из записной книжки, которую она держала в сумке и всегда носила с собой.

Один москвич, близкий ко всей семье, мне сказал:

> Когда всех арестовали, дачу опечатали, а Цветаевой дали 24 или 48 часов, чтобы убраться. Она переехала с Муром к сестрам Сергея Яковлевича, в Мерзляковский переулок. А до ареста Аля работала в Москве в журналах «Ревю де Моску» и «Журналь де Моску» и ездила из Болшева в Москву на электричке (И).

Но другой свидетель мне говорил, что в момент ареста Сергея Яковлевича дачу не опечатали, а просто, оставшись в ней одна, Марина Цветаева испугалась деревенских условий, одиночества и холода — наступала зима. К тому же надо было, как всегда, когда в семье кто-то арестован, бегать по учреждениям, носить передачи, и все это труднее было делать, живя за городом.

Ариадна Сергеевна мне говорила, что Сергей Яковлевич был арестован раньше нее — «и мы с мамой носили ему передачи». Но это ошибка: теперь достоверно известно, что Ариадну Сергеевну арестовали первой, а Сергея Яковлевича месяца два спустя:

> Арест Сергея Яковлевича произошел в ноябре 1939 г. Арестовали всех одновременно, может быть, одних в один день, других на следующий, накануне ноябрьских праздников: Милю Литавр,

> архитерктора Балтера, Клепининых и Сергея Яковлевича. Поэтому не могла Аля «с мамой носить папе передачи», она была уже арестована. Я помню, как потом встречал Цветаеву с Муром в Бутырках. Они носили передачи Сергею Яковлевичу (И).

В другом рассказе:

> В ноябре 1940 г. Сережи уже не было в живых, и, вероятно, уже давно. А у Марины Цветаевой принимали передачи до начала войны. Это было не жульничество, а доказательство, что его дело еще не оформлено — нет приговора, нет и следов суда /.../ Приехав в Москву после дела Рейса, Сережа понял, кто его «патроны», как он называл начальников НКВД. Когда за ним там стали следить, он понял, что надо уезжать, и все уехали вместе: Клепинины и он, на советском теплоходе. Сначала их поместили в гостинице Метрополь, а затем на даче НКВД в Болшеве. Когда здесь после дела Рейса появились эмигранты, то надо было объяснить их приезд, не говоря о деле Рейса («Это — легенда»). Когда они приехали, им не дали работать (Ю).

Остается неясным, почему Ариадна Сергеевна сочла нужным скрыть от меня тот факт, что ее отец был арестован одновременно с другими лицами, проходящими по тому же делу. Она вообще с большой неохотой говорила и о собственном «отъезде», и о пребывании в местах «не столь отдаленных», хотя встречи наши состоялись в 1971 г. Только к концу нашего общения она стала об этом говорить более откровенно. Я же, конечно, не могла припирать ее к стенке. Когда мы познакомились, она очень быстро поняла, что моя информация о «деле Рейса» и о «деятельности Эфрона» была еще очень неполная. Она, очевидно, хотела убедить меня, что ее собственный арест не имел никакого отношения к делу ее отца. Она ведь неоднократно утверждала, что ничего не знала о работе отца, тогда как в Париже мне не раз говорили обратное. Поэтому и нужно было, чтобы я считала, что оба ареста не имели ничего общего, а также чтобы я не знала, в каком точно порядке они были проведены.

Можно также задать вопрос, почему они не были

арестованы раньше: с 1937 по 1939 г. и Ариадна Сергеевна, и Сергей Яковлевич оставались на свободе. Может быть, это делалось с умыслом — вернуть домой Цветаеву?

Как мне говорил один человек, хорошо разбиравшийся в сложности ситуации того времени,

> Сталин принял такую политику — вернуть всех на родину. После войны так же возвращали эстонцев, «аргентинцев». Их вызывали в советское посольство и давали от их дома на родине — ключи! Сталин хотел всех забрать под свое крыло (И).

Может быть и проще: когда Эфрон исчез из Франции, нужно было убрать оттуда и Цветаеву, как лишнего свидетеля, знающего о советском агенте за границей.

Если вспомнить, что германо-советский договор был подписан 21 августа 1939 г., то понятно, почему Ариадна Сергеевна была арестована сразу после. Тогда все иностранцы (или люди, прожившие некоторое время за границей) стали подозрительными. Даже если предположить, что Ариадна Сергеевна была арестована «отдельно», по делу или по статье, не касавшейся Сергея Яковлевича, то непонятно, почему сама Марина Цветаева остается на свободе. Многие люди, с которыми я говорила о том, что Цветаева, как поэт, могла представлять в глазах Сталина какую-то ценность и ее возвращение в Советский Союз могло льстить тщеславию Сталина, мне возражали, что это абсолютно неправдоподобно: Сталин о Цветаевой никогда не слышал, он и более известных поэтов преследовал, сажал и убивал. Вот рассуждения одного москвича на эту тему:

> Для Сталина Цветаева — нуль. Как рассказывал один из его «дружков», у Сталина к литературе был чисто политический подход: Демьян Бедный, Горький, Пастернак — да, а другие — нет. Были «наши» и «не наши», а также «возможно, наши», например, Маяковский /.../ Какова же была цель завлечения Цветаевой на родину? Как и для других «иностранцев», возможных причин только две: вербовка или уничтожение. Как известно, для

Цветаевой кончилось уничтожением /.../ Не исключено, что была и неудавшаяся попытка вербовки (Л).

Другой человек, хорошо помнивший сталинский террор, на мои вопросы отвечал почти то же самое:

Цель возвращения Цветаевой из Франции — вербовка или уничтожение. Слух, согласно которому Цветаева могла подвергаться какому-нибудь шантажу со стороны властей (относительно Мура), по-моему, неверен. Не было применено к Цветаевой в последние годы никакого шантажа. Мура они могли взять, как хотели, и в любой момент. А Цветаева ехала сюда в первую очередь ради Сережи. Это был центр ее жизни. И, конечно, Аля. А Муру надо было расти в России /.../ У Цветаевой, со всей ненавистью к революции, была и нелюбовь к эмиграции, да и к Франции тоже не было никакой любви (Ю).

И еще одно наблюдение:

Марина Цветаева приехала на болшевскую дачу НКВД. Забирают Алю, Сергея Яковлевича. Это система Сталина — использовать, а потом ликвидировать (О).

Тем не менее Цветаева осталась на свободе и позднее эвакуировалась как литератор. Возможно, Цветаеву кто-нибудь и защитил, хотя помощь, которую могли ей оказать московские писатели, была довольно ограниченна. Но этот вопрос будет подробнее обсуждаться ниже.

Остается невыясненной и дальнейшая судьба Сергея Яковлевича, в частности обстоятельства его смерти. Ариадна Сергеевна мне только сказала:

Отец был расстрелян до смерти матери, в самом начале войны. Тогда, очевидно, заключенных не эвакуировали, а всех расстреливали /.../ Дата смерти 1941 г. /.../ но это совсем секретный материал, к которому доступа нет. Ни о приезде отца на родину, ни о его конце говорить нельзя. Мама,

конечно, об этом не знала. Я же была уже арестована.

А в частном письме в Париж Ариадна Сергеевна в 1960 г. писала:

> Папа и мама умерли в августе 1941 г. Мама 31 августа, а точное число папиной смерти не знаю. Мур погиб на фронте в 1944 г.

Другому человеку она рассказала:

> Это все очень просто: в начале войны вопрос пайка был главным. Арестантов не кормили, не эвакуировали, а просто расстреливали, и Сережу так и расстреляли. Мест не было в поездах (В).

О смерти Сергея Яковлевича существует еще похожая версия, согласно которой, «со слов самой Али ее отца застрелили в подвале Лубянки, без суда, в 1941 г. Она мне сама об этом рассказывала. И рассказывала про свое следствие и допросы» (Ц).

Другое свидетельство является, по-моему, более подробным рассказом той же версии:

> Сергея Яковлевича посадили по статье 58/1 — «Измена родине». После войны и разных «сроков» я видел Алю в Москве на выставке Дрезденской галереи, вероятно, в 55-м или 56-м году. Тогда делами реабилитации занималась военная прокуратура (КГБ считался гадким), и Аля мне рассказала, что военный прокурор ей сказал: «Ваш отец вел себя очень мужественно! Его вызвали к Берии, он наговорил ему грубостей, будто даже на него накричал. Его оттуда выволокли и тут же застрелили, в прихожей» (И).

Другой рассказ дает дополнительные сведения о «деле» Сергея Яковлевича и об обвинении, предъявленном Ариадне Сергеевне:

> Алю арестовали первой, Сергея арестовали месяц спустя, вежливо, днем, а Х. мне потом сказал, что в его деле были показания Али. Когда он ей об этом сказал, она ответила: «Знаешь, чтобы

спасти отца, я бы дала показания на сто таких, как ты». А о смерти Сережи мне говорили, что когда его арестовали, то повезли к Берии. Тогда, при Берии, при Ежове, была еще такая «законность», били только по распоряжению — не мог он у Берии подвергаться битью и пыткам. Вероятно, он возмутился хамством и поднял руку... но охрана тут же его застрелила. Эту версию смерти Сергея Яковлевича в кабинете Берии я слышал в лагере /.../ Сережа ведь приехал сюда героем дела Рейса. Очевидно, было так: «Ну, приехали. Не Метрополь (шикарно), а рядом ниже — Националь. Надо их и отсюда убрать. Они обращают на себя внимание. Дадим денег и подумаем, что делать. Работали. У Артаняна. Артанян расстрелян. Их тоже надо. Дочь тоже все знает, первая приехала. Шу-Шу-Шу... Арестовать. Жена ничего не знает...» Но не такое это учреждение, чтобы можно было что-нибудь понять. Все это догадки (Ю).

Возможно, что эти рассказы все повторяют в разных вариантах то, что Ариадна Сергеевна сама в 60-е годы рассказывала своим друзьям, или те сведения, которые Эренбург привез на Запад в 50-х годах. Ариадна Сергеевна тогда уже не была прямым свидетелем, а Эренбург, приезжавший до разоблачения культа личности, о многом в Париже умалчивал.

От друзей Ариадны Сергеевны я слышала, что по приезде в СССР она узнала счастье в своей личной жизни, но более точные сведения и дальнейшее развитие событий до сих пор заставляют рассказчиков содрогаться от ужаса. Ариадна Сергеевна написала в Париж своей знакомой: «В конце 1937 г. я вышла замуж за очень хорошего человека, но пожить с ним довелось мало, вскоре нас разлучила судьба. Он умер в 1952 г.».

Речь идет о Самуиле Гуревиче, который упоминается в письме Цветаевой к дочери: «Муля». (Неизданные письма, с. 618.) В другом рассказе точнее:

У Али, когда она вернулась из Франции, был любимый человек, Самуил Гуревич, они были вместе до ее ареста. А потом оказалось, что он за ней следил. Но его тоже посадили. Потом она вернулась, а он нет (Ю).

И еще: «Муля Гуревич, жених Али, был НКВДист в Болшеве. Он был приставлен, чтобы за ней следить» (Р).

Наконец:

> Болшево было странное и страшное место. Там жили провалившиеся шпионы. Никакого отношения к Литфонду это место не имело. Аля была тогда невестой заведующего НКВДиста. Он этой дачей и ведал. Таким образом, у Али тогда погибли и отец, и жених (У).

Меня, конечно, интересовала и материальная сторона жизни Цветаевой в первые месяцы в СССР. Вот рассказ одного свидетеля:

> Мы с семьей жили в Болшеве с самого нашего приезда в 1937 г. Сергей Яковлевич тоже там жил с Алей. А на что они жили — ясно. Ведь мы-то получали деньги от НКВД. Я помню, как я ходил с матерью на свидание с одной женщиной, всегда той же, и она матери передавала конверт.
>
> И сама дача в Болшеве принадлежала НКВД, а не Литфонду. Это Аля вам наврала. Какой, к черту, Литфонд — огромная дача, прекрасный для тех советских условий комфорт /.../
>
> В Болшеве Цветаева еще не так рвалась печататься, писать. Конечно, она встречала разных критиков, поэтов, но, вместе с тем, поджидала, что будет и как устроится жизнь. /.../ А жить с ней было чудовищно трудно. Марина Цветаева ведь человек была совершенно невыносимый, с которым жить было нельзя. Она могла, например, прийти к соседке и сказать с ненавистью: «Вы не поставили мою солонку на место» — и облить человека презреньем. Но у нее была удивительная непритязательность к материальной стороне жизни. Когда она начинала читать стихи, тогда видна была ее отрешенность от всего земного (И).

Вопрос, был ли опечатан дом после ареста его жителей, остается невыясненным: одни говорят, что там еще оставались люди и что у Цветаевой с Муром была прописка надолго, другие — что Цветаева оттуда уехала,

боясь деревенской жизни в одиночестве, а третьи, что ее выставили оттуда, так как это место жительства было получено в связи с работой Сергея Яковлевича. А относящиеся к этому вопросу документы (как и многие другие) все еще недоступны.

Осенью 1939 г. начинается новый период в жизни Цветаевой, период одиночества, страха, скитаний с сыном по Москве в поисках жилья и одновременно хлопот о прописке и попыток помочь арестованным мужу и дочери. Анастасия Ивановна мне однажды сказала:

> Обо всем этом я ничего не знала, я была на Дальнем Востоке, а Марина носила передачи Сергею Яковлевичу. Через полгода ей сказали, что его имени нет в списке. Она написала ходатайство о том, что он очень больной человек. Два года она работала и думала о нем, а его уже не было в живых.

В настоящий момент еще не хватает документов, чтобы составить полный перечень адресов Цветаевой в московский период.

Некоторое время она жила у Елизаветы Яковлевны Эфрон «в каком-то чулане» и спала на сундучке, в котором потом якобы хранился ее архив, во время войны и после, до того момента, когда заботы о нем смогла взять на себя Ариадна Сергеевна. Люди, знавшие Елизавету Яковлевну, вспоминают, что у нее было удивительное лицо. Чем-то она напоминала героиню цветаевского «Письма к Амазонке». Про нее Ариадна Сергеевна сказала: «Елизавета Яковлевна, говорила мама, была солнцем нашей семьи» (М).

Известно, что Цветаева провела в Голицыне зиму 1939/40 г. и весну 1940 г. с наездами в столицу и окончательно переселилась в Москву 7 июня 1940 г. В Москве тоже были разные адреса: улица Герцена в июне, улица Горького в сентябре и, наконец, Покровский бульвар, где она прожила, вероятно, с ноября 1940 г. до самой эвакуации в начале августа 1941 г. Есть и такой рассказ:

> В 1941 г. Нина Павловна (Н. Н.) с дочерью жили в деревне Черкизово. Это по Казанской дороге, недалеко от Коломны (станция Пески), а Марина с Муром — в соседнем селе Старки (около двух с половиной часов от Москвы). По воспомина-

ниям дочери Н. Н. и ее двоюродной сестры, Марина Цветаева была знакома с поэтом Сергеем Шервинским, и она жила с ними или, по рекомендации Сергея, снимала в этой деревне комнату. Тут Марина встречалась с Ниной Павловной. Мур был красивый и несимпатичный юноша. Воспоминания эти очень точные (М).

Этот период скитаний мне Ариадна Сергеевна описывала в довольно оптимистическом свете:

После отъезда отца надо было переезжать, менять комнату. Тогда Союз писателей дал ей и сыну путевку в голицынский Дом творчества, под Москвой. Это был дом в десять комнат, и Литфонд еще снимал комнаты в округе. В Голицыне она прожила до мая 1940 г. Там она работала над переводами Важи Пшавела.

Есть книжечка начальницы, или бывшей начальницы голицынского Дома творчества, с главкой о Цветаевой. Она рассказывает, как Цветаева, стоя на крыльце, провожала уходящих на фронт и рыдала, и ломала руки. Эта женщина у меня была и клялась, что отлично это помнит. Но это вздор, так как, во-первых, совсем это не в характере Цветаевой, а во-вторых, к этому времени уже год или полтора Марины в этом доме не было, и она туда никогда уже больше не возвращалась.

Теперь многое стало известно о жизни Марины Цветаевой в Москве в последний период, но сначала я должна привести полностью версию Ариадны Сергеевны:

Затем Цветаева жила у родственников отца. Без конца хлопотали о комнате. Союз писателей хлопотал. Наконец инспектор Литфонда, милейший человек, помог. Он нашел комнату на Покровском бульваре в семье какого-то полярника, который уезжал в экспедицию и имел право сдать свою комнату на три года, с правом вернуться в свою квартиру. Надо было внести плату за три года вперед, это стоило огромных денег, все что было тогда, книги, вещи, она распродала, чтобы внести эту сумму. А их вносить-то не надо было,

так как нагрянула война. Поэтому у нее в эвакуации не было никаких денежных запасов. Из этой комнаты на Покровском бульваре она и эвакуировалась.

Относительно хронологии последних двух лет Анастасия Ивановна Цветаева, которая со своей стороны тоже пыталась ее восстановить, вспоминала мемуары Фонской о жизни Цветаевой в Голицыне:

> Там есть реальность деталей. Фонская была актрисой, она много выдумывает. Это был бывший дом Корша. Литфонд само собой, а она была там как хозяйка и разыгрывала эту роль. В рассказах ее паточный елей, все фантазия, но в деталях есть доля правды. Вот точная хронология этого периода: с 18 июня все живут вместе в Болшеве. Ночью 27 августа арест Али, в конце октября арест Сергея Яковлевича. Марину тогда не выставляют на улицу, как у вас пишут, но она боялась холода, зимы /.../ Часть жильцов была еще на даче, и какое-то время ей разрешили оставаться, а потом попросили очистить помещение, потому что Сергей Яковлевич получил эту дачу по месту работы.
>
> Потом она переехала к Елизавете Яковлевне, ютилась с Муром в прихожей, потом в Голицыне, сначала в доме, потом снимала комнату, а столовалась в Доме творчества.
>
> У Лили она жила недолго. Ее сразу из Болшева устроили в Голицыно, но месяц она жила у Елизаветы Яковлевны, а в декабре 39-го года Е. Б. Тагер уже видел ее в Голицыне.
>
> Она один срок (26 дней или 30) жила в Голицыне, 2-й этаж, 4-я комната, хотя она сама пишет Кваниной, что не жила в голицынском доме ни одного дня. Потом она жила на даче у Лисицыных, жила и на Нарофоминском проспекте, это тоже в Голицыне. Комнату на Покровском бульваре ей дали, ничего она не платила и не снимала, все это Алина фантазия. Комната эта была на 7-м этаже, кажется, квартира 60.

Есть письмо Мура к Але, которое подтверждает, что Марина Цветаева жила в Голицыне с декабря 39-го

года до лета 40-го. Анастасия Ивановна для составления своих опубликованных воспоминаний опиралась на письма Мура и на материалы С. Грибанова, которые ей предоставила Ариадна Сергеевна. Но другие специалисты опровергают некоторые ее выводы, а также опубликованный рассказ об этом времени М. Шагинян, утверждая, что воспоминания Фонской ошибочны и даже ложны: из писем Цветаевой и дневников Мура выходит, что она не жила в Голицыне в самом Доме творчества, а снимала комнату (сначала у Лисицыных) и ходила в Дом творчества получать обеды: у нее тогда была одна «курсовка» на двоих, и материальное положение было очень трудным. Этот вопрос подробно разбирался В. Швейцер в ее сообщении на Цветаевском симпозиуме (Лозанна, 1982). Однако один свидетель, вспоминая Фонскую, говорит: «Это была чудная женщина, совсем не такая, как она представлена в письмах Цветаевой и в воспоминаниях Анастасии» (Э).

Напечатанные в СССР разные воспоминания и статьи о голицынском периоде Цветаевой вызвали много критики, главным образом ввиду оптимистической тональности этих работ. То же самое следует сказать и о собранных мною рассказах Ариадны Сергеевны. Ввиду почти полного отсутствия документов — дневников, писем, записей — критика порой недостаточно обоснованна и иной раз переходит в личную полемику. Понятно, что после ареста близких положение Цветаевой еще ухудшилось и в личном, и в бытовом отношении. Говорят, например, что отношение Фонской к Цветаевой было отнюдь не «гуманным»: «Была экскурсия каких-то американцев в Голицыно, и экскурсовод говорил: „Вот здесь отдыхала Марина Цветаева“, а одна старушка сказала: „Врет он, не отдыхала она здесь, а мыла посуду вместе со мной!“» (З).

Выяснились и фактические ошибки; например, не может быть, что, как говорила Фонская, Цветаева провожала писателя Ю. Крымова на войну в 1941 г. Об этой ошибке мне говорила в свое время Ариадна Сергеевна, никого тогда не называя. Идиллическое описание жизни Цветаевой в Голицыне дано и в воспоминаниях М. Шагинян. И специалисты справедливо замечают, что в тот период не только ее не «оберегали все», а, наоборот, сторонились как чумной, называли белогвардейкой, у нее было в семье трое «репрессированных»,

а этого одного было достаточно, чтобы избегать общения с ней.

Хотя семья тогда и распалась, Марина Цветаева была не совсем одна, с ней остался четырнадцатилетний сын, Мур. Но свидетельства о Муре в те годы единогласно показывают, что сын не мог быть для нее ни помощью, ни опорой, ни настоящим собеседником, с которым могло бы установиться необходимое ей духовное общение, не только ввиду его возраста, но также из-за особенностей его характера. Многие говорят и на Западе, и в России, что у Мура было отрицательное и несколько презрительное отношение к матери и ее поэзии. Известен также рассказ о последней ссоре Цветаевой с сыном в Елабуге.

Анастасия Ивановна, объясняющая смерть сестры желанием защитить сына от соблазна самоубийства, отзывалась о нем отрицательно:

> Мур учился в 7-м и 8-м классах. Елизавета Яковлевна говорила, что он очень груб. Он нарушил 5-ю заповедь: «Чти отца и матерь твою». В отчете о его учении сказано: «душевно не развит» и «умен и холоден», а я прибавлю: у неистовой матери был неистовый сын. Марина думала, что у него все пройдет. Лицо «grand seigneur» (барина), красивое и горькое. Она поняла, что она ему мешает, он не хотел жить под ее волей. Когда у него сделалось кожистое воспаление, а она это умела лечить, он не давался. Это был такой Иоанн Креститель — волосы в кольцах, взгляд прямой и полное отсутствие духовной жизни. А Марина думала, что это от молодости /.../ Она страшно беспокоилась за сына, когда началась война. Она говорила Яковлевой, что если Мур погибнет от зажигательной бомбы, она со своего седьмого этажа на Покровском бульваре сразу бросится вниз.
>
> Мур перешел в 9-й класс, но 9-й и 10-й кончал уже в Ташкенте.

Другой современник передает слова Крымова, который говорил, что Мур был красив, умен, что в СССР он ненавидел все, даже небо. Но он был до того необычен, что Крымов ему все прощал (М).

А вот что говорят о его внешности:

Он был красив, элегантен /.../ Когда я пришел /.../ Марина Цветаева пришла с Муром. Мур был в сером костюме, красивый юноша в гольфах. Я его фото никогда не видел. Хороший подбородок... Он был не очень высокого роста, но чуть выше матери. По-русски он говорил отлично. С матерью он держался покровительственно. Он ее проводил и ушел, сказав несколько слов... (Ц).

И после прогулки:

Мы дошли до ее дома. Это было в районе Покровского бульвара. Она позвонила в дверь. Вышел Мур /.../ Он ей сказал, что она поздно возвращается. Такую фразу можно было сказать скорее сестре, чем матери (Ц).

Другой собеседник Цветаевой вспоминает:

Она стала говорить про Мура, что он ее мучает. Я спросил о муже и Але, она отмалчивалась. Она говорила: «У Мура комплекс. Он говорит: «Ваш советский строй похож на наполеоновские времена. Каждый может выдвинуться по своим способностям» (а тут мешают отец и сестра!). Чувствовалось, что она его очень любит.— «Правда, он красив?» Я сказал: «И отец красив!» Она не ответила (Н).

Другой знакомый вспоминает, что «у Мура было лицо нациста» (Р). Еще одно краткое наблюдение: «Мур был „иностранный“ мальчик, необычный. Она его безумно любила» (Ф). Другое: «Мур был очень эгоцентричный и несчастный человек» (У). А один свидетель дает более подробный анализ:

Отношения Цветаевой с Муром были трудные и сложные. Когда началась война, Цветаева была в ужасе из-за Мура — что будет с ним во время бомбардировки: «Как же мне быть, когда самый любимый человек на крыше?» А Мур был холодный и надменный, отношение матери его раздражало. Эти сложности могли быть одной из при-

> чин самоубийства. Пастернак тоже находил, что Мур сложный и неприятный /.../
>
> Несомненно, Федра и Ипполит — архетип ее отношений с Муром, и постепенно, к концу жизни она проваливалась в бездну этих отношений... Чудовищная противоестественная любовь-страсть... от этого и бесплодность, может быть... Страх перед этими чувствами. А тут еще внешние условия: 40-е годы, эвакуация, террор, ужасающее одиночество, наедине с Муром! (М).

Одному своему другу Ариадна Сергеевна рассказывала, что с Муром Марина сошлась только перед смертью, когда он вырос. Мне она про Мура в этот период говорила мало, только ссылалась на то, что сохранились дневник Мура, его письма к ней и его записи тех лет, которые якобы правильно воспроизводят всю картину. Но бумаг этих она мне не показывала. Все же некоторые из них до нас дошли, хотя относятся они к жизни Мура после смерти матери. Помимо известной статьи Грибанова, который приводит письма Мура к сестре с фронта, В. Швейцер разыскала еще два письма, написанные Муром после мобилизации — не подцензурные,— в которых он горько жалуется на окружающую его грубость, на плохое к нему отношение и умоляет своего корреспондента помочь ему выбраться из этого ужасного положения. В них нет и намека на патриотизм или на то, что после смерти матери его берегли или уважали как сына поэта, что подразумевается в статье Грибанова.

Еще одни воспоминания, более позднего времени:

> Мура я помню, но, может быть, в другой момент, а не когда он приехал в Чистополь с архивом. Это был подросток лет 17, высокий, светлый, красивый и полный, с круглым лицом, но не энергичный, а довольно флегматичный (Э).

Одиночество Марины Цветаевой в последний период жизни объясняется не только тяжелыми отношениями с сыном. Они были таковыми и до этого, не только с сыном, но и с дочерью, и с мужем, в совершенно иных, менее трагических обстоятельствах; Марина Цветаева на Западе тоже страдала от одиночества. Когда она ехала в Москву, она надеялась на встречу со

старыми друзьями, на духовное общение с Пастернаком, ее долголетним собеседником, на Эренбурга, еще в 20-х годах оказавшего ей существенную помощь.

Отношения между Цветаевой и Пастернаком Ариадна Сергеевна подробно описала в своих воспоминаниях. Кроме того, ее «Письма из ссылки» (ИМКА, 1982) выявляют ее глубокую привязанность к Пастернаку и его ответные чувства ко всей семье.

Мне Ариадна Сергеевна говорила, что большая часть цветаевских писем Пастернаку сохранилась по записям Цветаевой в черновых тетрадях. А про Пастернака еще рассказывала:

> Встречались они в Москве после возвращения мамы из Франции. Он ей помогал, как и все, доставал переводы. Все здесь ей помогали, но этого было мало, чтобы ее удержать. Она уже тогда ужасно устала. И редакторы разные ей помогали. Я думаю, если бы не война, она бы уцелела.

Так же как и во всех остальных моментах биографии Цветаевой последнего периода, Ариадна Сергеевна повторяет более поздние московские рассказы. Приведу еще один, который тоже не является прямым свидетельством, а пересказом чужих воспоминаний:

> Когда Марина Цветаева приехала, те отношения, которые у нее были с Пастернаком, давно (в 1931 г.) были кончены /.../ В 1939 г. она уже знала многое. Когда она приехала, Пастернак ее *не* встречал на вокзале. Но уже осенью, после ареста Сергея Яковлевича, он начал ее водить по знакомым и ей помогать. Когда она была у него в Переделкине, он попросил Фадеева помочь. Тот, когда его позвали, сказал: «Зачем?», а потом, через час, зашел как бы случайно. Потом она через Гослит получала переводы. Была такая Александра Петровна Рябинина — редактор Литературы народов СССР, отдела Госиздата, она была главой этого отдела. Она и давала ей работу по просьбе Пастернака и ради него.
>
> (Это все не были работники Чека, но чем-то они были значительны, имели какой-то вес. Па-

стернак тогда что-то значил, хотя выбрал добровольную опалу.)

На это она и жила. Фадеев тогда начал хлопотать о ее сборнике, он же ее и в Голицыно устраивал. Но осенью 1939 г. Цветаева сама стала больше понимать и бояться.

Я помню, была такая прогулка по Тверскому бульвару: Мур и я, Марина Цветаева с мамой. Она производила впечатление светской, хорошо воспитанной дамы. У нас был тогда какой-то свой круг знакомых, мы тоже ее знакомили с разными людьми. Ей нужно было, чтобы ее занимали, слушали. Она увлекалась Тагерами, но ей нужно было обладать. Как говорит Анастасия Ивановна — «в мире душ собственничество», и тогда отношениям приходил конец. Выдержали это все Крученых, Либединская, Кочетков. Было сильное увлечение Арсением Тарковским, любовь.

Она жила в Голицыне, там было много народу, какой-то круг людей был, но это было не то, она испытывала неудовлетворенность, ей нужно было не признание, а народная слава.

А когда у нее появилась работа, Пастернак был уже в стороне. Стало опасно, и она уже его не хотела. Она привлекала кучу людей, и Пастернак был не в их числе (У).

Тут можно напомнить о письме Фадеева относительно злополучного для Цветаевой вопроса жилья после ареста семьи. Письмо, которое написал Фадеев Цветаевой, официально и показывает размеры оказываемой ей тогда помощи. Оно написано 17 января 1940 г., и в нем есть фраза о том, что достать комнату в Москве абсолютно невозможно: «У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади. И мы годами не можем им достать ни одного метра». Далее Фадеев советует обратиться в Голицыно относительно жилья и обещает помощь Союза писателей с работой [19].

Легко себе представить, какое удручающее впечатление, вероятно, производили на Цветаеву такие «советские» реалии и выражения, как «ни одного метра жилплощади» или «при Вашей квалификации»... «по линии издательства». Был также шоком для нее отказ в просьбе о комнате, несмотря на то, что она уже в Па-

риже привыкла экономить деньги и снимать дешевые пригородные квартиры.

Вопрос жилья был, однако, действительно самым затруднительным в эти месяцы. Версия Ариадны Сергеевны значительно меняется теперь, так как стало известно из лозанского сообщения В. Швейцер, что Пастернак направил Цветаеву к Павленко, в Союз писателей, чтобы тот поддержал ее просьбу о комнате. В этом деле выявляется не только полная невозможность для Пастернака разрешить эту трудность, но и некоторое его равнодушие к судьбе Цветаевой. Письмо к Павленко и заявление Цветаевой не изданы, но известно, что Цветаева была у Павленко 31/9/40, а комнату на Покровском бульваре и прописку она получила только в октябре того же года. Еще один человек вспоминает, но без подробностей, что после Голицына, весной 1941 г., Литфонд все-таки дал ей комнату у Покровских ворот (О).

Вот как рассказывает один современник об отношениях Цветаевой с Пастернаком:

> Цветаева была недовольна и Пастернаком: его богатство, гости, стол, несколько горячих блюд, плов, шашлык, вино, тосты, все это ее поразило и от всего коробило. Она считала, что он живет не как поэт, что он «заелся». Нужно быть аскетом, а тут гостеприимство, богатство, приемы. Но Пастернак делал очень много и всем помогал (Н).

Другой рассказывает: «Я помню ее слова о свиданье с Пастернаком: „Ну и что?“— и она иронически пожала плечами» (О). Возможно, что именно Пастернак посоветовал Цветаевой пойти и, наконец, познакомиться с Ахматовой.

Известно, что, хотя они кратковременно переписывались до отъезда Цветаевой за границу в 1922 г., Цветаева фактически Ахматову никогда не видела: неудавшаяся встреча в 1916 г. и послужила поводом к созданию известного стихотворного цикла «Стихи к Ахматовой».

О встрече Цветаевой с Ахматовой многое теперь известно, поэтому я здесь буду ссылаться только на неизданные материалы.

Вернувшись на короткое время в Москву в 1947 г.,

Ариадна Сергеевна расспросила Ахматову о ее встрече с Цветаевой. А мне Ариадна Сергеевна дала свою версию отношений Ахматовой с Цветаевой с самого начала:

> Письма Цветаевой к Ахматовой относятся к 21-му году, переписывалась Марина с ней вплоть до отъезда, но встретились они только в 40-м году.
>
> Первое ее письмо 16-го года. О тоне писем можно судить по тому письму, которое приведено в сборнике 1965 г., написано оно было, когда в Москве прошел ложный слух о смерти А. Ахматовой.
>
> В дневниках есть запись: «Прочла сборник Ахматовой», но без подробностей. Затем была поездка в Петербург (описанная в «Нездешнем вечере»). Тогда произошло знакомство с Мандельштамом и увлечение Ахматовой. Цветаева живет в Александрове («История одного посвящения») и начинает писать цикл стихов к Ахматовой, но главный и глубокий интерес к Ахматовой пробуждается у нее во время революции. Затем ее интересует их общая судьба. Это уже человеческий интерес. Это отражено в стихотворении «Не отстать тебе. Я — острожник...» (июнь 1916) — две женские поэтические судьбы и обреченность в роковом начале. Но у Ахматовой не такое роковое начало, как у Цветаевой. Тогда они уже встретились, потом Цветаева себя спрашивала, почему Ахматова в своей поэзии не пошла дальше.
>
> Они писали друг другу записочки, делали маленькие подарки (Цветаева дарила ей то шаль, то иконку). Ахматова писала записочки, скорее обыкновенные, а Цветаева пишет очень эмоционально и глубоко. Сохранилось их немного (в архиве ЦГАЛИ есть записочки Ахматовой ко мне и несколько записочек от нее маме. Письма Цветаевой к ней находятся в архиве Ахматовой, а у меня в архиве черновики этих писем).
>
> Знакомство произошло в 40-м году. Когда я вернулась из лагеря в 47-м, я разыскала Анну Андреевну, она мне о встрече своей с мамой все рассказала, и я записала. Она хорошо помнит, конкретно, хотя и в ее воспоминаниях была одна ошибка. Она сдержанная, но все же суть того, что

помнит — а помнит хорошо,— рассказала. Она приехала в Москву в 40-м году и разыскала Цветаеву, и они провели вместе целый день. Вечером Ахматова должна была идти в театр. Цветаева не захотела с ней расставаться, достали второй билет, и они пошли вместе. Пошли смотреть «Стакан воды» или что-то в этом роде. (Речь идет о пьесе Лопе де Вега «Учитель танцев».— В. Л.)

Зиму 1939/40 г. Цветаева проводила в Голицыне, значит, встреча с Ахматовой произошла зимой 1940/41 г. Я разыскала сведения об этом спектакле, чтобы точно установить дату, а оказалось, что пьеса эта шла много позже. На следующий день они еще провели несколько часов вместе, потом Ахматова уехала. Встреча происходила зимой на квартире у Ардова, юмориста, у которого А. Ахматова всегда останавливалась в Москве, на Большой Полянке. Комнатушка была очень маленькая и тесная. Ахматова назначила какой-то час. Цветаева сказала, что обязательно опоздает, потому что заблудится. Она очень плохо ориентировалась, ездила только на метро или на трамвае. Доедет до какой-нибудь конечной станции, а дальше уже идет пешком сколько нужно.

Разговор был обо всем: о жизни, о работе, о творчестве. Читали друг другу стихи.

На Ахматову она произвела огромное впечатление, а Цветаева, судя по записям в своих тетрадях, была разочарована коротким поэтическим дыханием Ахматовой: «Что она писала в эти годы?» Цветаева находила, что она не углублялась в своих стихах. Сама она была убеждена, что беда углубляет творчество, она вообще считала несчастье необходимым компонентом творчества, и в этом смысле Ахматова ее разочаровала, так как ей показалось, что за все эти годы Ахматова в глубину не пошла.

Больше они, после этой двухдневной встречи, не увиделись.

Здесь следует напомнить, что в 1940—1941 гг. большие поэтические произведения Ахматовой были неизвестны или еще не написаны. Ахматова читала Цветаевой только «кусочки» из своей «Поэмы» («Поэмы

без героя»). Об этом см. «Встречи с прошлым», вып. 3, 1978, с. 397.

Согласно рассказу Н. И. Харджиева, вот как происходило дело после первой встречи Ахматовой и Цветаевой у Ардова за день до этого:

> В июне 1941 г. Анна Ахматова должна была прийти ко мне в Марьину Рощу. Она жила в крошечной комнате, «убежище поэтов». А у меня была деревянная изба. У меня уже сидели Т. Чурилин, А. Введенский, и пришла Ахматова. В этот день ей от Крученых позвонили. Анна Андреевна: «Я еду к Харджиеву»; Марина Цветаева: «Я тоже!» Накануне состоялась встреча между ними у Ардова. Крученых и Гриц приехали вместе с Цветаевой. Анна Андреевна уже тут сидела.
>
> Они тогда просидели вместе весь день. Марина Ивановна была очень нервозна. Худощавая, желчная, раздражительная, какая-то неприкаянная. У нее было смуглое, как бы обожженное лицо. Говорила она как-то очень не без манерности. В ней была поза, которая стала привычкой. Говорила резко, умно, язвительно, говорила человеку в лицо все, что думает. Мне она сказала, что я ей напоминаю какого-то киноактера.
>
> Разговор коснулся Хлебникова, которым я тогда занимался. Она очень ценила книгу Карелль фон Мандера, историка 16—17 века, о фламандских художниках, которая вышла в 40-м году. Говорят, очень интересная книга об искусстве. А об Иване Владимировиче Цветаеве она говорила, что он был совершенно лишен вкуса. Действительно, его музей очень бездарный. Она рассказывала, что все это стоило очень дорого, и все одни копии. Она говорила: «Папа был совершенно лишен чувства искусства».
>
> Разговор был на разные другие темы. Цветаева очень жаловалась на Пастернака: «Я здесь уже полтора года, а он меня не хочет видеть».
>
> Вышли мы от меня все вместе. Анна Андреевна поехала в театр Красной Армии, где играла одна ее знакомая. А Цветаева поехала с Грицем обратно к Крученых. Анна Андреевна сказала: «Я в сравнении с ней телка». Но Ахматова была не так проста, чтобы себя недооценивать. Ее оттол-

кнула манерность и язвительность Цветаевой. Она имела в виду «телку» в античном смысле. Телка — это что-то простое, без позы и манерности. А Цветаева была очень неприкаянная, видно было, что ей не по себе.

Крученых очень ей помогал. Он был чуткий, замечательный человек. Между ними была настоящая дружба, частые встречи, забота. Цветаева была обижена на Пастернака, что он ею не занимается, не хочет ее видеть. А с Ахматовой никакого контакта не вышло. Было всего две встречи: первая у Ардовых, вторая у меня.

Есть другая подробность об этой встрече с Ахматовой:

> ...С Цветаевой они встретились в первый раз у Ардова, и она не читала Цветаевой своих новых стихов — может быть, боялась слежки. Ахматова очень стеснялась, Цветаева — тоже. Боясь слежки или подслушивания, они ничего друг другу не сказали в течение всей этой длинной встречи. Ахматова считала, что за ней следят все время, и, вероятно, была права. Разговора не вышло. В октябре 1958 г. мне Ахматова об этом рассказывала. А через восемь лет Ардов написал свой рассказ об этой встрече... Ахматова мне объясняла, что ей было чуждо в Цветаевой... (М).

Один близкий друг Крученых утверждает, что на самом деле встреч Цветаевой с Ахматовой было больше, может быть, три или четыре (Л), но этот факт остается недоказанным.

Теперь мы знаем, что Крученых одно время с Цветаевой был очень близок. У него были известные тетради: записи бесед с Цветаевой, которые мне пока, кроме одной, разыскать не удалось [20].

О Крученых толкуют по-разному. В своих письмах к парижским друзьям Ариадна Сергеевна в 60-е годы писала о «чудесных» находках цветаевских текстов, уцелевших в «честных» руках. Возможно, что Крученых и был одним из таких хранителей, но о нем она отзывалась очень отрицательно: «Он был жуликом и воришкой. Он взял у Пастернака письма к нему Цветаевой и переписал. Копии эти абсолютно достоверны, но они

в архиве Пастернака, а архив очень секретный». Крученых был страстным библиофилом и коллекционером, и у него любители русской литературы 20-го века нашли много бесценных материалов.

Вот что говорит о нем один человек, хорошо его знавший:

> Хорошие отношения у Цветаевой были с Крученых. Это был очень талантливый человек и настоящий поэт, но в нем было много страшного и даже дьявольского /.../ Ходили слухи о каком-то страшном «деле Крученых», он сам не хотел об этом говорить.../.../
>
> В его жизни вообще было много страшного, многие грехи. Но мы были дружны. Он всем поставлял архивы. В Союз писателей его приняли во время войны. Музеи получили от него бездну материала. Он подружился с Мариной. После своего приезда она с ним встречалась ежедневно. У нее одно время на квартире был какой-то ремонт, и она у него спасалась, а он к ней очень хорошо относился /.../ Крученых очень ей помогал. Без него она бы совсем пропала. Нигде она не могла ассимилироваться... Он был человек замечательный. Об эвакуации он мне не рассказывал. Но он всегда мне читал все, что напишет.
>
> Крученых жил в коммунальной квартире. Это были дома художников, плюшкинская обстановка, там не было живого места, всюду книги, книги, барахло, вещи. Но там не пахло залежами и гнилью. Это был настоящий поэт, богема. Он не был женат, у него были романы. Но это был не зависимый, благородный и свободный человек.
>
> Он умер в 1968 г. Он очень боялся смерти. А потом в его хламе нашли полно денег!
>
> Он перепечатывал стихи Цветаевой и, вероятно, его тетради «Беседы Цветаевой с Крученых» наполнены перепечатками ее стихов... А вокруг нее был воздух бедствия и несчастья. Есть такие люди! (Ф)

Другой человек говорит: «Крученых имел друзей среди «весталок» (то есть служительниц «культа» личности), некоторые любители у него покупали или «до-

ставали» цветаевские рукописи, правдами и неправдами» (Р). Тот же человек вспомнил жену Волошина, у которой хранилось много ранних коктебельских фотографий и писем. О ней Ариадна Сергеевна мне сказала: «Мария Степановна, последняя жена Макса,— старенькая — подарила целый чемодан фотографий одному ленинградскому любителю, который приходил потом ко мне опознавать людей по фотографиям. Он и к Асе ходил».

Эренбург также был среди литераторов, на помощь которых рассчитывала Цветаева в Москве. Ариадна Сергеевна к нему благоволила, и я позднее поняла почему. Она рассказывала:

> Когда Цветаева приехала сюда, он был за границей. А когда она к нему обратилась, он отказал ей в помощи и потом мужественно об этом написал, чего другие не делали. Сколько у нее появилось ложных и мнимых посмертных друзей! /.../ Эренбург тогда не помогал деньгами никому, но занимал видные должности, мог похлопотать. Правда, у него у самого тогда забот был полон рот, и он от нее отвернулся. Потом он в этом мужественно сознался, ведь он первый о ней заговорил в печати!

Однако, по-видимому, сама Цветаева оценила поведение Эренбурга по-другому:

> Мне на вокзале в Ташкенте рассказывал Мур, уже после смерти матери, что когда Сергея Яковлевича арестовали, Марина пошла к Эренбургу и спросила его: «Что теперь делать?» Он ей ответил, что время тяжелое, всем трудно и т. д. Она ему бросила: «Вы — подлец!», а в дневнике записала: «Разговор не получился». Она ведь тогда боялась писать в дневнике откровенно (И).

Другие свидетели вспоминают, что после возвращения Анастасии Ивановны из ссылки в 1959 г. был устроен вечер памяти Цветаевой в Литературном музее, на котором выступали разные литераторы, в том числе Эренбург:

> В антракте к нам подошел один знакомый и сказал: «Как может Эренбург так говорить о Цветаевой, ведь он ее так обидел!» А обида была такая: Марина попросила у Эренбурга денег, он обещал ей 300 рублей, а когда она к нему пришла, он ей передал конверт через домработницу. Елизавета Яковлевна вспоминает, что Цветаева шла пешком, держа конверт в руках, и потом над этим конвертом дома плакала (С и Р).

Теплые чувства Ариадны Сергеевны к Эренбургу побудили ее рассказать мне один случай, который она предварила такой фразой: «Судьба вещей Марины Цветаевой любопытна и странна».

> У жены Эренбурга был серебряный браслет от Марины, очень простой и красивый. Он теперь у меня. Она его носила много лет, как она говорила, не потому, что его подарила ей Цветаева, а потому, что он ей нравился. И вот, стоя в очереди в военное время, она однажды почувствовала, что он упал. Он сломался пополам в самом крепком месте. Она подумала и мужу сказала, что что-то недоброе случилось с Мариной. Оказалось, что число и даже час совпали с моментом маминой смерти!

И второй случай:

> Был у Толстого последний секретарь — Валентин Федорович Булгаков. Он собрал много вещей, относящихся к русской культуре, и хотел устроить под Прагой в одном пустующем замке хранилище русской культуры. Замок не был заброшен, но владелец его не занимал и отдал дом на это предприятие. Валентин Федорович просил у разных писателей рукописи, у художников картины, собирал скульптуры и т. д. Марина Цветаева дала ему свою ручку, очень обыкновенную,— она никогда никакими вечными перьями или шариками не пользовалась. Писала только обыкновенным пером, которое макала в чернильницу. Было у нее также кольцо, серебряное, самодельное, которое какой-то матрос изготовил для своей возлюбленной. Марина подарила Валентину Федоровичу и кольцо, и ручку, вместе с разными пере-

печатками своих стихов. Во время войны замок был разорен, а Валентин Федорович сам видел, как были расхищены вещи и бумаги. Ручку и кольцо он нашел, подобрал и через много лет мне привез. А бумаги попали в Москву в Институт марксизма. Кое-что отдано в ЦГАЛИ, но это военный архив, и к нему доступа нет.

О помощи Эренбурга Саломея Николаевна мне говорила: «В 1952 г. Эренбург мне сказал: «Марина просила меня ей помочь получить комнату, а я ей не помог. У меня на душе большая тяжесть». Конечно, ей нигде не было хорошо!»

Знаменательно и то, что, кроме Эренбурга, которому Ариадна Сергеевна как будто все прощала, все воспоминания современников были, по ее словам, «запутанные» или даже «ложные». Она, например, с возмущением вспоминала, что даже у Ахматовой была фактическая ошибка по поводу вечера в театре, проведенного с Цветаевой:

> Люди думают, что хорошо помнят факты, а на самом деле все путают /.../ Вообще воспоминания современников печатать не нужно. Это материал недостоверный, который не доходит до должного уровня. У меня, например, только три или четыре текста вполне достоверных, но они совсем короткие, в частности, воспоминания одной школьной подруги Цветаевой, остальное все чушь.

К этому замечанию я прибавлю еще один рассказ, хотя достоверность самого факта проверить уже невозможно, так как прямых свидетелей больше нет. Известно, что за несколько месяцев до эвакуации Марина Цветаева жила у Габричевских. Один из жильцов этого дома рассказывал о ней замечательные вещи, например, о том, как они сидели раз вечером и тихо разговаривали. В комнате на камине сидел кот, и Марина Цветаева предугадывала каждое движение этого кота, «как колдунья»: «Вот вы думаете, этот кот сидит и ему решительно все равно, о чем мы говорим и что мы думаем. А вот сейчас он посмотрит на вас, сейчас он вправо повернет голову...» И кот, как будто по ее велению, все это проделывал. Тот же человек вспоминает, что «жить с Цветаевой было очень легко и приятно» (М).

Позже я по поводу этого рассказа наводила справки и узнала, что в доме, о котором шла речь, даже не было камина!

Вопрос о том, кто Цветаевой в Москве помогал и кто в эти трудные времена проявил к ней внимание, тесно связан с ее трагическим концом. Каждый испытывает чувство вины, подобное тому, что испытывают люди в Париже, каждый старается оправдаться. К тому же люди всеми силами пытаются, особенно в СССР, отстранить политическое объяснение своего поведения, а на Западе, наоборот, его подчеркивают.

Вероятно, не существует однозначного ответа на вопрос о помощи Цветаевой. Но необходимо собрать свидетельства всех, кто общался с Цветаевой в последние два года, а это еще не сделано. Интересно также узнать, как люди, хорошо знавшие советскую действительность, относились к появлению среди них Цветаевой и как они расценивали всю обстановку тех лет.

Мне кажется, что из всех проблем Цветаевой (не говоря об ужасе потери близких) можно выделить несколько, особенно отяжелявших ее быт.

В первую очередь Цветаевой были незнакомы разные административные «оформления», связанные с ее попытками внедриться в новую и совсем ей чуждую советскую действительность. Кроме того, в России она собиралась работать, но ей трудно было понять, в каких новых условиях эта работа будет проходить. И наконец, несмотря на всю ее осведомленность, ее понимание политической и общественной «конъюнктуры» в России 40-х годов было ограничено.

Сначала Цветаевой пришлось хлопотать, чтобы сменить свой заграничный Нансеновский паспорт на советский, это было решено довольно быстро — советский паспорт она получила через месяц после приезда (21/8/1939). Но с получением багажа из Франции задержка была очень большая, так как Цветаева послала его на имя дочери, а дочь с августа «выбыла из Москвы»: легко себе представить, сколько в условиях тех лет возникло таможенных и цензурных препятствий. О том, как долго Цветаева хлопотала по поводу получения багажа, вспоминают многие ее знакомые: «Она долго не получала своих вещей и без конца торчала на таможне, но все ей никак их не выдавали» (Н).

Как многие в те времена, да и она сама за двадцать

лет до этого, во время гражданской войны, Цветаева стала теперь заниматься распродажей своих парижских вещей. Вероятно, вещей она привезла из Парижа немного, но все тогда отмечали необычную в Москве скромную элегантность ее одежды. Багаж свой Цветаева наконец получила летом 1940 г.

Жилищный вопрос, о котором говорилось выше, окончательно разрешился только в конце лета 40-го года, когда Цветаева наконец добилась прописки и получила комнату на Покровском бульваре.

Наконец, нужна была работа, чтобы добывать средства на жизнь. От надежды жить на гонорары за стихи Цветаева давно отказалась. Хотя у нее и были вначале иллюзии, что в России она найдет своего читателя, она быстро поняла, что все знакомые и незнакомые, знаменитые и не очень знаменитые поэты зарабатывали переводами. Цветаева тоже начала переводить. Эта работа была ей уже знакома, и в Москве многие помогали ей доставать переводы. По нынешним подсчетам, Цветаева получала очень маленькую плату — 3—4 рубля за строчку, «то есть ей платили чуть выше самых низких расценок» (В. Швейцер). Напомним, что цветаевские переводы, сделанные в тот период, были полностью опубликованы только почти 30 лет спустя, в сборничке «Просто сердце» (Москва, 1967), очень маленьким тиражом.

Следующий рассказ Ариадны Сергеевны относится к материальному положению Марины Цветаевой в целом:

> Конечно, в среду больших литераторов 40-х годов, Федина, Гладкова и т. д., она не входила, но были прежние поэты, молодежь, редакторы... Изоляции количественной и качественной не было, как в эмиграции. Несмотря на все трудности этих лет и войну, люди были по традиции гуманными и широкими. Отрезанности не было никакой.

Я спросила о встречах с Антокольским.

> Да, она встречалась с Павликом Антокольским, но и с другими. Павлик на нее произвел тяжелое впечатление. Он был как-то хорошо устроен.

По поводу прижизненных публикаций:

> Напечатано при ее жизни одно подлинное стихотворение — старое, и печаталось много переводов, которыми она жила. Переводы с разных языков народов СССР. Она начала переводить Мицкевича, но черновиков сохранилось мало. Она считала, что это не настоящая работа. Она печаталась в «Интернациональной литературе» и еще где-то...

Наконец, общая оценка положения:

> Я считаю, что, несмотря на все трудности тех лет, ее поэтические дела были не так плохи. Елизавета, тетка, говорит, что она очень хорошо зарабатывала. Деньги, в общем, были. Знакомые ей доставали переводы, заказы от издательств. Так, например, она перевела поэта Важу Пшавела, ее перевод вышел в книге его поэм только в 1947 г., из-за войны. Плохо было с жильем, не с деньгами. Трудности были, конечно, с получением гонораров, а к началу войны с деньгами стало плохо из-за трехлетней платы, которую пришлось внести вперед за комнату.

В свете последних публикаций эту позицию Ариадны Сергеевны теперь справедливо оспаривают. Объясняется ее позиция, видимо, решительным намерением убедить меня в том, что жизнь Цветаевой в России была значительно легче, чем в эмиграции.

Один свидетель интересно анализирует непонимание Цветаевой литературной обстановки того времени:

> Она себе составила какую-то свою картину политического и литературного мира: там, в эмиграции, она была левым крылом русской поэзии. Там не было признания. Здесь же Маяковский — первый поэт. Асеев получил Сталинскую премию. Пастернак уязвим, но богат и признан. Хлебников издан. Таким образом, Маяковский — вершина, всенародное признание. И Ассев признан. И она все путала. Она думала, что это литературное признание равняется какой-то политической силе. Поэтому она жаловалась на Асеева и других, что они не помогали. А я не понимал, чего она ждет.

> Она ринулась к Асееву как к брату «по цеху», по жизни в поэзии и так далее. А он ее встретил холодно и не оправдал ее ожиданий... А еще у каждого была сильная жена и... сильная советская власть.
>
> Бунин? Бунин не любил ее стихов, но все же помог. Люди в силе, думала она, могли помочь. Она не понимала политическую силу и думала, что литературная сила равняется политической. А то, что Асеев получил Сталинскую премию, не давало ему никакой силы, ни политической, ни общественной.
>
> Тогда, слушая Цветаеву, я видел, что Асеев — трус и ничтожество, но он ничего не мог, он же был дворовый человек, раб, он ничего не мог сделать (Н).

Другой свидетель рассказывает, что не следует считать, будто в последние годы на родине Цветаева писала только переводы (М). Он, видимо, что-то об этом знал. Теперь известны некоторые оригинальные стихотворения Цветаевой 40-х годов («Нева», 1982). Тот же человек точно знает, что Пастернак помогал Цветаевой, так как «сам видел, как однажды Пастернак провожал Цветаеву в комнату Литинститута /.../» (М).

Еще один свидетель подробно рассказывает о роли Пастернака:

> Все время Пастернак ей помогал, добывал переводы. Например, он сам перевел Важу Пшавела, но дал ей переводить, не имея под рукой другой работы. Она волновалась тогда, можно ли переводить другим размером, навязывать дактиль...
>
> Однажды я спросил ее знакомую, не надо ли Цветаевой помочь. Знакомая сказала, что Пастернак дал ей две тысячи рублей. Это было много денег, хотя тогда они ничего не стоили... То, что Пастернак пригласил ее на обед с грузинскими тузами, тоже был дипломатический ход, чтобы помочь получать работу... (Н)

Цветаевой было трудно понять, что грозило друзьям и знакомым за поддержку отношений с челове-

ком, приехавшим в 30-х годах из Парижа в Советскую Россию, да еще с человеком, у которого часть семьи арестована. На горьком опыте она постепенно осознавала, что в России царит всеобщее взаимное недоверие. Как вспоминает один современник:

> В письмах из Голицына она жалуется на то, что им отказались давать один из двух обедов, но ведь надо понимать обстановку тех лет. Мы были тогда как прокаженные, от нас люди шарахались. И в ее дневниках уже появилась тогдашняя зашифрованность: «Он заболел. Нужны теплые вещи». Это значило, что посади-ли (И).

Другой говорит: «Разговоры о себе были... о бытовых трудностях. Она подружилась сначала со мной, потом и с моей женой... Конечно, она не ожидала такой обстановки... таких арестов. Но она сразу все стала понимать» (С).

Цветаева не могла понять, что есть люди, которые отказываются ее принимать из страха, что для некоторых она «зачумленная». Мешал приспособиться и присущий ей максимализм.

Один человек, познакомившийся с ней в Москве в этот период, рассказывает об интересной прогулке и беседе с Цветаевой:

> Было это осенью 40-го года /.../ Сначала мы встретились у ее давних знакомых, к которым она пришла посидеть и почитать стихи. Она читала свою «Попытку комнаты» и объяснила, что поэма эта обращена к Рильке — он однажды написал, какой будет его комната (с ней), и эта поэма — ее ответ. Поэма мне не понравилась, я смолчал. Цветаева была грустно настроена /.../ Потом я провожал ее домой, это было недалеко, от Красных ворот (Лермонтовская) куда-то по Мясницкой, до бульвара и до Покровских ворот /.../ Мы с ней шли вдвоем, шутили, разговаривали. Я был гораздо моложе ее /.../ Мне кажется, я ее развеселил тогда, она смеялась и сказала: «Давайте как-нибудь погуляем по Москве. Я покажу вам свое Замоскворечье». И мы договорились. Она сама предложила встретиться в Охотном ряду, в девять утра. И ровно в девять в назначенный

день она пришла /.../ И началась прогулка. Мы пошли в музей Пушкина, она говорила, что это ее музей.

До музея была легкая болтовня, это недалеко, мы шли быстро. У нее был мужской и быстрый шаг. Я взял было ее под руку, но она высвободилась и, наоборот, сама взяла меня под руку. Она рассказывала, как все было в музее отца, водила меня по залам. Мы так гуляли до часу дня. В Египетском зале, я помню, у нас зашел спор по поводу Озириса и Изиды, в котором она была права.

Потом она сказала: «Я хочу есть». Я тогда хорошо зарабатывал и предложил ей пойти в «Националь». Но она сказала: «Вот же столовка!» Это было около Метростроевской. Там было ужасно! Я не хотел туда идти, но она настояла. Там было грязно, были рабочие со стройки — тогда строили метро... Но щи, котлеты — все это она съела с удовольствием. Я ее жадно расспрашивал о жизни писателей во Франции. Все, что она рассказывала, мне не нравилось: сложные отношения с Зуровым, Бунина она не любила, ненависть к Адамовичу, большая любовь к Бальмонту, который, по ее словам, опустился /.../ Затем у Якиманки у нас был разговор о Бальмонте, потом вдруг: «А вы догадываетесь, что мне нужен сортир?» — «Мне тоже», — ответил я. Я вспомнил, что неподалеку есть райисполком, где могла быть приличная уборная. Она читала вывески на этом доме, где было много всяких учреждений, ничего в них не понимала, мы долго искали. Она сказала: «Ну, конечно! Куда же нам пойти, как не в райисполком?!»

Гуляли мы по всяким переулкам /.../ Это была длинная прогулка, с утра до ночи; мы спорили, то соглашаясь и сближаясь, то наоборот. Я старался ей объяснить нашу жизнь, но я тоже был с ней осторожен: я относился к ней, как она этого заслуживала, но не говоря лишнего. Она очень ругала Асеева, я же любил его стихи... Я думаю, что за нами не следили.

Гуляя по Замоскворечью, она показывала мне храмы, ее возмущали склады в них. Я повел ее Старомонетческим переулком, недалеко от Ор-

дынки. Там было красиво, старые дома конца века. Я все хотел ее угостить и, наконец, уговорил ее пойти в Националь, где кафе в полупустом уютном зале. Там оказался один мой знакомый литератор, который обедал в компании с известным писателем Х. Мы заказали закуски. Она сказала: «Ну вот, начинается как у Пастернака...» Когда она вышла в уборную, ко мне подошел Х. и спросил: «Что это за дама с вами? Я сразу понял, по портретам. Можно нам с вашим приятелем подсесть к вам?» Когда Цветаева вернулась, я спросил ее, можно ли, она ответила: «Конечно!» Мой знакомый подсел с рюмкой, Х.—тоже. Он был ее почитатель, хотя и партийно-комсомольский писатель. Х., немного растерявшись от Цветаевой, стал острить и над моим знакомым подшучивать. Моему знакомому это, видимо, надоело и он сказал: «А вы, как всем известно, стукач!» Тогда Х. взял свою рюмочку и тихо отошел, без единого слова. Значит, он испугался. Мой знакомый немного посидел и тоже ушел.

Мы посидели час, полтора, об этом инциденте она ничего не сказала. Потом мы пошли домой пешком. Тогда она спросила, что я думаю о случившемся в «Национале». Я ответил: «Это самое страшное обвинение в нашей стране!» Она: «А такой писатель может быть стукачом?» Я: «Да, может!» Она: «А мы-то им восторгались, там, во Франции!» Но я считал этого писателя второсортным — второсортность толкает на такое. К тому же он был пьющим и завсегдатаем этого места /.../

Через две недели я уезжал /.../ Она мне звонила, чтобы опять встретиться, но не вышло. А когда я вернулся, через полгода, я был мобилизован, кроме того, она уже жила в Голицыне, а это было далеко (Н).

Другой человек, вспоминая литературную жизнь тех лет и свое общение с Цветаевой, приводит несколько ценных ее замечаний о литературном труде:

Я ее спросил: «Вы сейчас не пишете стихов?» — «Я не позволяю себе писать. Если бы я стала писать, камни с мостовой затрещали бы! Одно свое

стихотворение она мне все-таки дала. (Речь идет об одном из стихотворений, напечатанных позже в «Неве», № 4, 1982.— В. Л.)

/.../ Как-то у нас был разговор о переводах. Мне запомнилась одна ее формула. Я спросил: «Вы стоите за вольный перевод?» Она: «Ах, значит, существует невольный? Тогда, конечно, я за вольный!» /.../ Однажды мы говорили о Федре. Я ее спрашивал об отношении ее Федры к античной Федре и к Расину. Она мне ответила: «Был у меня немецкий мифологический словарь, и этого было вполне достаточно» (О).

Несмотря на свою изоляцию и множество трудностей, с которыми Цветаева сражалась, она все же «проявила полную добрую волю» и составила сборник своих стихотворений. Об этой работе Ариадна Сергеевна мне подробно рассказывала:

Сначала она хотела включить в этот сборник заграничные стихи, неизвестные советскому читателю, но мешал объем книги и всякие редакционные, а также цензурные соображения. При всех ужасных обстоятельствах в издательстве, этот сборник пробили.

Вначале считалось, что лучше всего пройдут ранние стихи, лирические, о любви и прочем. Она была согласна.

Затем она решила отчитаться обо всем своем творческом пути, так что ранних стихов вошло совсем немного, и самые характерные. Видимо, она прежде всего хотела представить то, что она делала после отъезда из России, и поэтому в сборнике больше произведений, которых в России не знали.

Когда она представила рукопись сборника, Корнелий Зелинский его зарезал (не захотел его пускать). Книга должна была выйти в Гослитиздате, теперь это издательство «Художественная литература».

Тогда она попросила разрешения почитать стихи перед студентами Литинститута (на ул. Горького). В частной квартире собрали студентов, она читала стихи и спрашивала, понятно ли, и они все понимали. Действительно, когда она читала,

все было понятно. У нее было интонационное чтение. Тогда Зелинский на все согласился, и книга была сдана в набор в том виде, в котором Цветаева ее задумала. Ее публикации помешала война /.../

Одна ее знакомая передает ее слова по поводу этого сборника: «В выборе стихов я прежде всего ответственна перед читателем» /.../

Я расспрашивала Ариадну Сергеевну о выборе стихов и вообще о содержании сборника, и она позднее прислала мне его оглавление и объяснила:

> Списков несколько, с разными вариантами, но большинство стихотворений этого сборника опубликованы, надо просто их разыскать. Создавались из разных стихов новые циклы. Например, «Леонардо» — цикл совсем новый. «Бессонница»? Не знаю, что она хотела включить — 11 стихотворений или одно, скорее одно. «Земные приметы» — так она хотела назвать книгу стихов. Вообще же это ее дневники.

Я привела рассказ Ариадны Сергеевны, относящийся к истории сборника стихотворений 1940 г. («Сборник 40»), целиком, потому что не считаю себя вправе проводить какую-либо свою цензуру в ее рассказах о матери. Но люди, знавшие тогдашнюю литературную и политическую обстановку, мне говорили, что эта версия всего дела абсолютно неправдоподобна. Нужно ли еще раз подчеркивать, какие причины руководили Ариадной Сергеевной в 1971 г., когда она мне все это рассказывала?

Вот что вспоминают друзья Цветаевой:

> Время было страшное /.../ Например, моя жена, когда училась в школе и в университете, была хорошо знакома с Елизаветой Яковлевной Эфрон. Но она не знала, что Елизавета Яковлевна — сестра мужа Цветаевой /.../
>
> Вначале, когда Цветаева приехала, ей давали переводы, а потом — все меньше и меньше. Она работала упорно, над каждой строкой. А потом случилась история с ее сборником и внутренней рецензией Зелинского /.../ Тогда жена устроила собрание студентов (на нем были Слуцкий, На-

ровчатов и другие. Об этом Слуцкий сам вспомнил на первом вечере памяти Цветаевой под председательством Эренбурга). Мы сочинили письмо протеста, но это не помогло /.../ А потом один солдат нашел в эвакуированном отделении Гослитиздата один экземпляр этого сборника в машинописи — он был выброшен за ненужностью и на нем были пометки Зелинского /.../ Марина Цветаева мне также рассказывала, что кто-то вместе с Пастернаком обратился к Асееву, чтобы походатайствовать о ней. Асеев тогда сказал: «Мне ходатайствовать за Марину Цветаеву перед Союзом писателей? Это Цветаева может за меня походатайствовать!» Она потом сама об этом с усмешкой рассказывала. Самый факт, что ей стали давать для переводов третьесортных поэтов... в этом вся суть /.../ И она не могла понять, почему, если Асеев ее так высоко ценит, забраковали ее сборник. Так же она не могла понять, что ей дали дачу НКВД в Болшеве, а потом арестовали дочь и мужа! (О)

Другой свидетель вспоминает о статье Зелинского, что она огромная и содержит много оскорбительных слов в адрес Цветаевой. Ей показали только конец статьи...

...Там были такие слова: «Эти стихи можно издать, но наши поэты ушли так далеко вперед, что ее издать — это показать поэзию вчерашнего дня. Не мировоззренческие шатания, а именно устарелость». Цветаеву эти выводы очень огорчили. Это было самое оскорбительное, и она из-за рецензии Зелинского очень переживала /.../ Я объяснил ей, что Зелинский — стукач. Мы много спорили о поэтах. Я по поводу Зелинского говорил, что с ним были еще страшнее вещи. Но эта статья ее очень расстроила. Она тогда обнаружила полное непонимание структуры нашей советской жизни (Н).

Еще одно замечание: «Корнелий Зелинский написал на сборник 40-го года зарезающую рецензию. А она была такая романтическая, рыцарская душа!» (У)

Из рассказов о поэтических делах Цветаевой становится ясно, что выражение Ариадны Сергеевны «они

были не так плохи» является в высшей мере оптимистической оценкой действительности, и невозможно с ней согласиться, что «публикации сборника помешала война». Вот еще отзыв одного человека, чуть моложе Ариадны Сергеевны, но хорошо знавшего все обстоятельства:

> Главная поправка к тому, что вам рассказывала Ариадна Сергеевна, относится к образу Цветаевой и ее жизни после возвращения в СССР. Ариадне Сергеевне было важно добиться признания матери на родине и издания ее работ. Ради этой цели она шла на компромиссы, истина ее не стесняла.
>
> Поэтому картина, представляющая, что Цветаевой было очень плохо в эмиграции и очень хорошо на родине, совершенно не соответствует действительности. Ей и там, и там было плохо.
>
> В Москве она была очень несчастна. Обеспеченность и благополучие Цветаевой на родине — все это, конечно, вздор, выдуманный ради создания памятника Цветаевой (М).

Известно, что при жизни Цветаевой было напечатано только одно ее стихотворение, старое и с цензурными сокращениями. Даже этой публикации теперь можно удивляться, в свете всего того, что стало известно о политической обстановке в СССР перед второй мировой войной.

В Москве многие удивлялись поведению Цветаевой и ее непониманию того мира, в который она попала. Она была не только «опасная» ввиду своего семейного положения, но и вообще в тогдашнем русском литературном мире, отрезанном от всего света, казалась существом с другой планеты. Люди один за другим рассказывают, какой она была необычной, даже внешне. Вместе с тем, хотя бы по последней дошедшей до нас фотографии, снятой в день прогулки с Либединской, можно судить, насколько она тогда постарела и как плохо выглядела.

В своей книге «Зеленая лампа» Л. Либединская описывает прогулку с Цветаевой в 1941 г. К этому рассказу Ариадна Сергеевна относилась очень критически:

> Воспоминания Либединской все неправильны.
>
> Там все выдумано. Конкретно была только эта

> прогулка за город. Они ездили вместе с Крученых на дачу в Кусково. Это действительно было, но не Лидия провожала Цветаеву в Елабугу. Дата прогулки верная. Кроме того, есть запись у Мура в дневнике, где он о Либединской пишет по-французски «une grosse fille insignifiante» (толстая бессодержательная девка).

Однако другие отзывы о воспоминаниях Л. Либединской я слышала очень хорошие.

Есть еще рассказ очевидца о том, что он видел Цветаеву, стоящую в очереди в Гослитиздате, «серую и неряшливую», но что весь облик ее преобразился при виде любимого человека. (См. также Приложение 3.)

Другой знакомый, много общавшийся с Цветаевой, рассказывает:

> Она выглядела нехорошо: землистый цвет лица, лицо нервное /.../ У нее была иностранная одежда, фасон другой, она была небогато, но особенно одета /.../ Поведение ее было странным, она говорила быстро и резко — нервно /.../ Короткая стрижка, чуть седая, волосы с проседью, быстрый поворот головы, хороший рост, выше среднего, на низких каблуках, обувь заграничная. Советские так не одевались /.../ Ругая поэтов, Бунин где-то говорит: «Кому читать стихи? Цветаевой с оловянными глазами?» Это неправда. У нее были живые глаза, только цвета оловянного. Она косо смотрела, это психологическая черта... (Н)

Еще портрет:

> Я познакомился с Цветаевой в Голицыне. У нее были удивительно тонкие, как резцом вырезанные черты лица, на последних фотографиях она совсем на себя не похожа. Это не была хрупкость — нет, она совсем не была хрупкой, хотя изящества в ней было много, наоборот — строгость, четкость облика и движений. У нее была простая одежда, никаких парижских туалетов, обыкновенный свитер, длинная суконная юбка и, конечно, пояс /.../ Еще я помню ее замечательный русский язык, быстрый ум, афористичность, парадоксы вместе со строгой логикой, великолепная русская речь! (О)

Вспоминают о ее манере читать стихи: «Она читала немного рационально, в ее чтении была одновременно и серафичность, и рационалистичность /.../ Она нам читала «Молодца» (М). В другом рассказе: «Цветаева пришла к подруге, она хотела со мной встретиться, так как якобы читала мои стихи в Париже до отъезда /.../ Я пришел /.../ К этой подруге еще пришли гости. Цветаева говорила чудным языком, но быстрее, чем у нас говорят» (Н).

Цветаева тогда возобновила знакомство с одной подругой детства, рассказ которой Ариадна Сергеевна потом записала и мне пересказала. Говорит подруга:

> Мы встретились с ней в конце 30-х годов, когда она вернулась. Она пришла ко мне, а встретились мы на Белорусском вокзале. Она мне тогда показалась утомленной и встревоженной, нерадостной. Она была седая. Она пришла с сыном, и бросалась в глаза ее любовь к сыну. Она тогда говорила: «Я могу только писать стихи, ничего другого я делать не умею».
>
> Мур был любознательный юноша, ему было 14 лет. Марина вообще очень любила молодежь.

Другая давняя знакомая в написанных, но неизданных воспоминаниях о Цветаевой рассказывает о частых встречах, о необычном поведении Цветаевой и приводит некоторые удивительные ее реплики: «В мире физическом я очень нетребовательна, но в мире духовном — нетерпима!» Об инее на окне: «Смотрите, какой здесь вырос лес!» О том, как она варит курицу: «У соседки это целая церемония, а я очищу ее и брошу в кипяток: варись!» О польском поэте, которого Марина Цветаева тогда переводила: «Он пишет, что в лесу камни. Я очень много гуляла по лесу с Муром, камней в лесу не видела». Есть одна записанная фраза из частного письма: «Меня все хвалят, но *ничто* не льстит моему самолюбию и *все* — моему сердцу (ибо последнее у меня есть, а первого — нет)». (Записи сделаны О.)

На одном экземпляре сборника 40-го года, забракованного Зелинским, на обороте, обладатель этого экземпляра записал слова Цветаевой:

«Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм, просто бессовестный.

Я это говорю из будущего.

М. Ц.»

Анастасия Ивановна мне рассказала, что в 40-м или 41-м году Цветаева поехала в Тарусу: «Она ночевала у Паустовского, были планы на следующий день, но наутро, когда он встал, она неожиданно уехала. Следов этой поездки нету нигде».

О степени одиночества Цветаевой в это время ясное представление дают публикации воспоминаний Т. Кваниной и письма к ней. Другие вспоминают, что Цветаева, даже в это ужасное время, не потеряла способность увлекаться людьми, потребность любить. Многие свидетельства и следы ее увлечений последнего времени пропали, стихи пока неизвестны, письма утеряны. Следующий рассказ не является прямым свидетельством:

> Вероятно, многие из тех, кому она писала письма, просто их уничтожали, боялись, трудное было время... Но в последний период жизни здесь у Цветаевой было много увлечений и романов. О четырех лицах известно. Увлечение поэтом Тарковским, сложные отношения с Тагерами, и мужем, и женой, давнее увлечение Пастернаком, во всяком случае есть точные сведения о том, что у нее конкретно были две связи. Все это создавало атмосферу бурных эмоций... Меня очень волнует загадка самоубийства Цветаевой. Анастасия обвиняет в смерти Цветаевой Мура. Я тоже, но по другим причинам. У Цветаевой к сыну была невозможная страсть. Она зашла в такой страшный тупик, что уже выхода не было (М).

А в «Неизданных письмах» напечатан черновик письма Цветаевой: «Милый тов. Т., Ваша книга прелестна» (с. 632). Это и есть Арсений Тарковский — поэт, который упоминается выше. Об этом увлечении рассказывает Н. Г. Яковлева в своих неизданных воспоминаниях:

> Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился тот день. Я зачем-то вышла из

комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла — так было у Дункан с Есениным.

Встретились, взметнулись, метнулись...

Поэт к поэту.

В народе говорят: «Любовь с первого взгляда».

(Главка «Попытка любви»)

Других подробностей у меня почти нет, кроме рассказов о том, как Марина Цветаева обиделась на Арсения Тарковского за то, что он не подошел поздороваться с ней на каком-то вечере, где он был с женой (С).

Прибавлю еще сведения Н. Г. Яковлевой о помощи, оказанной Цветаевой: Нина Герасимовна Яковлева включила ее в работу творческой комиссии Группкома, благодаря которой Цветаева получала переводы. Есть и такой рассказ:

В воспоминаниях Анастасии сказано, что хозяин дома в Елабуге, Бродельщиков, молчал. Был сдержанный разговор с хозяйкой дома, а он смотрел вдаль. Чем-то он очень напоминал Арсения Тарковского. А ведь Тарковский — это был последний роман Цветаевой здесь. Во время рассказа жены Бродельщиков стоял у окна, смотрел вдаль и улыбался /.../ Люди, у которых жила Цветаева в Елабуге,— Бродельщиковы, а не Бредельщиковы, как у вас пишут на Западе (С).

Все это свидетельствует о «парадоксах» в положении Цветаевой в России в последние два года. С одной стороны, отчужденность от официальной литературной среды, неумение войти в советскую действительность и ее понять, вместе с жаждой любви и чувством глубокого одиночества, с другой — некая форма признания, блистательность, свой круг людей, среди которых она продолжает царить, и увлечения, даже романы.

Тем не менее никто из рассказчиков не помнил Цветаеву счастливой, веселой или просто успокоенной.

Глава 10. ВОЙНА И ЭВАКУАЦИЯ . КОНЕЦ. (22 июня — 31 августа 1941)

Война. Эвакуация. Чистополь. Смерть М. Ц. Рассказы о смерти М. Ц. Предсмертные записки. Перед концом. Судьба Мура после смерти матери. Архив М. Ц. у Мура. Маршрут Мура из Елабуги в Ташкент. Смерть Мура. Религиозность М. Ц.

Когда началась война, тоска от одиночества и боль за арестованных усугубилась тревогой за Мура:

> Тогда школьников привлекали к обороне и защите домов от пожаров. Мур тоже был на крыше, сбрасывая горящие снаряды. И я тогда сидел на чердаках. А Марина страшно испугалась за Мура. Тогда она и решила бежать из Москвы (У).

Другой человек вспоминает: «Когда началась война, она страшно растерялась /.../ Возмутительно то, что ее отправили не в Чистополь и что в Чистополе ей отказали в работе, когда она туда приехала» (О).

Ариадна Сергеевна тоже мне рассказала об эвакуации матери и брата из Москвы:

> Уезжала Цветаева в эвакуацию не поездом, как сказано у Либединской, а водным путем. Ее провожали Пастернак, милый поэт Боков и кто-то третий. Воспоминания об этом сохранились в дневнике шестнадцатилетнего Мура. Отправлялись с Северного вокзала (Речной вокзал в Химках). Была подана баржа (или пароход) с катером, туда сажали литераторов с семьями и вещами, группу, отправленную Литфондом. Приехали и грузились с большим трудом. Цветаева сидела и ждала посадки, чтобы избежать толчеи пассажиров, торопящихся занять лучшие места. Кроме Муриного дневника есть об этом запись в маминых тетрадях переводов, над которыми она тогда работала.
>
> Поездка длилась очень долго. Ехали по Моск-

ве-реке, по каналу Москва—Волга, по Каме до Чистополя — 10 дней. Потом была остановка, их распределяли, часть оставалась в Чистополе, а Цветаева поехала дальше, в Елабугу.

В дневнике брата сказано, что они действительно поссорились по-французски накануне смерти мамы (хозяйка дома говорила, что по-еврейски!). Брат убеждал маму, что в Елабуге оставаться нельзя, что надо вернуться в Чистополь, где были все литераторы, что там мать могла бы работать, он — учиться, что только там они смогут устроиться, что никак нельзя отрываться от писательской среды. Там были все литфондовцы, а в Елабуге — всего пять-шесть семейств эвакуированных. Когда я их разыскала, в живых никого не было, осталось только два человека: один вовсе не был на похоронах, другой был подростком и в том, что помнит, все напутал. А она говорила, что устала. Она тогда совсем сдала. Люди все были в военной эвакуационной панике.

Еще в Москве она была в большой нерешимости, ехать или нет. То она хотела, то она не хотела. Тетки решили оставаться и с ними одна приятельница. Эта приятельница уговаривала ее не ехать в неизвестность, и как будто даже уговорила. Договорились о новой встрече на третий день, а через два дня она уехала с литфондовской группой.

К началу войны они (Мур и мама) еще жили у кого-то на даче под Москвой, но вернулись из-за тревоги с пропиской в Москве и с войной, и т. д.

К этому рассказу можно прибавить кое-какие подробности:

Тогда отправляли жен и детей писателей в эвакуацию по Каме. Она опять спросила Пастернака, как быть. Пастернак и Боков ее провожали в эвакуацию и пришли на пристань. Когда они спросили, есть ли у нее с собой еда, она сказала: «Буфета разве на пароходе не будет?», и они побежали покупать ей какую-нибудь еду. Так она поехала в Елабугу. А дальше уже все известно по воспоминаниям других /.../ Пастернак считал, что если бы

они с Фединым и Леоновым поехали раньше, то они Цветаеву могли бы спасти (У).

Есть еще написанные, но неизданные воспоминания, относящиеся к Пастернаку, в которых приводится его рассказ о Цветаевой:

> Марина Ивановна приехала в Россию в 1939 г. Дочь ее и муж вернулись раньше. Когда она приехала, то узнала, что они арестованы. Ее не печатали, конечно, и жить она могла только переводами. Она не понимала, как можно переводить с языков, которых не знаешь. Жаловалась мне, что делает только 20 строк в день, да потом еще их четыре дня переделывает. Я ей говорил, что для того, чтобы имело смысл этим заниматься, надо делать 100 строк в день, я в это время мог делать по 150.
>
> Она жалела, что приехала, обвиняла в этом дочь. Дура! Говорили же ей. А теперь оказалось виновато глупое дитя, которое ничего не знало о России и романтически мечтало о родине.
>
> Когда началась война, писательские семьи эвакуировали в Чистополь на Каме. Марину с сыном Муром — ему было 14 лет — отправили не в Чистополь, а в Елабугу. Это была медвежья дыра, и Марина с Муром остались без средств к существованию (Ы). (Из Неизданных воспоминаний о Пастернаке)

Есть люди, которые были в то время детьми, но они запомнили ужасы эвакуации на всю жизнь, и их воспоминания достаточно четки:

> Конечно, она колебалась перед эвакуацией. Там были сестры Сергея Яковлевича, был замечательный Н. Н. — журналист, который ей помогал и ее поддерживал. А тут опять подниматься с места, ехать на неизвестное.../.../
>
> Но в начале войны стало легче, многое изменилось к лучшему в атмосфере страны, потому что появился настоящий враг, а не призрак. Террор тогда стал менее страшным. Нравственный климат стал чище, однако в Москве паника эва-

> куации была страшная /.../ А в эвакуации все голодали (И).

Другой человек уточняет путь, проделанный из Москвы в Елабугу:

> То, что вам рассказывала Ариадна Сергеевна об эвакуации матери, воспроизводит обычную (и, может быть, даже туристическую) схему поездки по Волге на юг.
>
> Обычный прогулочный маршрут: на большом пароходе, волжском, без пересадок. Вокзал — Химки, сначала по каналу на север до Твери, а затем по Волге на юг, без пересадки. Это маршрут мирного времени. Маршрут военного времени Ариадна Сергеевна могла не знать, к тому же положение все время менялось. А Ариадна Сергеевна *не* свидетель. Надо было бы найти подлинных свидетелей, ведь были же люди, которые ехали вместе с Цветаевой на одном пароходе, они и могут этот маршрут воспроизвести /.../ Я знаю, что мы эвакуировались вместе с Академией наук, и хорошо помню этот путь. Мне было тогда 10 лет. Посадка была не в Химках, а в южном порту, станция Нижние Котлы. Мы ехали через месяц после Марины, и наш пароход (маленький) был весь замаскирован ветвями, так как боялись бомбежки. Тогда канал Волга — Ока был уже закрыт, так как по нему шли большие суда, и его бомбили, или он находился под обстрелом... Поэтому мы ехали на маленьком пароходе, по Москве-реке до Коломны, где Москва-река впадает в Оку. Это длилось около полутора-двух суток. Там, вероятно, и была пересадка на большой пароход /.../ В Горьком сажали на другой пароход (большой) и только оттуда вниз до Казани. Из Казани, вероятно, еще є пересадкой, можно было проехать по Каме до Чистополя и дальше, в Елабугу (М).

А относительно условий поездки и, в частности, вопроса о буфете, этот же человек говорит:

> Мои родители тоже не особенно реалистично относились к поездке. Только няня догадалась принести на пристань хлеба.
>
> Мне сказали тогда, что в Казани уже голод,

поэтому, когда я там увидел людей с помидорами и хлебом, я очень удивился: значит, здесь еще не голодают! (М)

Как известно, Марина Цветаева приехала в Елабугу 21 августа 1941 г. и затем на два дня поехала в Чистополь. Вот воспоминания другого знакомого семьи:

Елабуга — это был конец, то место, где кончается география. Она себя почувствовала абсолютно оставленной. Она, как и Ахматова, не могла жить без некоторого окружения, восхищения, преклонения перед ней. А тут она почувствовала, что ее бросили. Она не от нищеты или голода покончила с собой: были запасы еды, немного денег, но было много причин, страшная обстановка, тьма на душе... /.../ И в Чистополе она никакой поддержки не нашла (И).

Теперь известно, что в августе 1941 г. Пастернака в Чистополе еще не было, он приехал туда позднее. Многие говорят, что в Чистополе фактически было место для Цветаевой, все было решено в положительную сторону и с пропиской, и с жильем, формальные трудности были устранены, и она могла бы выбраться из Елабуги.

Есть люди, которые вспоминают с содроганием:

В то время в Чистополе не было решительно никакой возможности найти комнату. Никто не соглашался брать к себе эвакуированных (И).

В Чистополе я с Цветаевой не встречалась, я приехала только в сентябре, а потом уехала в Ташкент. В ноябре немцы уже были в 100 километрах от Москвы и тогда эвакуировали всех остававшихся в Москве писателей. Москва и даже Казань были под угрозой. Тогда писателей посылали на юг или прямо в Ташкент, а остальные оставались в Чистополе. Сначала приехали жены с детьми, а потом только остальные. Я в Чистополе была в писательской среде, жила одна с маленькими детьми. Была еще и Маргарита Алигер с грудным ребенком. Пастернак и другие приехали позднее /.../ Я знаю, что в Чистополе Цветаева

> была очень одинока не потому, что ее сторонились, а потому, что она сама ни с кем не хотела встречаться. А в Чистополе народу была тьма, все было битком набито, не было никакой возможности найти жилье. Я это знаю потому, что об этом все говорили. Цветаева не осталась в Чистополе, а поехала куда-то дальше, потому что негде было жить. Был пионерский лагерь, но она не хотела туда отдавать Мура (Э).

Существует еще такая версия, что в эвакуации Цветаеву пытались завербовать в органы НКВД, предложили ей «помогать», она якобы с возмущением отказалась и обратилась потом к Асееву. В том состоянии, в каком она тогда находилась, такое предложение, если это правда, могло лишь усугубить ее подавленность (см. Приложение 4).

По рассказу Марии Сергеевны Булгаковой, возможно восходящему к тому же источнику, Цветаева в Чистополе «обратилась к какому-то НКВДисту» за помощью или даже работала у него. Но он, узнав, что она «неблагонадежная»,в работе ей отказал, хотя предложил деньги, которые она отвергла. В 60-е годы в Париже рассказывали, что на литфондовском собрании, где обсуждался вопрос прописки Цветаевой в Чистополе, а также ее кандидатура на место судомойки в открывшейся столовой, против нее был выдвинут довод, что Цветаева «не полноценный советский человек». Тогда говорили, что против Цветаевой выступал Асеев, а Паустовский ее защищал.

Ариадна Сергеевна знала об этой версии цветаевской поездки в Чистополь и ее опровергала. Она говорила, что мать ее могла вынести гораздо более трудные обстоятельства:

> Она была человеком для беды, а не для ежедневности, человеком подвига. В ней была жизнеспособность огромная. Среда все время от нее отставала /.../ Когда я уехала, она мне написала: «Я приеду и все привезу». Подумать только, близорукая, плохо ориентирующаяся, она бы в такую даль поехала!

В этом ее мнение сходится со словами Анастасии Ивановны: «От ударов материального неустройства Цветаевы не умирают» («Москва», № 5, с. 133).

В неизданных воспоминаниях о Пастернаке приводится его версия поездки Цветаевой в Чистополь:

> В Чистополе был детский дом. Там Зинаида Николаевна работала сестрой-хозяйкой. Работала с такой честностью, что похудела на 20 килограммов и нажила чахотку. Цветаева написала письмо в Чистополь, прося взять ее в судомойки в детский дом. Решение это зависело от Тренева и Асеева. Они были во главе чистопольского «правительства» и заправляли там всеми делами. Но они испугались ответственности, того, что их обвинят в контакте с эмигранткой, только что приехавшей из-за границы, и в помощи ей. Стали говорить, что судомойкой неудобно, надо поднять вопрос о принятии ее в Союз, что было, конечно, делом безнадежным (Ы).

Записавший эти воспоминания рассказывает, что впоследствии Асеев был ошеломлен этим обвинением и вспомнил, что, наоборот,

> ...на заседании, где это решалось, Асеев отсутствовал, был болен, но прислал записку, что считает необходимым принять Цветаеву в Союз, сейчас эта записка в Чистопольском музее. И потом, после смерти Цветаевой, в семье Асеева жил Мур. (Из неизданных воспоминаний о Пастернаке.)

Далее в этих же воспоминаниях приводятся слова Пастернака:

> /.../ В «Биографическом очерке» Асеев и Цветаева упоминаются рядом. Я там очень экономен в словах, всему уделял лишь несколько слов. Я говорю о том, что в то время только они умели писать стихи — никто не умел, и Маяковский не умел. Аля на меня нападала: как ты мог поставить их имена вместе, ведь из-за него мама погибла. Этого я тебе не прощу.
>
> Это испытанный, надежный человек, я в ней уверен, как в каменной горе, и все же я преспокойно оставил в очерке все как было (Ы).

Можно надеяться, что относительно поездки Цветаевой в Чистополь и устройства ее дел подробный

рассказ Л. Чуковской, очевидца, и к тому же человека, память которого очень точна, положит конец разным слухам и догадкам. Его следует рассматривать как первоисточник для составления биографии Цветаевой.

О состоянии подавленности и внутреннего опустошения поэта можно судить по нескольким ее выражениям, почти сразу записанным Л. Чуковской.

Чтобы рассказать историю смерти Марины Цветаевой, я хочу в первую очередь предоставить слово ее дочери, Ариадне Сергеевне Эфрон, не потому, что ее рассказ более достоверный, чем другие,— она ведь не прямой свидетель этого события,— а потому, что ее уже нет в живых, и, насколько известно, она не оставила об этом другого рассказа, кроме записанных мною бесед. Вместе с тем, она, как дочь поэта, имеет право сказать о смерти матери так, как она того желала.

> Работы в Елабуге, конечно, не было никакой, совали по разным избам, к великому отчаянию местных жителей. Голодали. Чтобы уцелеть, надо было хлопотать. Вначале Казань распределяла литфондовцев. Но ведь в Казани никто ее не знал, были там известные писатели, а кто Цветаева? Надо было искать опору. Люди помогать не хотели, все были в ужасно тяжелом положении в эвакуации. Мне рассказывала обо всем этом переводчица Татьяна Сергеевна Сикорская. Она приехала в Елабугу с сыном. Она мне говорила, что мама была страшно нервна и подорвана. Там было всего пять семейств эвакуированных. Случилось так, что Татьяна Сергеевна Сикорская сразу нашла мужа и уехала к нему, а сына оставила в каком-то детском доме. Ему было 16—17 лет. Он мне и рассказывал, что был на похоронах мамы и что снег шел и не таял на ее закрытых глазах, это в августе-то?!
>
> Видимо, на похоронах взрослых никого не было. Никто из эвакуированных не подумал отметить могилу /.../ Пастернак поехал в Чистополь позднее. Он ничего не разобрал. Формально за эту группу отвечал Асеев, но он не знал, где могила. Он меня связал с Болотиным и Сикорской. К ним я и обратилась за сведениями в 1947 г.
>
> Хоронили маму не при Татьяне Сергеевне Си-

корской, только сын ее присутствовал, но ничего не помнит и все напутал. Потом, когда я вернулась, я жила в Рязани и ездить в Москву, разыскивать других свидетелей не могла.

Пастернак мне дал адрес какого-то литератора, но когда я смогла туда поехать, он уже умер. Он тоже искал могилу и не нашел.

Я получила от мамы несколько писем. Одно опубликовано в «Новом мире» (весна 1941 г.). Сначала я ничего не получала, потом, когда мне дали право переписки, я получала письма от матери, которой давно не было в живых. Я видела, что письма очень старые, но все же конкретная связь.

Хозяева дома ничего о могиле не знали. Сторож кладбища указал только, в какой стороне может быть могила.

Я узнала, что среди 5—6 семейств там было самоубийство еще одной женщины, до мамы. Вероятно, это ей тогда показалось возможным исходом. Было еще одно и после мамы.

Кладбище это находится на территории татарской республики. Условия были очень тяжелые, и умирали многие. Был еще какой-то японский центр рядом, и японское кладбище. Смертность была большая. Ася, вернувшись, первой поехала туда, там много могил 41-го года, и все безымянные.

Теперь это кладбище существует. Оно закрыто, больше там не хоронят. В ряду 41-го года Анастасия поставила крест, а позднее Литфонд поставил камень и надпись: «Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) похоронена в этой стороне кладбища». Сначала Ася выдрала с другого конца кладбища крест и повесила надпись, потом Литфонд поставил камень с этой надписью, с тех пор украли и крест, и дощечку.

Ариадна Сергеевна еще говорила, что, как ей рассказывали, в первые дни в Елабуге Цветаева постоянно старалась подбодрить сына, говоря о страдании и долготерпении России. Другому собеседнику она сказала: «В Елабуге они с Муром получили работу: их «назначили на сбор картошки».

Со времени этого рассказа (1971) много стало известно. Анастасия Ивановна мне сказала, что роко-

вую фразу Мура, которую она приводит в своей книге («Ну уж, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами...») и которая послужила прямым поводом к самоубийству Цветаевой, ей передавали Соколовский и Саконская, которых теперь нет в живых.

Весть о кончине Цветаевой пришла на Запад довольно быстро, но подробности были искажены. Например, в одной берлинской газете было сказано, что Цветаева покончила с собой «после разрыва с мужем /.../ у себя в московской квартире». Статья эта, вместе с другими, цитировалась в «Русской мысли» позднее (№ 2754, 4/9/1969). Искажения тем более понятны, что в военные годы и в сталинское время не только о таких вещах нельзя было писать, но вообще переписка между Россией и Западом была очень ограничена.

Кроме того, рассказы о кончине человека всегда искажаются от драматических пересказов и повторений. Так как теперь живых свидетелей конца в Елабуге, вероятно, не осталось (их и было немного), мне кажется, что следует передать «с чужих слов», и даже с неточностями, то, что говорилось не только на Западе, но и в России. И вот что рассказывалось в те годы в Париже:

> Цветаева ходила в валенках, как всегда. Муру говорила все время, что надо терпеть, Россия страна большая, все вытерпеть может. Писать тогда было трудно, руки деревенели от работ и от холода /.../ Ее решение умереть не было связано с житейскими трудностями. Оно пришло позднее /.../ Она повесилась не оттого, что Асеев не дал работы, она бы вынесла и больше этого /.../ В одно утро она сказала Муру: «Ты иди на работу один, я не пойду, не могу». А когда он вернулся с работы, она уже повесилась /.../ А Мур тогда уже год или полтора готовился к военной службе. Он сразу уехал и пропал без вести (В).

Эта довольно неточная версия была привезена из России в начале 60-х годов. Мне еще передавали рассказ со слов человека, которому тогда было 18 лет и который оказался в Елабуге вместе с Цветаевой:

> Знакомство Н. Н. с Цветаевой произошло на пароходе по дороге в Елабугу — а потом они там

оказались соседями. У них часто были разговоры о поэзии: Н. Н. очень раздражал тон, которым она говорила о Маяковском, как о равном. Вообще в то время Н. Н. Цветаеву не любил и не ценил. Он также рассказывал, что она продолжала очень много работать по утрам — пряталась за гору книг и писала, но все последнее, что она написала, пропало. (Бродельщиковы рассказывали В. Швейцер, что Цветаева *не* писала и что книг у нее не было, она все время из дому куда-то уходила. А Лидия Либединская и А. Крученых говорили, что в Москве в последнее время Цветаева никуда не ходила.— В. Л.)

Конечно, она жила в полном одиночестве и изоляции. Не с кем было говорить, и это было трагично (не с Муром же говорить, с ним были такие тяжелые отношения). И вот однажды вечером она зашла к Н. Н. и сказала: «Пойдем прогуляться», и в первый раз тогда он испытал к ней сочувствие. Они три раза прошлись вместе вокруг Елабуги, и она все время говорила о самоубийстве Маяковского. После этой прогулки Н. Н. пошел в кино. Из кино его потом вызвали и сказали: «Ваша соседка повесилась!»

Ему было тогда 18 лет, Она ему не нравилась, он даже не заходил к ней, но испытывал к ней под конец жалость, так как она в последнее время была нервная и трагически измученная (Л).

Этот рассказ я не раз слышала в Москве, но нигде в печати не видела. Будущие биографы смогут его, быть может, пополнить и исправить. (Анастасия Ивановна говорила мне также, что есть другая «маловероятная, но возможная» версия Паустовского, но мне ее не пересказывала, а с К. Паустовским я не встречалась.)

Один человек, встречавший Мура позднее, передавал его слова: «Это должно было случиться!» А Пастернак говорил:

Мур был красивый, избалованный, не по летам развитой мальчик, наверное, он томился в Елабуге. И вот однажды Марина ему сказала: «Мур, я стою помехой на твоем пути, но я этого не хочу, надо устранить препятствие». Мур отве-

> тил: «Об этом надо подумать» — и ушел гулять. Когда он вернулся, он нашел мать повесившейся (У).

Еще от одного свидетеля я узнала, что писатель А. А. Соколовский был так потрясен самоубийством Цветаевой, что сам пытался покончить с собой.

Теперь стало известно, что Марина Цветаева оставила три предсмертных письма. Многие рассказчики о них знают и передают содержание этих писем с чужих слов. Разногласия относятся не только к содержанию писем, но и к их количеству: по словам одних, их было два, по словам других — три.

Как и другие исследователи, я этих писем не видела, но с абсолютной точностью знаю, что их было три: мне передали их содержание, тоже не дословное, но достоверное, хотя сослаться на источник я в данный момент не могу. Но я должна содержание этих писем здесь воспроизвести, хотя только появление в печати подлинников сможет приостановить споры, толки и несогласия по поводу этих основных биографических документов.

Первое письмо адресовано Муру и начинается словами «Мурлыга, прости меня». Пересказ содержания: Я больше не могу, я больной человек. Так лучше. Дальше было бы хуже.

Второе письмо адресовано поэту Асееву, его жене и его сестре и выражает тревогу Цветаевой за сына. Пересказ содержания: Не оставляйте Мура, возьмите его жить к себе. Я хочу, чтобы он учился. Никогда не бросайте его.

Третье письмо обращено к общественности (города Елабуги?). Пересказ содержания: Помогите Муру, помогите ему собрать вещи, поехать в Чистополь. Не пускайте его одного на поезде. Страшно. Не закопайте меня (живую). Проверьте (умерла ли) (У. Л. М. Ю.).

(Сведения о то̀м, что предсмертных писем было именно три, подтверждаются разными, не связанными между собой лицами.)

Намеки на противоестественные чувства Марины Цветаевой к сыну, а также на увлечение хозяином дома, в котором она жила последние десять дней своей жизни («напоми̇навшим Арсения Тарковского»), я слышала от разных людей. Быть может, страсть могла какое-то мгновение казаться поэту спасением от надвигающе-

гося отчаяния? Был у нее и с Л. К. Чуковской разговор о том, что жить не стоит. Я слышала и такие соображения:

> Ася правильно делает, что снимает ответственность за смерть Цветаевой с советской власти и перекладывает ее на Мура: «Цветаевы от этого не умирают» — это правда. Да и не только Цветаевы — никто не умирает от бедности. Смерть не от бедности, у нее была еда, были деньги. Но самоубийство было в ней самой (Р).

Другой рассказ:

> Кто-то (кто, кроме Мура, мог это сказать мне?) повторил ее слова: «Я все равно повешусь, как моя Федра». И она все твердила эту фразу (О).

Есть также давнее воспоминание, восходящее к юности Марины Цветаевой:

> Валерия рассказывала, что отец как-то к ней пришел, принес ей образ и гвоздь с молотком и сказал: «Ты делай, как хочешь. Только помни, что те, кто ни во что не верят, в тяжелую минуту часто кончают самоубийством». Конечно, эту фразу и Марина могла услышать /.../ А после смерти Марии Александровны между Валерией и Мариной была кратковременная дружба (С).

Теперь можно задуматься над тем, какую спасительную роль играет творчество в жизни поэта. Эту роль оно не сыграло в жизни Марины Цветаевой в последний момент перед концом. Свидетельство Ариадны Сергеевны на эту тему определенно. Я ее расспрашивала о письме Цветаевой к Мочаловой, в котором есть жалобы не только на тяжелые условия и одиночество, но и на отупевшую от переводов голову («Неизданные письма», с. 614):

> Нет, в последние годы не было творческой бесплодности. Были просто тяжелые условия скитаний. Не нужно искать внутренней трагедии. Может быть, творческая сила и не иссякла, просто были очень трудные внешние обстоятельства,

хлопоты. Кроме того, одиночество: нас с ней не было... Трудная жизнь. Борьба с пресловутой администрацией, всякие «оформления». Она ведь всегда плохо ориентировалась, никогда к такой жизни не была приспособлена. Когда она куда-нибудь ехала, ей всегда нужен был точный план. Кроме того, нажим на нее был и психологический.

И все же она не была такой неумелой. Ведь выхлопотала же она книгу и собрала молодежь, чтобы на ней проверить свои стихи. Я убеждена, что если бы не война, она бы выжила, она ушла бы в переводы, как и все.

Потом, в первое время войны, вокруг нее была паника эвакуации. Все как-то умели приспособиться — у всех ведь был опыт гражданской войны, революции и всех событий.

Конечно, тут вспоминается фраза из дневника Цветаевой: «Я свое написала» («Неизданные письма», с. 611), написанная ровно за год до смерти. Ариадне Сергеевне же нужно было меня убедить в том, что у матери еще остались творческие силы, чтобы я не стала приписывать советской власти вину за ее бесплодность или чтобы я не подумала, не дай Бог, о какой-нибудь патологии в жизни Цветаевой, о модной на Западе депрессии, а непечатание стихов Цветаевой можно было объяснить началом войны.

В 1981 г. появилась в России сенсационная публикация нескольких стихотворений Цветаевой 40-го года («Нева», № 4), которая значила, что, вопреки распространенному мнению, в последние годы на родине Цветаева еще писала стихи. Кое-кто из людей, с которыми я беседовала, цитировал одно-два стихотворения, упоминали еще о нескольких. Но пока достоверно известно о существовании не более пятнадцати стихотворений. И поэтому среди сложных причин самоубийства Цветаевой можно предположить и некий «кризис творчества», начавшийся у нее задолго до возвращения из эмиграции. А когда творческий поток иссякает, поэт умирает — это общеизвестный факт не только в истории русской поэзии.

Но по рассказам современников и по опубликованным письмам Цветаевой мы знаем, что способность любить и скорбеть осталась у поэта до самого конца. Однако, как известно, смерть присутствует во всем

творчестве Цветаевой, мысль о смерти сопутствовала ей всю жизнь. Как рассказывал один ее пражский знакомый:

> О смерти она говорила часто, но не серьезно. Это было в моде. Я ей говорил о ее стихотворении «Настанет день, печальный говорят...»: «Марина, ведь это же не серьезно!» Она мне говорила в ответ: «И умирать буду не серьезнее этого» (В).

А Ариадна Сергеевна вспоминала: «Она думала о смерти много и ею была проникнута /.../»

Согласно рассказам разных людей, Мур на похороны матери не пошел. Он тогда уехал в Чистополь, может быть, сразу после кончины Марины Цветаевой, может быть, через несколько дней, точная дата его прибытия в Чистополь остается невыясненной.

Однако биографу Цветаевой необходимо установить не только последующие этапы жизни сына поэта, Георгия Эфрона, но и события, происшедшие после его гибели. Хотя сейчас даже дата его смерти остается под вопросом. А ведь выяснение загадочной судьбы Мура весьма существенно для будущей биографии Цветаевой, так как в руках Мура оказалась та малая часть архива, которую она смогла увезти с собой в эвакуацию. Сначала я приведу несколько рассказов очевидцев о характере и поведении Мура после смерти матери:

> Мур похудел, вытянулся и стал нормальным, красивым юношей. У него была одна мысль — отомстить за отца, за сестру. В одном письме с фронта (?) он пишет: «Я встретил смерть, которой я раньше не мог видеть в глаза. Я даже на Марину не смог посмотреть /.../» У Мура в Ташкенте был один одноклассник, который мог бы многое рассказать. Ахматова вспоминала, что с Муром в Ташкенте у нее не было никаких отношений, но она клала ему на окно хлеб. Он приходил, уносил хлеб и никогда не благодарил. Он в Ташкенте страшно голодал (М).

Другой свидетель вспоминает:

> С Муром дружить было невозможно. Это был

трудный мальчик, но разговор с ним всегда получался, и в Москве, и в Ташкенте. Я был старше его на три года. Мы встречались редко, но хорошо. Хотя ему со мной было не особенно интересно — он хорошо знал современную французскую поэзию, я ее не знал. Он меня считал идиотом и не любил. Я его не интересовал (У).

Еще одно замечание:

Когда Мур учился в Литературном институте, он объяснял, что должен жениться на богатой! (С)

Один человек, встречавший Мура после смерти Цветаевой, вспоминает о нем с восхищением:

Я Мура очень любил, хотя понимаю, что он был явлением чудовищным. В нем был гипертрофированный эгоизм. Виною такого характера была мать. Она его научила, что он — венец творенья и что он делает честь всем, с кем встречается. Она ни за что не хотела его отдавать в школу и моей матери говорила: «Ему достаточно того, что он от меня получил».

У него было фантастическое отношение к аресту семьи. Вроде: «C'est plutôt marrant» (Это скорее забавно). Также, когда нагрянула война, он хихикал.

Ничего другого она породить не могла /.../ Когда Цветаева жила на Покровском бульваре, я встречался с Муром довольно часто. Мы звонили друг другу и встречались на нейтральной почве /.../ Мур был очень умный, я его ценил. Он был моложе меня на четыре года, но никогда я не чувствовал перед ним превосходства из-за возраста. Он был острый, интеллектуально развитый. Мне импонировал его «tour d'esprit» (склад ума) (И).

Ариадна Сергеевна тоже мне о брате рассказывала, хотя в это время она не была прямым свидетелем событий:

После кончины мамы брат сразу взял все рукописи и поехал в Чистополь добиваться пропуска в Москву. Он приехал и отдал весь архив теткам.

10—1244

Они хранили этот архив в сундуках, на которых и спали всю войну /.../ Потом Мура отправили в Ташкент, он кончил 10-й класс и поступил на первый курс Литературного института /.../ Когда Мур оказался в Ташкенте, там был Алексей Николаевич Толстой с женой Н. Крандиевской. Это были старые наши знакомые по Коктебелю, Феодосии, Крыму и т. д. /.../ В этой среде эвакуированных снобов он нравился. У него была очень тяжелая жизнь, он страшно голодал, стипендия была крошечная, жил он без семьи и ухода и был очень одинок. Ведь все у него в жизни менялось так быстро. Когда немцы начали отступать, Алексей Николаевич Толстой вернулся из эвакуации в Москву одним из первых и предложил Муру вызвать его и отбронировать, чтобы он мог продолжать учиться.

Вызов Муру он прислал, но броню в институт не устроил, и его просто мобилизовали в Москве. То его призывали, то освобождали по разным причинам (отец и сестра репрессированы). Он прошел какие-то военные курсы и потом погиб на фронте в 1943 г.

Впоследствии мне уже никого не удалось разыскать. Какая-то отвратительная тетка написала мне, что кто-то ей рассказал, будто при нем Мур был на фронте убит.

Он все время верил в будущее, в свою звезду, которая его вытянет, в то, что мы опять встретимся.

Вопрос о том, поступил ли Мур в институт, оспаривается, так как если бы он действительно учился, то он не должен был бы попасть в армию, во всяком случае в начале войны. Все же сохранилась справка о его поступлении в Литинститут в Москве. Известно также, что тогда, на первом курсе, было только вечернее обучение, которое не давало освобождения от военной службы. Он тогда очень возмужал и в своих документах изменил дату рождения, прибавив себе возраст (Р). Возможно, что он это сделал не из патриотического чувства, не из желания поскорее идти защищать родину, а просто, чтобы вырваться из голодного и неустроенного быта.

Какой же архив мог быть на руках у Мура в Елабуге? Вероятно, были кое-какие стихи, хотя известно, что стихов, написанных в СССР, было мало. Есть сведения о том, что в Москве, в ЦГАЛИ, находится около 15 оригинальных стихотворений 1940 г., но к этому хранилищу доступ открыт только избранным. То, что Цветаева вывезла с собой из Франции, она, вероятно, оставила у Елизаветы Яковлевны, а в эвакуацию взяла только самое дорогое, например, как мне говорили, письма К. Б. (3). Писем Пастернака у нее с собой не было, как стало известно из рассказа Л. К. Чуковской. До эвакуации Марина Цветаева отдала все самое ценное на хранение Александре Петровне Рябининой, редактору отдела «Литература народов СССР» Госиздата (письма лета 1926 г., например). Но по сведениям, полученным от А. С. Эфрон, у нее был с собой в эвакуации чемодан рукописей (из неизданного письма Б. А. Тарасову. См. Приложение 5). Один свидетель, хорошо помнящий Мура, говорит, что «архива у него никакого не было, кроме записок, писем К. Б. и т. д. Основной архив, конечно, остался за границей» (Ю). Известно также, что многое хранилось у Тарасенкова некоторое время. И вот еще другой рассказ:

> Марина Цветаева дружила с детской писательницей Т. С. Саконской /.../ Она дала ей свои последние стихи, и это была целая папка, а не отдельные листочки.
>
> После смерти Цветаевой Т. С. Саконская эту папку никому не давала /.../, но ее знакомый, писатель Х, как-то умолил ее дать ему эту папку на одну ночь. И как раз в ту ночь, когда он взял к себе стихи, он был арестован! (С)

Еще важно было бы выяснить, как относился сам Мур к «бумагам» матери. С этим связан тоже нелегко разрешимый вопрос его маршрута из Елабуги в Москву, а также хронология событий его жизни после 31 августа 1941 г. Этот период тоже освещается рассказами очевидцев или слухами, поскольку дневники самого Мура недоступны.

Согласно его записи в альбоме Крученых, сделанной 6 октября 1941 г. в Москве («Встречи с прошлым», № 3, с. 304), он уже был в Москве 30 сентября 1941 г. Но из самой записи неясно, где он пробыл четыре дня

между кончиной матери и отъездом в Чистополь 3 сентября. Известно, что на похоронах Цветаевой он не был, хотя он упоминает о них в своих записях.

Анастасия Ивановна рассказывала мне то, что ей удалось узнать по поводу Мура и архива:

> Через несколько дней после смерти Марины Мур все повез из Чистополя в Москву к Елизавете Яковлевне, а потом он поехал в Ташкент кончать школу. Можно было проехать с архивом из Чистополя в Ташкент, была связь Чистополь — Ташкент через Союз писателей. Лиля мне говорила, что Мур привез ей архив. Может быть, он это сделал только в 1944 г.? С осени 1943-го по февраль 1944-го его взяли в армию, тогда подошел его возраст.

А в своих воспоминаниях она пишет: «Мур после Елабуги уехал в Ташкент. Почему не в Москву?» («Москва», № 5, с. 156)

Относительно «не бережного» отношения Мура к архиву ходили разные слухи, например, что он «в Елабуге расплачивался с девочками какими-то стихами /.../ Он мог, конечно, приехать в Москву с архивом, но не из Чистополя, а уже из Ташкента» (Р). Согласно другому рассказу «Мур забрал много вещей и на следующий день их продавал на рынке, а бумаги якобы разбросал! Мур сразу после этого уехал /.../ Он поехал в Москву и ходил потом по разным писателям. Был даже слух, что он продает рукописи, но Аля этот слух проверяла и никаких рукописей не разыскала» (Л).

Еще один свидетель мне говорил об отношении Мура к архиву:

> Мур как будто разбазаривал архив. Но то, что удалось собрать потом, перешло к Ариадне Сергеевне /.../ У Марины Цветаевой были записные книжки и книжечки /.../ Письма Цветаевой находились в разодранном мешке. После эвакуации сестра нашего соседа по квартире обнаружила мешок с нашей фамилией на складе Большого театра /.../ Все растащили, но остались книги и бумаги /.../, которые она потом переправила нам, но уже из Ленинграда (О).

Вот другой рассказ:

Его поездка после Елабуги, вероятно,— Чистополь, Москва, Ташкент. Он приехал в Ташкент вскоре после Ахматовой и Чуковского, я уже был там /.../ В Ташкенте Мур ходил к разным людям, которые ему помогали во время войны поступить в институт (У).

И дополнительные подробности:

Мур после смерти матери попал прямо к нам, в нашу московскую коммунальную квартиру, осенью 1941 г. /.../ Он приехал к нам до того, как мы эвакуировались. Он остановился тогда у Лили (Е. Я. Эфрон). Она звонила моей жене и говорила: «Спасите от Мура». Он продавал тетради Цветаевой Садовскому, который потом их вернул в архив Ариадны Сергеевны (О).

С Крученых отношения были главным образом у Мура, который ему кое-что продавал. Аля не могла ему этого простить (М).

А Пастернак позже рассказывал:

Мур уехал в Чистополь, но он рвался в Москву. Он привез с собой сундук, набитый рукописями матери. Кое-что он продавал и на это жил. Но тут его забрали в армию. Кажется, ему еще не вышел возраст, но он был крупный, сильный, рослый, и его документам не поверили. Он оставил рукописи на хранение у поэта-символиста Садовского, жившего в Новодевичьем монастыре.

Вероятно, из-за матери он попал в штрафную часть и очень скоро погиб (Ы). (Из неизданных воспоминаний.)

Вот еще подробности относительно переездов Мура, по сведениям, якобы взятым из дневника:

Мур не был на похоронах, но был еще в Елабуге в день похорон. Затем он уехал в Чистополь в детский приют. Потом он поехал в Москву и из Москвы 16 октября 1941 г.— в Ташкент (М).

Другой человек, который хорошо помнит это время, говорит про Мура:

Он жил какое-то время у меня, в доме писателей. С архивом он как будто обращался не очень бережно. Например, я нашел однажды у себя на столе какую-то вырезку из заграничной газеты. Он же кочевал, и ему не важно было, что это за бумаги.

Со мной об архиве он не говорил /.../ Я его видел в Чистополе, сразу после смерти матери, в сентябре — начале октября. Потом он был в Ташкенте. О матери он не говорил. Он был спокоен и невозмутим и абсолютно взрослый /.../ Что-то он с собой носил. Может быть, он и продавал архив, это не исключено. Во всяком случае, вещи всякие он продавал (М).

Еще один: «В Ташкенте Мур жил страшно. Он даже проворовался» (Р). И более позднее свидетельство:

Я встретила Мура у Алексея Толстого в Ташкенте. Это был красивый и неприятный юноша. Он обвинял мать в том, что она самовольно умерла и его бросила. Он говорил: «Какая она эгоистка!» Он очень хотел жить. Алексей Толстой ему много помогал и хотел его спасти от фронта (М).

Еще о Чистополе:

Архивов у него было мало. Я видел его в Чистополе и еще потом в Москве. Он был одарен к языкам /.../ Очевидно, в Чистополе он был связан с уголовниками и хулиганами (М).

И о Ташкенте:

Я помню, как осенью 41-го года появился в Ташкенте сын Марины Цветаевой, Мур, элегантный, холеный, хорошо одетый и необычный юноша (М).

Интересны свидетельства очевидцев об обстановке в Чистополе в момент прибытия туда Мура. Некоторые мне говорили:

> Тогда из Чистополя в Москву пробиться не было никакой возможности, нужны были специальные пропуска на транспорт (М).

И другое:

> Мне было тогда 10 лет. Я отлично помню, что в то время в Москву из Чистополя никого не пускали без пропуска. Вообще обстановка тогда была страшная. Все друг друга боялись (М).

Однако другой свидетель рассказывает:

> Мы в сентябре пробились в Москву вместе с моей подругой, поэтом. Пропуска у нас не было. Сначала мы сели на какой-то катер и добрались до Казани. Потом ехали из Казани до Москвы на каких-то пригородных поездах, потом где-то на сотом километре сошли и до Москвы добирались на попутных машинах. Энергии, чтобы пробиться, надо было много, но я была очень энергичная (Э).

Может быть, Мур обратился к Асееву, который отвечал за эвакуированных в Чистополь писателей, чтобы тот помог ему получить пропуск в Москву? Но «обстановка в Чистополе была ужасающая. Никто, решительно никто не согласился бы помочь сыну Цветаевой. Асеев думал только о закупках и о жратве. Единственное, к чему он стремился, так это выжить. На сына Цветаевой ему было наплевать!» (М)

Таким образом, вопрос, поехал ли Мур из Чистополя прямо в Москву или сначала в Ташкент, остается невыясненным, несмотря на его запись в альбом Крученых.

Трудно также с достоверностью рассказать о последнем этапе его жизни — смерть его до сих пор остается таинственной.

Согласно разным свидетельствам Мур приехал в Москву к Ланнам:

> Ланны его усыновили. В Москве ему исполнилось 18 лет (1 февр. 1943), и его почти сразу по приезде забрали в армию. Родственников у Лан-

нов не было, после их смерти никого не осталось, и архив от них почти весь поступил в ЦГАЛИ. Последние контакты у Цветаевой в Москве были как раз с Ланнами. От них Мур и ушел на войну — был такой французский батальон, куда его взяли /.../ Говорят, что его после войны видели в Париже (Л).

В Париже ходил одно время слух о том, что Мура «расстреляли свои», может быть, за «дезертирство». Мария Сергеевна Булгакова мне говорила: «Мур ушел к партизанам и был ими же убит».

Ариадна Сергеевна об этом последнем слухе знала и не оспаривала его, а даже сказала одной своей знакомой, что «его расстреляли свои через три недели после того, как забрали в армию». Самая простая версия, конечно: «ушел на войну и погиб на фронте», но даже эти сведения не подтверждаются.

В другой раз Ариадна Сергеевна *мне* повторила, что был слух о том, что Мур на фронте никогда не был, а что его свои же расстреляли до прибытия на фронт. На это намекал и Марк Львович Слоним. Вот рассказ Саломеи Николаевны Гальперн:

> Про Мура рассказывали, что он был в Ташкенте после смерти матери /.../ Это был неприятный юноша... Последняя капля — побуждение к самоубийству — наверняка от Мура /.../ Он был в армии. Говорят, во время наступления он хотел перебежать. У него было тяготение к Западу. Он все гладил свои штаны и заботился об элегантности, вообще у него был вид европейский. В армии его, может быть, и прикончили, официально неизвестно как.

В статье С. Грибанова о Муре, несмотря на его явное желание быть крайне точным, кроме писем Мура, собранных его сестрой, нет конкретной информации об обстоятельствах его последних дней: после призыва в армию в феврале 1944 г. (а не 1943? — В. Л.) он был направлен военкоматом в 84-й запасной стрелковый полк, затем «красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению 7/7/44». Анастасия Ивановна в воспоминаниях пишет, что имя его вписано в список убитых на обелиске в г. Браслава, Витебской области.

Есть еще один довольно сумбурный рассказ о Муре:

> В 44-м году я был начальником крупного военного строительства, с нами работали немецкие пленные. Там я создал маленькое конструкторское бюро из двенадцати пленных. Был среди них инженер Альберт, немец, он работал в организации Тотте и попал в Париж после оккупации Франции, но до войны с Россией. Его отправили в часть Нормандия-Неман, и в первую бомбежку он попал в плен. Он приходил ко мне, а у меня была фотография Мура в 15 лет. Альберт однажды увидел фотографию и сказал, что он этого человека знает. Он говорил, что до его отъезда из Парижа во Франции сбили советский самолет из эскадрильи Нормандия-Неман, два летчика приземлились, один из них остался жив. Его взяли к Тотте, там Альберт его и видел /.../ Мур мог воевать там именно потому, что знал и русский и французский языки. А потом его передали в гестапо, и он там погиб (Т).

Майор французской армии Игорь Р. Эйхенбаум, историк эскадрильи Нормандия-Неман, которому я об этом слухе написала, мне ответил, что «Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, в эскадрильи не числился», «его фамилии нет среди 42 погибших французских летчиков». Однако Мур мог скрываться под другой фамилией. Для того чтобы окончательно опровергнуть этот слух, следует внимательно просмотреть все 18 000 фотографий, хранящихся в архиве эскадрильи, и изучить шесть томов журнала «Нормандия-Неман» с иллюстрациями (издательство Эр Франс, Орли), а также довольно обширную библиографию, относящуюся к этому вопросу.

Есть еще удивительное свидетельство: «Я уверена, что он жив, говорят, его кто-то встретил в Берлине на вокзале в конце войны» (С).

«Когда Анастасия Ивановна вернулась из ссылки, я поехал ее встречать /.../, о Муре тогда говорили, что он в Париже» (Л).

Слух о том, что Муру удалось бежать на Запад, таким образом, повторяется разными людьми:

> Мур якобы в конце войны был в Париже, кто-

то его увидел выходящим из метро на станции Этуаль, узнал и окликнул: «Мур!» Он оглянулся и сразу исчез в толпе /.../ Версию о том, что его по фотографии узнал один немецкий военнопленный, Анастасия Ивановна категорически опровергает (М).

Страшно то, что даже если под вымышленной фамилией сыну Цветаевой удалось бежать из СССР, все равно ему не замести свои следы: и на Западе его бы не оставили в покое, в любом случае он должен был погибнуть.

А в 1985 году ему исполнилось бы 60 лет.

Имея в виду христианский подход к отчаянию и самоубийству, можно задуматься о религиозности Цветаевой. О. Ивинская пишет о Пастернаке и Цветаевой, что среди «тысячи незримых нитей», связывавших «их духовную жизнь», была «и глубокая, не ритуальная, не показная религиозность» («В плену времени», с. 180). Друзья Цветаевой расценивают степень ее религиозности по-разному.

Один ее пражский друг прямо начинает свой рассказ словами: «Да, так вот моя безбожница Марина...» и дальше говорит:

В ней поражает отсутствие идеала — высшей ценности или веры в бессмертие, или какой-то трансцендентности /.../ Она не из бравады и не по строптивости нрава, а действительно и по-настоящему *не* верила в Бога /.../ Ей не нужны Бог, душа и т. д. В ее стихах, конечно, есть «душа», но это какой-то вихрь в никуда, так как на самом деле у нее нет идеала, у нее вместо идеала колдовство /.../ Ее поэтическое *кредо* без источника, в отличие от других поэтов: «Бог меня поставил» или «Мой дар от Бога» — всего этого у нее нет. Отсюда и ее отношение к поэзии как к ремеслу /.../ У других поэтов, например, у Гумилева или Мандельштама, слово — это Бог, слово — от Бога. У нее же слово — плоть, она жизненная, плотская, во всех смыслах слова, и Бог ей не нужен /.../ Понятие о высшей ценности, цельное мировоззрение — всегда религиозны. У Цветаевой этого нет. У нее поэзия — ремесло, а не высший

дар, куда-то ведущий. Дар есть, но неизвестно откуда, поэтому он никуда и не ведет (В).

Интересно, что этот свидетель употребил в своем рассуждении слово «колдунья», которое в другом контексте выбрала сама Ариадна Сергеевна, чтобы сказать о матери.

О религиозности Цветаевой я ее тоже расспрашивала, и вот ее ответ:

> Настоящей религиозности не было. В Бога с бородой, доброго старика, она не верила и к таинствам не ходила: не исповедовалась, не причащалась. Но нам, детям, она пыталась дать религию, чтобы предоставить нам свободный выбор. Мы ходили в церковь, она ходила с нами, но недолго. Ей нравилась обрядность, она, например, всегда ходила к заутрене и помнила православные праздники. Так выражалась ее народность, а также и привычки ее происхождения и рода.
>
> Антирелигиозности в ней тоже не было, хотя она не любила священников, потому что считала, что их форма — борода, ряса, крест — являются преградой для общения. Она была верующая скорее языческого толка. Она понимала понятия: совесть, грех, возмездие, дух, рок. Но, конечно, когда она была молода, во время войны и революции, как и вся Россия, она ходила в церковь молиться к Иверской — за здравие. Надежды и отношение у нее были чисто бабьи — русские.
>
> Когда мне давали книги религиозного содержания, Библию, то они были у меня наравне с греческой мифологией. Культура, которую она хотела мне привить. Но, конечно, высшая духовная стихия у нее была.

Ответ Ариадны Сергеевны относится к довольно раннему периоду ее детства и молодости матери. Возможно, в зрелости этого вопроса дочь и мать уже не касались. Однако мне известно от одного свидетеля, что в Париже Марина Цветаева водила маленького Мура в русскую православную церковь (Ю). А в 1961 г. Ариадна Сергеевна писала своей парижской знакомой по поводу могилы родителей Сергея Яковлевича в Париже:

> Бабушка сбежала из дворянской семьи в революцию и детей своих воспитывала в революции, но в Бога верила, ибо знала, что такое добро.

Такая определенность мнения у Ариадны Сергеевны объясняется тем, что сама она, воспитанная, как она мне объясняла, в обстановке «христианской мифологии», впоследствии, уже в ссылке, оказалась в религиозной среде, она даже побывала в местах Святого Серафима Саровского и, быть может под влиянием своих солагерников, вновь осознала и осмыслила собственное христианство в совершенно особых условиях. Но со мной она об этом никогда не говорила.

Некоторые из парижских знакомых вспоминают, что Цветаева любила ходить в церковь, чтила обряды, регулярно праздновала Пасху по-русски, с куличами, пасхой и крашеными яйцами, но что религиозность ее была не глубже бытовой обрядности. Одному знакомому она, например, в разговоре сказала: «У меня нет души, у меня есть нрав» (В). Согласно другому свидетельству: «Она ходила в церковь, Сергей Яковлевич тоже, конечно. Он был религиозным. У нас строилась церковь, я была старостой. Ходила она не как церковница, но с Богом, по-моему, была» (Е). Другая парижанка вспоминает: «Цветаева говорила, что христианство идет против природы, что в нем есть что-то противоестественное — взять у своего ребенка и отдать другому — и вот маме моей она говорила, что мама настоящая христианка». И Цветаева с восхищением говорила друзьям об одной своей парижской приятельнице, что у нее к жизни «истинно христианское отношение» (Б).

Марк Львович Слоним тоже задумывался над этим вопросом:

> Была ли она религиозной — постоянный вопрос. Нет, конечно. То есть — да, для нее было ясно, что здешний мир — это не весь мир и что мир безмерен. Но все, что было ощутимо в детстве: церковность, праздники, яйца на Пасху и православие — все это было для нее чужое. В церковь она никогда не ходила.
>
> Я помню один разговор с ней в Париже на эту тему. Она пришла с Муром. Разговор зашел о том, что кто-то бил поклоны, чтобы его больная

дочь выздоровела. Я сказал, что это трогательно и стал защищать силу самой молитвы. Она покачала головой: «Бог в роли бухгалтера? Да, да! Я не хочу такого Бога. Бог, который занимается нашими мелочами — это язычество!»

А вопрос назначения человека в мире, конечно, для нее был в центре. Она чувствовала, что есть что-то, но что? Ее стихи — это порыв. Ей всегда была чужда всякая ограниченность. Как и ограниченность самого мира.

Можно, вероятно, проследить в этих свидетельствах сложность личного отношения каждого к религиозности и нравственности. Несомненно, такой человек «вне норм», как Марина Цветаева, многими своими выходками, парадоксами или строптивым нравом вызывал осуждение или даже возмущение со стороны людей, которым приходилось с этим нравом уживаться. Тем не менее, надо отдать им должное: свидетели почти единогласно отказываются проводить параллель между нравственностью и искусством и говорят, как З. А. Шаховская, «святость и гениальность совсем не должны быть связаны».

Как видно в некоторых письмах Цветаевой, а также в отрывках из записной книжки, ожидание или сознание «того света» у нее появилось задолго до приезда в СССР. Но это не христианская надежда на вечную жизнь на том свете, а отчаянный рывок и бесконечный полет в пустоту, которой Цветаева «так боялась в жизни» и которая теперь, для следующих поколений, наполняется до краев ее отчаянными стихами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во время бесед с людьми, знавшими Марину Цветаеву, постоянно возникал вопрос о том, нужны ли подробности, подчас неприятные, чтобы восстановить образ человека во всей его полноте,— многие опасались неделикатности, бестактности. Например, по поводу писем З. Гиппиус к Н. Берберовой мне было сказано:

> Конечно, Марина Цветаева была скандальной личностью. Но надо очень осторожно наводить справки. Фактически чем отличается такое исследование от подглядывания в замочную скважину? (Р)

Тот же человек говорил мне:

> Цветаева действительно была способна на всякие выходки. Но помните слова Пушкина, когда появились дневники Байрона. Их напечатание вызвало всеобщее негодование. Люди возмущались низостью человека. Люди говорили: «Он мерзкий. Он — как мы!» А Пушкин сказал: «Нет, он не как мы. Он — поэт. Он пишет стихи!» *(Р)

Другой человек, обладающий умом, литературным чутьем и знаниями, говорил также:

> Поэт и нравственность — вопрос очень сложный. У поэта есть потенции. Их у него гораздо

* Письмо П. А. Вяземскому, ноябрь 1825 г.: «Толпа жадно читает исповеди /.../ потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего /.../ Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы — иначе...»

> больше, чем у обычных людей. У поэта другой диапазон личности. Вопрос этот касается психологии творчества (М).

Мне также жаловались, что собирание биографических подробностей ведет к тому, что «теперь Цветаева стоит у позорного столба и все кому не лень разбирают подробности ее жизни, даже просто из грязного любопытства» (М). Возражу словами еще одного свидетеля:

> Нужно изменить свое отношение к человеку, к его биографии и подходить ко всему этому по-другому: одна вещь — события, другая — стихия слова, чувства. Разверстость поэта в жизни выливается во все его творчество (М).

Тут вспоминается и разговор Цветаевой с Ахматовой по поводу того, что в стихах «все о себе», а также слова самой Цветаевой о том, что «в жизни сорно, чтобы в тетради было чисто».

Если читатель данной работы может справедливо испытывать некоторое раздражение или разочарование от перечисления мелочей жизни, то пусть он о них забудет — они нужны как материал для воссоздания биографии. Но сам поэт живет не в рассказах современников, не в биографиях исследователей, он живет в своих стихах, в «нерукотворном памятнике» собственного творчества.

Среди всех свидетелей, слова которых я в данной работе старалась возможно полнее передать, самое значительное место несомненно занимает дочь поэта, Ариадна Сергеевна Эфрон.

Поэтому я хочу теперь рассказать один случай, благодаря которому мне особенно ярко представилось, какой огромной была жертва, принесенная Ариадной Сергеевной памяти матери.

В тетради переводов из Лермонтова, над которыми Марина Цветаева работала по возвращении в СССР в 1939 г., среди ее черновиков есть одна очень личная и очень драматическая запись. Это не оригинал: почерк *не* Цветаевой и не Ариадны Сергеевны, запись внесена в тетрадь кем-то другим. Я эту запись увидела случайно и, разумеется, не переписала ее. Я даже не могу теперь вспомнить, была ли она сделана по-русски или по-

французски. Дата записи: 21/7/39. Болшево. За формулировку я не ручаюсь, но смысл передаю точно:

> Здесь я нищая, кормлюсь отбросами (любви, дружбы), одна до двух часов в посудной воде, одна выношу помои на двор, чтобы не сгнил дом. И нет никого, кто пожалел бы мои потрескавшиеся и облезлые руки.

За этими словами шел перечеркнутый перевод на французский язык стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Запись эту Ариадна Сергеевна не хотела мне показывать. Она, видимо, опасалась, что я из такого драматического вскрика сделаю односторонние выводы относительно морального состояния и бытовых трудностей Марины Цветаевой на родине. Тем не менее она потом догадалась, что я эту запись знаю. И в одну из наших последних встреч Ариадна Сергеевна совершенно неожиданно для меня взорвалась.

Произошло это следующим образом. Я задавала общие вопросы о характере Цветаевой, один из них был: «Умела ли она слушать?» Сначала Ариадна Сергеевна подробно ответила, а потом вдруг стала горько жаловаться на мать, полились сетования и упреки. В тот момент было даже неловко писать, и я только в ходе признаний, украдкой кое-что записала:

> Быт это нуда. Она его переносила с трудом и относилась к нему уж как-то болезненно. Я, например, знаю, что если надо вымыть кастрюлю, я ее замочу и легко потом вымою. Она же из этой кастрюли устраивала целую трагедию. Ее трагичность накоплялась и выливалась в какую-то гипертрофию мытья кастрюли: «Я должна мыть кастрюли, а создана писать стихи!»...

Ариадна Сергеевна не отрицала подлинность записи Цветаевой в лермонтовских переводах. Наоборот. И она в свои жалобы вставила следующее объяснение:

> Также и запись в лермонтовских переводах. Ведь там, в Болшеве, посуду *я* мыла, провизию *я* покупала. Было ведь всего две семьи и прислуга — девчонка. Какую же посуду она могла мыть

до двух часов и весь день? Была вообще чудная атмосфера. Было совсем хорошо, так что эта трагическая запись вовсе не соответствует действительности!.. Бедность усугубила ее поэзию, но, с другой стороны, бедность как-то развращает. Вечно она просила или требовала от кого-нибудь помощи. Никто ее не ценил, она же сама знала себе цену, и это усугубляло ее внутреннюю гордость... Но в беде она была исключительна. Она была человеком для беды, а не для ежедневности, человеком подвига. ...Если бы не было революции, вышла бы книга о Башкирцевой. Она сама была бы интересная — другая!

Тогда мне стало ясно то, о чем я подозревала с самого начала моего общения с Ариадной Сергеевной и о чем я от многих слышала впоследствии. А именно, что у Ариадны Сергеевны была к матери настоящая любовь-ненависть, которую она затаила в себе вместе со своими собственными дарованиями. Ото всего она отказалась, включая и свою личную жизнь, чтобы создать памятник Марине Цветаевой.

Тогда я поняла, чего стоило ей создание этого памятника, который она воздвигала в течение всей своей трудовой жизни: сначала были детский ум, обожание и помощь, позднее роль няни и рабыни в семье и, наконец, после лагеря и ссылки начались кропотливые розыски рукописей, собирание архива и неустанная борьба (в советских условиях!) за издание каждой строчки.

Именно благодаря ее усилиям, благодаря ее борьбе до самого последнего дня теперь доступно советскому русскому читателю, пусть частично, пусть с цензурными пропусками, творчество Марины Цветаевой. Первые книги ее стихов, появившиеся в России в 1961 и 1965 гг., и были тем посмертным памятником, который всю жизнь воздвигала матери Ариадна Сергеевна.

Поэтому в заключение я приведу слова самой Цветаевой, хотя это не оригинальные ее стихи, а только перевод 40-х годов «неизвестного» белорусского поэта:

ТРОПЫ БЫТИЯ

На трудных тропах бытия
Мой спутник — молодость моя.
Бегут, как дети, по бокам

Ум с глупостью, в середке — сам.
А впереди — крылатый взмах:
Любовь на золотых крылах.
А этот шелест за спиной —
То поступь вечности за мной.

(«Москва», № 10, 1982)

дабы помнили люди, ценящие ее поэзию, что вместе с нею в вечность идет, верным спутником, удивительная, трагическая и великая фигура ее дочери, Ариадны Эфрон.

Москва — Париж, 1981—1987

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Не знаю, нужны ли вообще бытовые подстрочники к стихам: кто — когда — с кем — где — при каких обстоятельствах и т. д. — жил. Стихи быт перемололи и отбросили, и вот из уцелевших осколков, за которыми ползая вроде как на коленях, биограф тщится воссоздать бывшее... К чему? Приблизить к нам живого Пушкина? Да разве он, биограф, не знает, что поэт — в стихах живой!»

Марина Цветаева.
Из черновика «Истории одного посвящения»

ПРИМЕЧАНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. В основу данной работы легла моя статья «Marina Cvetaeva. Souvenirs de contemporains», in Marina Cvetaeva, *Studien und Materialen, Wiener Slawistischer Almanach*, Sonderband 3, Wien, 1981 (pp. 213—259).

Помимо материалов, данных в этой публикации в сокращении или вовсе в нее не вошедших, сюда включены недавно собранные и до сих пор неизданные новые свидетельства о жизни Марины Цветаевой.

2. Дополнительные сведения об А. С. Эфрон см. в книгах: Марина Цветаева, *Стихотворения и поэмы в пяти томах*, изд. Руссика, Нью-Йорк, т. 1, 1980, с. 295—296; т. II, 1982, с. 346—347; А. С. Эфрон, *Письма из ссылки*, А. Эфрон Б. Пастернаку, Париж, ИМКА, 1982, с. 179—180, а также в *Краткой литературной энциклопедии*, т. 8, с. 996.

3. См. в моем докладе на международном симпозиуме о Марине Цветаевой в Лозанне (1982) «О некоторых трудностях исследователя (к будущей биографии Марины Цветаевой)» (В печати).

4. В моей библиографической статье, опубликованной в Вене (см. выше, примечание 1) были зашифрованы фамилии некоторых свидетелей, которые теперь названы, например, Мария Сергеевна Булгакова-Сцепуржинская (буква А) или Саломея Николаевна Гальперн (буква Д). Остальные собеседники обозначены буквами, заключенными в скобки, как в венской статье (Б, В, Г, Е, Ж, И, Л). Новые свидетельства идут под буквами З, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Х, Ч, Ш, Ю, Э, Ь, Ы. Под буквой М сгруппированы фамилии разных людей, у которых были краткие или единичные встречи с Мариной Цветаевой. Их рассказы не подробны или

относятся к отдельным моментам биографии поэта. Расшифровка инициалов:

А. Мария Сергеевна Булгакова-Сцепуржинская
Б. Наталья Викторовна Резникова
В. Отец Александр Туринцев
Г. Петр Петрович Сувчинский
Д. Саломея Николаевна Андроникова-Гальперн
Е. Александра Захаровна Туржанская
Ж. Борис Николаевич Лосский
З. Владимир Брониславович Сосинский
И. Димитрий Васильевич Сеземан
К. Александр Дмитриевич Рожанский
Л. Геннадий Николаевич Айги
М. Разные: Е. Старова, С. Маркиш, М. И. Лосская, К. Богатырев, Л. А. Успенская, Л. Ф. Зуров, Л. де Планьи, И. Н. Угримова, В. Горелый, В. А. Рещикова, В. В. Иванов, Т. А. Иванова, Н. И. Катаева-Лыткина, Н. И. Столярова, Л. Турчинский, Е. Багряна, А. А. Саакянц, М. К. Поливанов, Ю. Рожанская
Н. Семен Израилевич Липкин
О. Евгений Борисович Тагер
П. Андрей Владимирович Соллогуб
Р. Юдифь Матвеевна Коган
С. Софья Исааковна Коган
Т. Сын Анастасии Ивановны Цветаевой, Андрей
У. Евгений Борисович Пастернак
Ф. Николай Иванович Харджиев
Х. Лев Борисович Савинков
Ц. Вера Александровна Гучкова-Трэйл
Ч. Майя Кудашева-Роллан
Ш. Зинаида Алексеевна Шаховская
Щ. Александр Васильевич Бахрах
Э. С. Маркиш (мать Симона Маркиша)
Ю. Алексей Владимирович Эйснер
Ь. Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб
Ы. З. А. Масленникова (неизданные воспоминания)

Названы: Марк Львович Слоним, Ариадна Сергеевна Эфрон, Анастасия Ивановна Цветаева, Георгий Викторович Адамович, Константин Болеславович Родзевич (К. Б.), а также А. и Д.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Глава 2.

5. Анастасия Цветаева, «Маринин дом», *Звезда*, № 12, 1981, с. 142—157.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Глава 4.

6. Копия этого письма теперь известна (см. в статье И. Кудровой «Дом на горе», *Звезда*, № 8, 1987, с. 168—169.

7. Поскольку письма эти хранятся в частных руках, привожу полный текст второго письма:

> Написала здесь две небольших вещи, пишу третью, очень трудную. Писать приходится мало, полдня пожирает море.
>
> Мур ходит вот уже месяц, хорошо и твердо, первый свой шаг ступил по безукоризненной земле отлива. Пляж у нас изумительный, но это все. Пляж для Мура и сознание Вандеи для меня. Жизнь тише тихого, все располагает к лени, но это для меня самое трудное,— лень и неженство на берегу. Купаюсь, вернее захожу по пояс (по пояс — условность: по живот! Пляж у нас так мелок, что для по пояс нужно было бы пройти полверсты), захожу по живот и в судорожном страхе плыву обратно. А Аля — того хуже: зайдет по щиколотку и стоит как теленок, глядя себе под ноги. Может так простоять час.
>
> Вы, наверное, уже знаете, что меня скоропостижно сняли с иждивения. Полетели письма по всем пригородам Праги. Не будь этого, приехали бы к Вам осенью, когда часть разъедется. Дода тоже с Вами.
>
> Мы все загорели. Рядом с нами фотография, сниму Мура и пришлю. О. Е. спрашивает, что ему прислать. Из носильного ничего, спасибо, все есть. Может быть, у Вас раньше будут апельсины. Здесь все очень поздно, оказывается, Вандея совсем не лес и совсем не юг.
>
> До свиданья, целую Вас и О. Е. Ей напишу отдельно. Пишите. Аля ждет от Вас письма.
>
> М. Ц.
>
> Да! Не знаете ли (Вы видели Невинного), где Дорогой? (Слоним.— В. Л.) Он мог бы мне помочь с чехами.

Глава 5.

8. Согласно разным подсчетам, суммы эти соответствуют приблизительно половине теперешнего прожиточного минимума во Франции (Прож. мин. в 1987 г.— 4500 фр. в месяц, но одному человеку можно прожить и на 2000 или 2500 фр., не покупая никаких вещей, но и не умирая с голода). Учитывая, что жизненный уровень во Франции значительно повысился после второй мировой войны, интереснее эти данные сравнить с более точными воспоминаниями современников, относящимися к концу 20-х годов. Например, русский студент, учившийся во Франции, мог получать от 200 до 400 фр. в месяц стипендии или пособий, подрабатывать еще столько же частными уроками или еще чем-нибудь. Если комната ему стоила обычную тогдашнюю цену, то есть 80—100 фр. в месяц, то он мог питаться очень скромно, но нормально. На семью в два человека — 1000 фр. в месяц очень немного, но прожить можно, не нищенствуя и не голодая. Однако для этого надо было не только считать каждую копейку, но и уметь хозяйничать экономно, чего, конечно, не было ни в характере, ни в воспитании, ни в привычках Марины Цветаевой. Это умела делать ее дочь Аля. А *не* бедные русские в Париже в те годы были исключением.

Глава 6.

9. Это не совсем верно, т.к. бесплатное начальное и среднее образование было введено во Франции в самом начале XX века. Тогда платным осталось только обучение в частных школах, обычно основанных отдельными, либо религиозными, либо этническими группировками, либо представителями особенно состоятельных классов населения. (Например, русская гимназия, открытая в Париже почти в самом начале первой русской эмиграции, была платная и существовала на средства разных русских и особенно западных благотворителей.) Но Марина Цветаева не считала возможным отдавать своих детей в бесплатную государственную школу. Мур был записан в частную школу в 1933 г. (см. сведения об этом в письме Цветаевой В.Н. Буниной от 7/5/1935 г.).

10. Относительно финансирования Евразийства мне рассказывали следующее: «Евразийство существовало на разные средства: был такой трогательный и хо-

роший Петр Семенович Арапов, офицер конного полка, племянник барона Врангеля, главнокомандующего. Арапов служил в Лондоне с Голицыным. Через него попали на такого мецената Сполдинга. Он был попечителем какого-то колледжа, и он давал средства (он также вносил средства на русскую гимназию в Париже, см. Примечание 9.— В. Л.). Помогала также Катя Голицына, а кроме того, одна итальянка, принцесса Вассиано, и Мирский собирал деньги. А потом Сполдинг перестал отпускать средства, и произошел крах издательства и движения» (Г).

Глава 7.

11. Медон, Кламар, Ванв, Исси — эти предместья все находятся на юге, юго-западе от Парижа, километрах в 10 от центра. Они все соединяются «медонским лесом», тогда еще огромным, соседствующим с этими городками. Можно было от одного пройти до другого пешком, это были обычные «русские» прогулки.

12. Обе цитаты взяты из магнитофонной записи неизданного доклада о Марине Цветаевой, прочитанного Марком Львовичем Слонимом в женевском русском клубе в марте 1967 г.

13. Дело Рейса описано в книге его жены: Е. Порецкая, *Наши*, Париж, 1969 (по-французски). С тех пор в печати появилось много материалов. См. библиографию в моей книге *Творческий путь Марины Цветаевой* (по-французски, Париж, 1987).

14. Заключительный протокол Генеральной Инспекции по делу об убийстве Игнатия Рейса хранится в архивах французской полиции. Это объемистый документ в 117 страниц, включающий подробные биографические сведения и фотографии всех лиц, за которыми в то время следили и которые были привлечены к делу (всего более ста человек).

В этом протоколе есть интересное сведение о том, что в доме «Союза друзей советской родины» «на 6 этаже была комната, которую несколько месяцев занимал очень опрятный господин лет пятидесяти, описание внешности которого соответствует внешности Эфрона».

Приведу перевод выводов этого документа, касающихся С. Я. Эфрона:

Заключительный протокол Генеральной Ин-

спекции по «делу Рейса», составленный 31 января 1938 г.

Последний абзац той части протокола, которая относится к «Союзу друзей советской родины», находящемуся в Париже, на рю де Бюси (с. 88):

Надо признаться, что в деле РЕЙСА роль ЭФРОНА не особенно ясна; тем не менее именно на него сначала работали ШТЕЙНЕР и ее компаньоны: они вели слежку за разными лицами, иностранцами. Можно, следовательно, допустить, что если он фактически не участвовал в самой организации ликвидации РЕЙСА, то только потому, что значимость этого дела его беспокоила и ему казалось предпочтительней поручить эту функцию одному из своих товарищей (а именно МИШЕЛЮ). Его исчезновение после обыска в доме «Союза» ясно указывает на то, что он был причастен к делу. Его допрос несомненно позволил бы опознать МИШЕЛЯ.

Любопытно было также узнать, что по причинам якобы внутреннеорганизационным в 1937 году следствие велось Инспекцией французской полиции только с целью найти убийцу (агента Рейса), а не с целью раскрыть шпионскую сеть.

В заключительном протоколе Генеральной Инспекции (Архив французской полиции) имеются еще следующие сведения:

1. Марина Цветаева и Ариадна Эфрон нигде не упоминаются, кроме как при описании семейного положения С. Эфрона, где указаны имена и даты рождения его жены и детей.

2. Эфрон назван главным ответственным лицом, занимавшимся комплектованием «русского батальона», то есть вербовкой добровольцев для отправки в Испанию, в помощь испанской республиканской армии во время войны против Франко.

3. После исчезновения из Франции, согласно свидетельствам опрашиваемых лиц, Эфрон тайно отправился в Испанию.

Важно подчеркнуть, что все эти сведения, которые так трудно было отыскивать в архивах французской полиции, абсолютно противоречат материалам архивов бернской полиции, собранным в Швейцарии про-

фессором Кембаллом. Из последних можно заключить, что в деле Рейса речь шла именно о раскрытии шпионской сети, что убийством руководил С. Эфрон и что во время следствия на французскую полицию оказывалось постоянное давление со стороны советских властей. (См. об этом статью Р. Кембалла «„Ни с теми, ни с этими". Тернистый путь Марины Цветаевой», в частности прим. 39, 40, 41, в книге *Одна или две литературы*, Лозанна, 1981, а также в моей книге (ук. соч.) в примечаниях к 8-й главе, с. 372—374.

15. Исси ле Мулинно — так назывался городок, где находилась тогда квартира Цветаевой, хотя почтовый адрес, по административному делению парижских предместий, был 33 rue Jean-Baptiste Potin, Vanves, но я думаю, что рассказчик путает отъезд Цветаевой из Франции с переездом ее из этой квартиры в парижскую гостиницу, на бульваре Пастера.

16. Отчет лозанского симпозиума в печати.

17. Робин Кембалл, вступительная статья в кн. *Лебединый стан* (перевод на англ. яз.), Ардис, 1980, с. 24.

18. «Беседы Зинаиды Шаховской с Вадимом Нечаевым», *Русская Мысль*, № 3371, 30/7/1981, Париж.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Глава 9.

19. Письмо это опубликовано в журнале *Russian Literature Triquartterly*, № 9, 1974, с. 533.

20. Запись из этой тетради мне продиктовал Н. Харджиев, привожу ее целиком, вместе с его комментарием.

Запись под диктовку Николая Ивановича Харджиева беседы Цветаевой с Крученых:

> Незадолго до войны, помнится, в мае 1941 г. у меня был разговор с Мариной Цветаевой о Лермонтове и Пушкине. Сравнивая «Любовь мертвеца» с «Заклинаньем», Цветаева отдавала предпочтение лирическому монологу Пушкина — за человечность: в отличие от Пушкина, у Лермонтова заклинание произносит мертвец, к тому же злой, «черт». Лермонтовский герой раздражает Цветаеву своим демонизмом и декламационной патетикой, хотя мог бы и не раздражать.
>
> Интерес Цветаевой к этим стихотворениям был не случаен: загробные темы и образы можно

найти в стихах Цветаевой, относящихся к разным периодам ее творчества. Смотрите, например: «Идешь на меня похожий» (1916), «Евридика Орфею» (1923), «Над телом» (см. *Встречи с Цветаевой*, тетрадь IV) и другие.

Любопытно, что в своем переводе стихотворения «Любовь мертвеца» на французский язык (1939), ритмически достаточно близком к оригиналу, Цветаева подвергла вещь Лермонтова существенной переработке, «очеловечивая» его риторическую интонацию и вводя конкретные детали (подробнее см. тетрадь XIV).

Возвращаюсь к встрече с Цветаевой. Мы заговорили о поэтических «вольностях». Цветаева произнесла финальную строфу «Любви мертвеца»:

Увы! твой страх, твои моленья
К чему оне?
Ты знаешь, мира и забвенья
Не надо мне.

и сказала: «Что это, умилительная ошибка (ибо даже сёла, множественное число от среднего — они) или восхитительная поэтическая дерзость?» Я ответил, что эта вольность объясняется вероятно тем, что «оне» — рифмовое слово (случай у Лермонтова не единственный).
(Следуют два стихотворения Цветаевой из сборника «Чтец-декламатор», Берлин, 1922.)

Николай Иванович Харджиев рассказал о дружбе Крученых с Цветаевой и о том, что эту запись он делал вместе с Крученых.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Копия телеграммы от Ады Шкодиной, подруги А. С. Эфрон, которая жила с ней многие годы... Адресат: Ирина Емельянова.

Телеграмма:

Москва, Потаповский, 9/1, кв. 18. Емельяновой из Тарусы 27 июля 1975.
АЛЯ УМЕРЛА СЕГОДНЯ ПОХОРОНЫ ТАРУСЕ ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ СООБЩИТЕ БЛИЗКИМ ЕЙ ЛЮДЯМ АДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Нижеследующий текст Марк Львович Слоним вручил мне в 1971 г. с просьбой напечатать его «через некоторое время». (Машинопись с рукописными пометками.)

«Для будущих биографов Цветаевой. Июль 1970. Марк Слоним.

На полях «ПИСЕМ АННЕ ТЕСКОВОЙ» Марины Цветаевой, «Академия», изд-во Чехословацкой Академии наук, Прага, 1969, к изданию подготовлено Вадимом Морковиным.

В этой книге мое имя упомянуто 27 раз (в Указателе имен — 26, но пропущена с. 150). После меня идут только Рильке и Пастернак. С той одной разницей, что о них — почти всегда — похвала и восторг, а обо мне замечания по большей части отрицательные. Причины этого не просты — но я о них не буду говорить, а лишь отмечу фактические неправильности и некоторые

странные замалчивания (убежден, что в оригинале есть еще больше — и Морковин попросту не поместил — о еще живом).

с. 32. «М. Л. обещал достать визу». Не только обещал, но и достал, равно как и устроил чешское иждивение именно Марине Ивановне и аванс из «В. Р.».

Марина Ивановна уехала в Париж 31 октября 1925 г. Я уехал в Америку в январе 1926-го, пробыл там почти шесть месяцев, вернулся в Прагу, уехал в Лаванду, обратно в Прагу в сентябре. Поэтому меня не было в Европе, когда МЦ напечатала во 2-м номере «Благонамеренного» статью «Поэт о критике» со знаменитым «Цветником», выборкой отрывков из противоречивых суждений Адамовича, сделавшем его ее врагом на всю жизнь. Там же она задела Осоргина, ставшего после этого ее неприятелем, и Айхенвальда. Этот последний — мой дядя по матери, написал мне. Я получил письмо в июне, мне кажется, он был поражен и обижен, что она напала на него — хотя он ее выделил и хвалил в своей рецензии, помещенной под псевдонимом Каменецкий в «Руле». Он писал мне, что следит за всем цветаевским, что «В. Р.» печатает, и удивлен, почему его так невзлюбила та, кем он — литературно — восхищается.

с. 47. «В Праге мне было лучше... был С-ним (отпал? отстал? — «тот поезд, на который все опаздывают» — я говорю о поэте)».

Но я никуда не опоздал, ибо, в противоположность Адамовичу, сразу оценил МИ — еще в 1922 г., несмотря на сопротивление моих коллег, начал ее усиленно печатать, и до самого ее отъезда защищал и печатно, и устно, и помогал всем, чем мог.

В феврале 27-го года, несмотря на большое личное горе, читал о ней лекцию в Едноте — и потому, что хотел говорить об ее творчестве, и потому, что моя оценка могла хоть косвенно повлиять на продление ее чешской субсидии. Прося Тескову запомнить мою лекцию и ей отписать, она говорит: «ведь это нечто вроде эпилога, нет, некролога: целой долгой дружбы»; «Мне хочется знать, хорошо ли он знает, что потерял». (Она мне прислала в 1924 г. «Попытку ревности», обращенную к Радзевичу.)

Следующие строки требуют пояснения: «а о нем над гробом (т. е. на похоронах Лариссы.— М. С.) — хорошо

сказали. Ребенок над разбитой игрушкой, с той разницей, что раньше сам ломал, а эта сама сломалась. Что ломал-то — старые, а сломалась-то — новая!» Это все, что она почувствовала, узнав о трагической гибели Ларисcы Бучковской, раздавленной автомобилем председателя Совета министров в нелепых и диких обстоятельствах, побудивших меня оставить Прагу. Она ни словом, ни письмом меня не попыталась поддержать в этот момент, один из самых страшных в моей жизни. Это — странная какая-то ее жестокость, холод, бесчувствие, соединенные с мстительностью. Годы прошли — очень для нее тяжелые, — прежде чем она убедилась, что неправа, потому что МОЯ дружба к ней не поколебалась.

Очевидно, Тескова выполнила просьбу (МИ просила: «возможно точнее в его выражениях! запомните лекцию! просто тут же запишите, что понравится. Это для меня проверка!», потому что в следующем письме: «Брею и Слониму тоже, хоть не то же — благодарность». Брей прочел после моей лекции стихи МИ, человек он для нее случайный — и то, что поставила нас рядом — тоже месть.

с. 54, 20 окт. 1927. «Помните мою дружбу с волероссийцами, особенно с М. Л..? Видела его за все время — один раз, т. е. с самого его переезда во Францию». Неверно: я приехал в Париж в марте 1927 г., потом снова уехал в Прагу, вернулся летом, жил в Фонтенэ о Роз, когда МИ была в Бретании, переписывался с ней по поводу помещения ее вещей в журнале. Между прочим: она сама в другом месте (письмо от 14 ноября 36-го, вспоминает, как в ДЕКАБРЕ 1926 г., когда я после смерти Ларисcы приехал в Париж, я пришел к ней утром 31-го и сказал, что умер Рильке (он умер не 30-го, как она пишет, а 29-го). А пришел я — предложить встретить Новый год вместе, пригласил ее и С. Як., если она не хотела идти одна.

В сентябре 1927 я опять уехал в Прагу, так это продолжалось до 1932 г. — по три месяца в Праге, потом столько же или немного больше в Париже.

В 1928-м была тревога по поводу чешского иждивения, я устроил еще в 1926-м, что она получила по бюджету помощи писателям, студенческая стипендия автоматически прекратилась с отъездом С. Як. из Праги в конце 1925 г. В конце 1927 г. пошли сокращения рус-

ской акции, как называли все субсидии. Я поговорил с Завазалом, который этим заведовал в Мин. иностр. дел, и он меня уверил, что цветаевские 500 крон в месяц будут сохранены, но формально хотел, чтобы она написала ему официальное письмо о том, что это важно для ее творческой работы. А МИ, будучи в панике, написала мне, я поехал к ней, успокоил, сказал, чтоб написала. Она мне в ответ: «я его никогда не видела» и написала Тесковой, чтобы та к нему пошла (чего Тескова, конечно, не сделала) — письмо № 38.

Когда в 1928 г. вышла книга МИ «После России», я ее усердно распространял — но об этом в письме ни слова, как ни слова о том, как я помогал ей устраивать вечера в Париже и на одном из первых выступил с докладом о ее творчестве. Моя рецензия о «После России» в «Днях» в июне была единственной хвалебной. И об этом она не упоминает, конечно.

Самое возмутительное — пассаж в письме 46 от 18 ноября 1928: «Необходимо во что бы то ни стало выцарапать у Марка Львовича мою рукопись «Юношеские стихи». Писать ему мне — бесполезно, либо не ответит, либо не сделает; нужно, чтобы кто-нибудь пошел и взял, а взяв,— отправил. На М. Л. никакой надежды, я его знаю, «найду и отошлю» — не верьте. Передайте ему прилагаемую записочку, где я просто прошу передать «Юношеские стихи» Вам, не объясняя для чего (чтобы у него не было возможности — обещать и не сделать)», и в следующем письме от 29 ноября благодарит за присылку: «Без Вас я ее никогда бы не достала. М. Л. ни словом, ни делом на письма не отвечает — не по злобе — по равнодушию». И это пишет МИ, которая в течение 10 лет не только вела со мной оживленную переписку — и я не помню, чтобы я оставил без немедленного ответа самое незначительное ее письмо — но через меня получала СОТНИ страниц рукописей и корректур — ибо никто за годы 1922—1932 не напечатал столько ее произведѐний, как именно я, литературный редактор «Воли России»,— причем во всех письмах ее, к разным лицам, нельзя найти ни малейшего упрека мне как редактору: мы печатали все, без сокращений, без исправлений, следя за тем, чтобы не было ни ошибок, ни случайных пропусков — и у нас никогда не было ни споров, ни недоразумений. А ведь сколько горя пришлось ей испить в сношениях с «Последними новостями» и «Современными записками», об этом она всем

писала, и Тесковой тоже — но нашлось ли у нее хотя бы слово благодарности и признания заслуг «В. Р.», а значит, и моих? Нет, она все, что ей делали, принимала как должное, без благодарности, без понимания усилий, сделанных другими. Когда в течение многих лет я все, что мог, делал для нее, я об этом и не думал, я сам это считал естественным, нормальным, я это выполнял с радостью, и даже многое от нее скрывал, чтобы ее не огорчать и не напрашиваться на благодарность — и вот пришла незаслуженная расплата — посмертная — и оставила какую-то горечь. Я ее не обвиняю: у нее жизнь была отчаянная, мученическая, но мне за нее неприятно, немного стыдно. И ведь была она — душевно — личность замечательная, но в каком-то смысле бесчеловечная.

Но вернемся к «Юношеским стихам». Она дала мне их для «В. Р.», я ей сказал в 1927 г. или в начале 28-го, что лучше их напечатать в «Последних новостях» или «Современных записках», ибо нигде, как в «В. Р.», может она печатать свое новое, самое смелое. Я предпочитал то, что другие боялись печатать. И поэтому такая чушь, что я не отослал бы «Юношеских стихов» — да я в тот же день и с превеликим удовольствием это сделал бы, эта тетрадь мне, как редактору, была в тягость. Неужели она этого не понимала — несмотря на весь свой ум? И это было в те годы, когда «В. Р.» печатала столько ее произведений. А она писала: «я нигде не печатаюсь, кроме «В. Р.», с «П. Н.» из-за приветствия Маяковскому — кончено». А 18 ноября по поводу «Юношеских стихов» — «раз в неделю стихи в „П. Н.“ — весь мой заработок». И это после того, как «В. Р.», напечатав «Крысолова» в 1925—26 году в семи выпусках, поместила «Лестницу», «Попытку комнаты», прозу «Октябрь в вагоне», «Твоя смерть», «Наталья Гончарова» в трех выпусках и ряд стихотворений.

В феврале 1929 г. она пишет (письмо 50): «с эсерами не вижусь никогда, с М. Л. изредка переписываемся по журнальным делам». Это неверно, не только переписывались, но и виделись, и я в январе познакомил ее с Натальей Сергеевной Гончаровой, к которой она воспылала любовью и начала о ней писать большой очерк (познакомил в ресторане у Бенуа). Там же она встретила и Сталинского, и Сухомлинова, как же это — «с эсерами не вижусь никогда»?

Тогда же она напечатала в «В. Р.» письма Рильке.

За все это ей шел гонорар — чуть ли не самый крупный (ей и Ремизову), какой «В. Р.» могла платить.

Письмо 52, с. 7, «о заседании „Кочевья“», где я сидел на председательском месте в апреле 1929 г. по случаю годовщины общества, «справа блондинка, слева брюнетка, обе к литературе непричастные, не обмолвилась ни словом — (с 8 ч. веч. до 12 1/2 ночи), впрочем, слово было: о гончаровской статье — два листа или полтора листа. Не усмотрите в этом обиды — только задумчивость». Как я мог разговаривать с ней на таком собрании — Бог ведает, а «Наталья Гончарова», очерк, был на 80 страниц, точнее 78 — пять листов.

И в том же письме МИ правильно пишет — и это объясняет многое в наших отношениях: «раньше я давала — как берут — штурмом! Потом смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. Раз МЛ мне сказал: «одна голая душа. Даже страшно».

Я не хотел ни штурма, ни отказа от жизни.

6 сент. 1929. «Виделась (после полугодового перерыва, бывали дольше) с МЛС, приезжал ко мне, гуляли. Отношения приязненные, очень далекие, он все сбивается на литератуту, а я, как всегда, соответствую. Говорили о поездке в Прагу... Обещает перед отъездом дать ряд советов и писем. Жаль, что его не будет, освободил бы Вас от части хлопот. А с другой стороны — единственной! не жаль, мне хочется ВАШЕЙ Праги. Я Праги совершенно не знаю... Не была ни в одном музее, ни на одном концерте,— только в кафе со С., зато, кажется, во всех».

О «Перекопе»: «даже „В. Р.“ отказалась — мягко, конечно,— не задевая,— скорее отвела, чем отказалась», № 58 в 1929 году.

В том же письме: «видаюсь с МЛ, он стал лучше, менее самонадеян, более отзывчив. Дай ему Бог».

21 февраля 31: «здесь я никому не нужна. Про мужчин не говорю. Плохие друзья! Тот же М. Л. Видалась раз — час, разговоры о литературе, равнодушные. Даже — не «что пишете?», а «что из того, что пишете, подойдет для ВР?» Что я для него? Сотрудник». И ведь сама отлично знала, что мало есть людей так ей преданных, как я, несмотря на все, что она обо мне говорила — и до меня, конечно, доходило, как о легкомыслен-

11—1244

ном ловеласе,— от одной женщины к другой, о поверхностном писателе и лекторе, у которого — ее собственное выражение — «идеи те, а слова не те». Она требовала, чтобы и в форме моих высказываний я повторял ее. И тут же история статьи для «Новой газеты» (ее всего-то два вышло номера), в которой она — ото всех своих несчастий болезненно обидчивая — усмотрела чуть ли не мою жестокосердность — я нашел, что статья для «Новой газеты» не подходит. Она пишет: все меня выталкивает в Россию, в которую я ЕХАТЬ НЕ МОГУ. Здесь я НЕ НУЖНА, там я НЕВОЗМОЖНА». Но любопытно, что во всем письме она ни словом не обмолвилась о том, что я, не поместив статьи в «Новой газете», тут же предложил ей напечатать ее в «Воле России», что и было сделано почти немедленно. Так что писать: «я — высокомерно и безмолвно отстраняюсь» не следовало. И странное безмолвие о моем предложении поместить статью в «В. Р.» А через две недели после моего якобы возмутительного поступка со статьей — я по приезде в Прагу специально хлопотал за нее (и Ремизова) по поводу стипендии — удачно (с. письмо № 69).

Спор со мной о балете (письмо 79), (все спутано), и, между прочим, фраза «иногда вижу МЛ» — характерна — она «смазывает», что виделись довольно часто и подолгу говорили (к этому же времени относится и моя поездка к ней в Медон с Прокофьевым, провели у нее целый вечер, а потом Прокофьев на обратном пути так увлекся разговором со мной о МИ, что въехал в столб, чуть всех нас — он, жена, я — не погубил). Я говорил о том, что у человека есть разные формы самовысказывания в искусстве — и в ЭТОМ СМЫСЛЕ — на одной плоскости, одного происхождения ВСЕ виды искусства, и весьма возможно, что жест — танец — предшествовал слову и глубоко проявляет то, чего сам человек не знает и не понимает — Дионисово начало ДО Аполлона. Как и многие близорукие люди, Цветаева не ВИДЕЛА, а слышала, и сама говорила, что в этом ее различие с Пастернаком. Ни живопись, ни архитектура, ни танец до нее по-настоящему не доходили. Она попросту неправильно судила о простом (не моем — я повторял) утверждении, что танец — движение во времени — можно сравнивать с архитектурой, как застывшей музыкой, в пространстве, застывшем движении, и тут же — ее возражение — Реймский

собор — опять ее склонность к готике, отталкивание от Греции (и Средиземного моря) и Ренессанса. Об этом мы с ней всегда спорили.

В 1932 г. прекратила свое существование «В. Р.» В конце 1931 или начале 1932-го я устроил вместе с Саломеей Гальперн, всегда финансово помогавшей МИ, нечто вроде комитета, собиравшего для нее деньги, Саломея и в Лондоне, и в Париже, я в Париже, были и другие в этом замешаны, всех имен сейчас не вспомню, все суммы передавала МИ Саломея, и о том, откуда, и кто работал — МИ не имела понятия, а я, конечно, и словом не обмолвился.

В 1936—1937-м виделся с МИ довольно часто. Мне тогда приходилось туго — финансово и всячески — приходилось зарабатывать литературной работой на французском языке. Во всяком случае, теперь уж МИ не могла сказать, что я к ней отношусь, как к сотруднику — журнала-то ведь не было. Пытался я устроить ее французские переводы Пушкина (хотя не очень они мне нравились), и она об этом упоминает в письме № 112 в 1937 г.

К тому времени — по разным причинам — главным образом, я думаю, из-за ощущения полного одиночества — она его особенно ощутила после встречи с Пастернаком в 1935 г., в июне, на писательском съезде — она сама ее называла «невстреча», улучшилось ее отношение ко мне. Ей после нее было очень тяжело и смутно, еще одно разочарование — несовпадение мечты и действительности, неизменная ее трагедия.

В последние годы перед ее отъездом — от 1936-го до 1939-го виделись почти регулярно, часто встречал ее у Лебедевых, она читала там им и мне поэму о царской семье, бывала у меня на Сквер Леон Гийо — перед самым отъездом пришла с Муром (я его не любил), просидела целый вечер до поезда, выговорилась — об очень многом. Это звучало как бы прощением всех грехов и примирением.

Трудно об этом писать, но когда я дружил с МИ в 1922—1924 году, я мог предложить ей только дружбу. Она в это время вышла из мучительной передряги с Родзевичем, и я тоже был в тяжелом состоянии после того, как меня оставила Сюзанна и взяла к себе Леночку — и, вероятно, ей показалось, что сходство наших любовных драм — залог нашего полного сближения — а она его понимала как полную стопроцентную отдачу,

растворение безоглядное и бесконечное — некое жертвоприношение — возможное только у мужчины, который САМ ничего не имел, никакой своей жизни. Отсюда и трагедия МИ: она хотела, чтобы жертву принес не слабый, а сильный индивидуум, чтобы ради нее отказался от своей жизни, работы. Это мог сделать только человек очень среднего калибра, а она такого бы презирала. Даже муж ее от своей жизни не отказался, а ведь очень ее любил. И МИ сочла, что я ее оттолкнул, более того, променял на пустых ничтожных женщин, на труху, вместо мрамора. И долгие годы не могла мне простить и все время воспоминание обо мне в себе топтала и убивала. Только в 1935—1936-м переменилась, утихла. Все сгорело, перетлело».

(В копии сохранены особенности орфографии и пунктуации
Марка Львовича Слонима.— В. Л.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Интересно также следующее свидетельство о знакомстве Марины Цветаевой с супругами Тагер:

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Совсем недавно, в журнале «Октябрь», № 9 за 1982 г., опубликованы воспоминания Т. Кваниной «Так было». Один эпизод, рассказанный в них, по-моему, определенно связан с происшествием почти той же поры, которое делает понятнее соотношение «поэзии» и «правды» у Марины Цветаевой и поэтому достойно более пристального внимания.

Несколько лет тому назад, когда я впервые была с Анастасией Ивановной Цветаевой в гостях у московских друзей М. И. Цветаевой Елены Ефимовны и Евгения Борисовича Тагер, я восхитилась серебряным ожерельем, которое было на Елене Ефимовне. Она сказала, что у этого ожерелья есть история, связанная с Мариной Ивановной в последний период ее московской жизни, и рассказала эту историю. В тот же вечер, вернувшись домой, я записала этот рассказ, потом отдала эту запись В. Швейцер, но хорошо помню все повествование. Елена Ефимовна показала несколько крупных ко-

ралловых бусин, лежащих на туалетном столике: «Все началось вот с этих бус. Лиля Юрьевна Брик подарила мне длинное, удивительное коралловое ожерелье — бусины в форме бочонков. У меня никаких украшений не было, я этим бусам очень радовалась, носила их. Однажды Марина Цветаева их на мне увидала: «Какие замечательные! Продайте мне их!» — «Я не могу, Марина Ивановна,— это подарок».— «А вас мама учила, что подарки нельзя дарить, что подарки надо хранить! Но вещи должны бродить! Если не хотите продать, возьмите у меня взамен любые украшения! Что захотите!» Елена Ефимовна сказала: «Я видела, что они ей очень нравятся, что очень пойдут к ее седине. Позвонила Лиле, сказала, что вот Марина Цветаева просит... что не знаю, как быть, что это ее подарок. Спросила, не обидится ли, если я отдам эти бусы Марине Ивановне. Лиля сказала, что можно, только пусть бы я взамен выбрала себе что-нибудь, что понравится». Оставив себе на память несколько бусин, Елена Ефимовна отдала коралловые бусы, ничего не взяв взамен. Она вспомнила, как пришла к Марине Ивановне, как та показала ей большую шляпную коробку с украшениями. Елена Ефимовна говорила, что никогда не видела такого количества, что Марина Ивановна сказала: «Берите, что хотите, только не этот вот янтарь». Она очень дорожила каким-то янтарным ожерельем. Елена Ефимовна посмотрела, полюбовалась всем этим, но ничего не взяла. Потом она много раз встречалась с Мариной Ивановной, но никогда не видала на ней коралловых бус и однажды спросила: «Марина Ивановна, почему вы не носите те кораллы?» — «Ах, те! Они пропали!» — «Что вы говорите!» — «Я ехала в трамвае, была давка, нитка разорвалась, бусы рассыпались!» — «И ничего не удалось собрать?! Все пропали?!» Елена Ефимовна очень огорчилась. Через некоторое время Елена Ефимовна встретилась с Мариной Ивановной у Габричевских. На дочери хозяина дома были коралловые бусы в форме бочонков. Елена Ефимовна сказала: «Марина Ивановна, смотрите, такие же!» — «А это они и есть!» — «Как?!» Марина Ивановна объяснила, что однажды она была в этом доме, на ней были коралловые бусы, молодой человек, ухаживавший за дочерью Габричевского, вышел вместе с Мариной Ивановной, указал на бусы и спросил, сколько она за них хочет. Она сказала: «200!», он вынул деньги, она отдала ему бусы. Елена

Ефимовна ничего не ответила. На следующее утро Марина Ивановна ей позвонила: «Как я рада, что вы думаете так же, как я! Вещи должны бродить!» — «Нет, я всю ночь не спала!» — «Почему?» — «Вы меня обманули». Марина Ивановна ответила: «Не я вас обманула, а вы во мне обманулись!».

Спустя какое-то время Марина Ивановна, встретившись с Еленой Ефимовной, подошла к ней и — подобно тому, как это было с Т. Кваниной — надела ей на шею серебряное ожерелье с бурбонскими лилиями, то самое, с которого начался весь рассказ. Елена Ефимовна долго не носила это ожерелье — с ним связывалось неприятное воспоминание. Анастасия Ивановна, выслушав все это, помолчала и сказала: «Она во всем была такая. Беззаконница». Когда эти слова я как-то повторила Марии Степановне Волошиной, она рассердилась: «Не беззаконница она была, а безобразница!». Обе оценки отличаются друг от друга только стилистически. Поэтическая же самооценка Марины Цветаевой была внеморальна.

Позднее, в статье «Корни и плоды» (журнал «Звезда», 1979, № 4) А. И. Цветаева писала, что у ее сестры была «некоторая брешь в ее отношениях с дурным и хорошим», что она «насмехалась, отрицала суд над собой». В связи с этим, может быть, есть смысл вспомнить и то, что дальше рассказывает Т. Кванина в публикации «Так было» (с. 197): Марина Ивановна подарила ей кораллы, «случайно оставшиеся от нитки, когда-то подаренной Сонечке» — Сонечке Голлидэй, значит, в первые послереволюционные годы. (Кстати, тогда Марине было около 30 лет — этот возраст вряд ли можно назвать юным, как это нечаянно делает Т. Кванина.)

Романтически-возвышенное или, может быть, институтски-восторженное отношение к Сонечке по времени почти совпадало с таким отношением к дочери Ирине (14 апр. 1917-го — 15 февр. 1920-го), которое граничит с жестокостью и кажется просто невероятным. Марина Ивановна, для того чтобы маленькая девочка, ползая по полу, не добралась до стоящего в комнате помойного ведра, привязывала ее к ножке кровати, а сама со старшей дочерью Алей уходила из дому, чтобы накормить ее у друзей, повидаться с людьми, поговорить с ними (об этом вспоминали друзья Марины Ивановны, в частности М. И. Кузнецова-Гринева и со-

седи Цветаевой по дому в Борисоглебском переулке). Потом, после смерти Ирины в приюте (Марина Ивановна узнала об этом от какой-то посторонней женщины), было письмо к В. К. Звягинцевой. Письмо это начиналось с выражения пронзительной боли, сознания вины, а кончалось жалостью к себе, попыткой самооправданья. После смерти Ирины были и стихи: «Две руки, легко опущенные...», они кончались строчками:

Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Других стихов об этом я не знаю. Вернее всего, что их и не было — ведь такую смерть невозможно романтически героизировать. Слишком несопоставимы здесь были бы поэзия и правда.

То, что произошло с кораллами, на этом фоне вообще кажется совершенным пустяком. Хотя при всей малозначительности этого сюжета, и в нем не все ясно. Ведь неизвестно, что сделала Марина Ивановна раньше: получила кораллы от Е. Е. Тагер или же подарила бусы (может быть, как раз вновь полученные!) Т. Кваниной? Можно даже предположить, что, получив ожерелье от Е. Е. Тагер, Марина Ивановна вполне прозаически разделила его на две части, и одна часть поэтически досталась Т. Кваниной в память о Сонечке, а другая, большая, попала в дом Габричевских. Трудно воссоздать, что было на самом деле. Ясно только, что у Е. Е. Тагер эти бусы появились от Лили Юрьевны Брик (ее свекор — отец Осипа Брика — был коммерсантом, продававшим кораллы...), через Е. Е. Тагер они попали к Марине Ивановне. История с трамваем, вероятно, вымысел. Может быть, Марина Ивановна и не продала бусы Габричевским, а может быть, продала, но все обстояло не столь поэтически стремительно, как она об этом рассказывала... Может быть, Елена Ефимовна Тагер, которая «обманулась», на которую Марина Ивановна надела ожерелье с бурбонскими лилиями, своей удивительной красотой, любовью к искусству и к людям искусства, своим стремлением всем помочь, своим несоответствием тусклой повседневности и даже некоторой экстравагантностью тоже напомнила Марине Ивановне какой-нибудь романтический сюжет? Неизвестно, как было.

И еще несколько слов о другом. На этот раз только

о правде, а не о поэзии. В своей публикации Т. Кванина на с. 200 приводит письмо Марины Цветаевой от 6 декабря 1940 г. К нему нужен комментарий: шерстяной ватин, полушубок, о которых идет речь в письме, были необходимы Марине Ивановне для отправки в лагерь дочери — А. С. Эфрон. Так было. (Р. Из неизданных воспоминаний)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

В 1985 г. я получила записку, подтверждавшую устный рассказ, услышанный раньше в Москве от (Р). Согласно этому рассказу, несколько лет назад Белла Ахмадулина получила от человека, ездившего в Елабугу, маленькую записную книжечку типа блокнота. Книжечка была, очевидно, французская, в красном переплете, с лилией — любимым цветаевским гербом — на обложке. На последней странице было написано карандашом несколько неразборчивых слов, из которых первое ясно было «Мордовия» — по-русски. Человек, привезший этот подарок Б. Ахмадулиной, сообщил ей, что в Елабуге он захотел пойти на могилу Цветаевой. Тогда ему сказали, что какая-то женщина хочет с ним встретиться. Он очень удивился, т. к. никого в этом городе не знал. Женщина рассказала ему, что ее отец (или дядя) был раньше столяром и что в 1941 г. он делал гроб «для одной известной женщины, которая покончила с собой». Ее положили в гроб прямо в переднике, в котором она умерла, а из кармана передника торчал блокнот, который столяр тогда украл. Потом ему стало стыдно за свою кражу, и он попросил дочь (или племянницу) передать этот блокнот приезжему из Москвы, чтобы тот, в свою очередь, вручил его кому следует. Зная отношение Ахмадулиной к стихам Цветаевой, «человек из Москвы» решил, что именно она должна получить этот блокнот и написать обо всем этом стихи. Его объяснение истории блокнота и слова «Мордовия» было следующим: когда Цветаева была в Чистополе, она от Шнейдеров пошла в гостиницу, где у нее с кем-то была назначена встреча. Очевидно, блокнот был у нее в кармане вместе с карандашом. Во время разговора, если ей действительно предложили сотрудничество с органами, ей могли пригрозить лагерем, т. е. «Мордовией», в случае отказа. Тогда она, не вы-

нимая книжечки из кармана, тут же записала несколько неразборчивых слов, из которых только первое — Мордовия — было четко. После такого разговора, скорее всего, она ушла в состоянии полной подавленности. Соблюдая закон о неразглашении, о котором Цветаева, видимо, слышала впервые, она уже не захотела или была не в состоянии пойти вечером к Шнейдерам, как она раньше договаривалась с Л. Чуковской. Лучше было ни с кем уже не встречаться, и Цветаева вернулась ночевать в общежитие, а на следующее утро уехала обратно в Елабугу, где и покончила с собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

В то время, когда Ариадна Сергеевна Эфрон собирала материалы о матери, она стала переписываться с человеком, интересовавшимся биографией Цветаевой, Б. А. Тарасовым.

Вот выдержки из одного письма А. С. Эфрон Б. А. Тарасову:

М. Ц. приехала в СССР в июне 1939 г. вместе с сыном Георгием (р. 1925 — погиб на фронте в 1944-м); ехали *не* через Негорелое, а пароходом с испанскими беженцами, на Ленинград, оттуда поездом в Москву. Встречала я ее (приехала в марте 1937-го). Отец (приехал в дек. 1937-го) был болен и встретить не мог. Жили мы в Болшеве (большая дача около ж/д, кроме нас еще семья, тоже «оттуда»). В авг. 1939 г. мы с отцом (сначала я, потом он) — были арестованы (отец погиб приблизительно в одно время с матерью — напуганное наступлением Гитлера НКВД уничтожило подследственных, идущих по 58-й статье. Погиб, очевидно, в Москве, в одной из московских тюрем — Лубянка?). Я к началу войны была уже в лагере; после восьми лет лагеря была ссылка в Туруханск, Красноярского края, освободилась в 1955 г. по реабилитации. Отец реабилитирован посмертно.

После нашего ареста, в ноябре 1939 г. были арестованы и старшие из другой семьи, с той дачи. Младшие «рассосались» по родственникам, маму с братом с дачи выселили на все четыре стороны. Приютила тетка (сестра отца); некоторое время жили у нее (она с подругой в комнате, 8 метров, мать с братом — в темном чулане, 6 метров). Потом с помощью Пастернака получили пу-

тевку (одну на двоих — т. е. вдвоем получали одну порцию еды!) в голицынский Дом творчества. Жили не в самом Доме творчества, а снимали часть дачи. Мама переводила стихи (грузинские): «Витязь в тигровой шкуре», «Гоготур и Апшина»; каждые две недели возила денежную передачу в тюрьму — по 50 руб. на человека. Из Голицына переехала в начале июня 1940 г. в комнату одного профессора при старом МГУ, пустовавшую до августа (он уехал на дачу). Переводила. Брат учился (сперва в болшевской, потом в голицынской, потом в нескольких московских школах). В августе (начало месяца) переехала опять в теткин чулан. Вещи, пришедшие «малой скоростью» из Франции, некуда было девать — распродавала, раздавала. Книги плохо распродавались, часть приходилось *выбрасывать*. Переводила стихи разных (в основном слабых) поэтов, для заработков; своего не писала. Не до того было. Доставать работу помогал Пастернак. Во всех трудностях (переезды) помогал мой муж (был арестован в 1950 г. и после долгого «следствия» расстрелян). Поздней осенью 1940 г. удалось снять комнату на Покровском бульваре — хозяева уезжали по договору на север. Цена — 5000 р., за два года. Платеж в два срока. Деньги занимались у знакомых, взята была ссуда в Литфонде. Дальше — переводы, чтобы вернуть долги и как-то жить. Живут очень плохо. В коммунальной квартире притесняют соседи. И мать, и брат постоянно болеют. В марте 1941 г.— первые известия от меня, из лагеря (Коми АССР). Готовятся посылки (одну успевают прислать), ведутся хлопоты о разрешении на свидание (свидание не состоялось — война). Зимой 40—41-го года подготавливается к печати сборник стихов. К. Л. Зелинский дает отзыв — формализм. «Сволочь Зелинский!» — пишет М. Ц. в тетради переводов. И борется за книгу. Кажется, одерживает победу. Война, о которой узнает на улице, из открытого окна, по радио. В начале июля пытаются со знакомыми выехать на дачу в Пески — надежда на то, что «подобной эвакуации» будет достаточно. Вскоре возвращаются. Воздушные тревоги, зажигалки, ночные дежурства. Возвращаются хозяева комнаты. Требуют вторую половину денег или выгонят. Все возможные и невозможные деньги отдаются им. Положение Москвы и в Москве ухудшается. Эвакуируются, кто и куда может. Мама с братом эвакуируются с группой Литфонда в Чистополь на Каме.

Едут пароходом. С собой чемодан рукописей, два чемодана с вещами, какими попало, «торговой ценности» не представляющими, очень мало денег. В Чистополе не оставляют (сама «из Франции приехала», родственники репрессированы). Елабуга. Попытки (безнадежные) устроиться на работу. Поездка в Чистополь — попытка устроиться судомойкой в писательский детдом. Случайно слышит «прения» по этому вопросу на собрании эвакуированных писателей. *Против* — Тренев и артистка МХАТа Степанова, жена Фадеева. Того, что *за* ее кандидатуру выступает Паустовский и «одерживает победу» на следующий день,— уже не слышит, уезжает в Елабугу, где кончает с собой, оставив три записки: нам, родным; «знакомым по эвакуации; Асееву — руководителю ее группы эвакуированных. «Простите — *не вынесла*».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Шуточное неизданное стихотворение Марины Цветаевой (раннее). (Стихотворение записано со слов Марии Павловны Кудашевой-Роллан и печатается с ее разрешения):

Макс Волошин первый был,
Нежно Майеньку любил,
Предприимчивый Бальмонт
Звал с собой за горизонт,
Вячеслав Иванов сам
Пел над люлькой по часам:
Баю-баюшки-баю,
Баю Майеньку мою.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Читатель найдет много неизданных и ценных сведений в новой и великолепной работе В. Швейцер, *Быт и бытие Марины Цветаевой*, изд-во Синтаксис, Париж, 1988.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вероника Лосская

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ЖИЗНИ
Неизданные воспоминания современников

Редактор *М. Б. Кузнецова*
Художник *В. К. Серебряков*
Тех. редактор *Г. Г. Гаврилова*
Корректор *Г. С. Милютина*

Сдано в набор 14.01.92. Подп. в печать 27.04.92. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 16,29. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1244. «С»-008.

Издательство «Культура и традиции»

Можайский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Лосская Вероника
Л68 Марина Цветаева в жизни. Неизданные воспоминания современников.— М.: Культура и традиции, 1992.— 348 с.

В книгу, вышедшую первым изданием в США в 1989 году, автор включила неопубликованные воспоминания и свидетельства современников о жизни и творчестве русского поэта Марины Цветаевой.

Л $\frac{4703010100—008}{491/02/—92}$ Без объявл. **ББК 84.4**

ISBN 5—86444—009—4

Российский международный фонд культуры
ДОМ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
121069, Москва, ул. Писемского, 6

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
1917—1991

Сост. Г. А. Толстых

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
1892—1992

Каталог юбилейной выставки

Автор-сост. Л. А. Мнухин

Марина Цветаева

ПЛАЩ

Факсимильное издание рукописной книжки

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Марина Цветаева

ПОСЛЕ РОССИИ. 1922—1925

Слово Art —
Дом Марины Цветаевой, 1990.

Н. Г. Левитская

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Библиографический указатель. Август 1988—1990.

Дом Марины Цветаевой, 1991.

ВОКАЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
НА СТИХИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Сост. Л. В. Когтева

Московский фонд культуры —
Дом Марины Цветаевой —
НИИ культуры, 1991.

ПОСВЯЩАЕТСЯ МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Сборник стихов

Сост. В. С. Мнухина, Л. А. Мнухин

Дом Марины Цветаевой —
Московский фонд культуры —
НИИ культуры, 1991
(Благотворительный выпуск)